

ЮНОСТЬ



11, 1995

В номере:

Тимур
ЗУЛЬФИКАРОВ
«ГОРЬКАЯ БЕСЕДА
ДВУХ МУДРЕЦОВ...»

Поэма

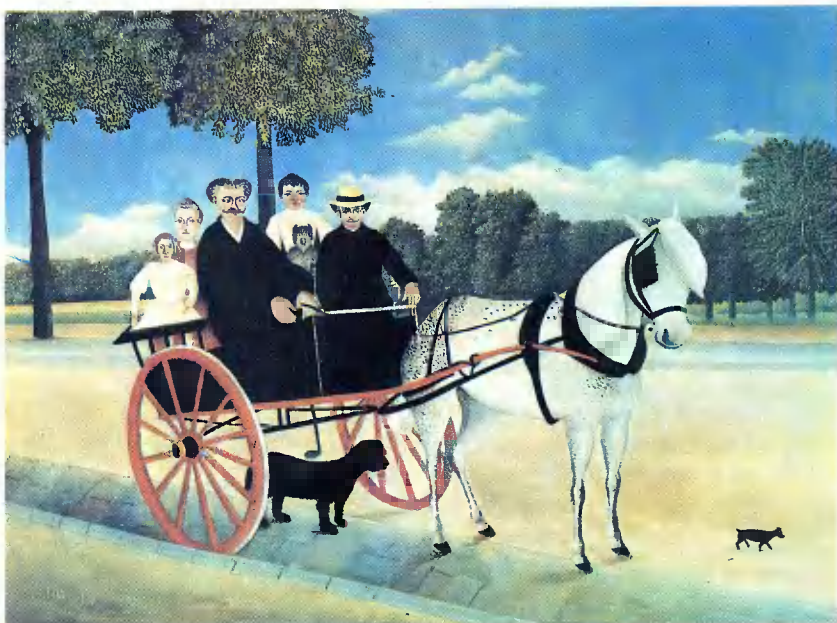
Елена ДОЛГОПЯТ
«1840-1995 ЧЕРНАЯ ДЫРА»

Юрий НАЗАРОВ
Очерк



Анри РУССО

На первой странице обложки:
Автопортрет. Холст, масло.

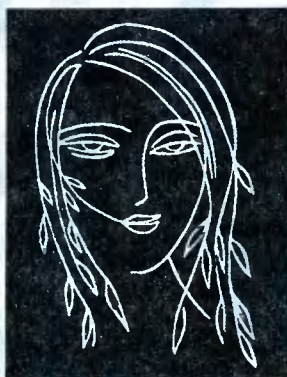


«Коляска папаши Жюнье». Холст, масло.

«Девственный лес на закате». Холст, масло.



ЮНОСТЬ[©]



С. Красаускас. 1962 г.

Ноябрь

(482)

1995

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

Редакционная коллегия:

главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Елена ДУБЧЕНКО
заместитель

главного редактора

Натан ЗЛОТНИКОВ

ответственный секретарь

Владимир КОЖЕМЯКИН

Николай НОВИКОВ

главный художник

Юрий ПЕТЕЛИН

Эмилия ПРОСКУРНИНА

заместитель

главного редактора

Юрий САДОВНИКОВ

Редакционный совет

Геннадий ГОЛОВИН

Сергей ДЫШЕВ

Сергей ЕСИН

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Александр ЛАВРИН

Валерия НАРБИКОВА

Булат ОКУДЖАВА

Игорь ОБРОСОВ

Владимир ОРЛОВ

Виктор РОЗОВ

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Евгений СИДОРОВ

Владимир СОКОЛОВ

Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР

Представитель журнала в Париже

Валерий ПРИЙМЕНКО

Центральная городская
библиотека
имени В. И. Ленина

1880-1995. ЧЕРНАЯ ДЫРА



Фото Леонида Шимановича

Автор сам о себе

Помню, учительница сказала мне:

— Лена, не горбись.

А я и не знала, что горблюсь, мне казалось, я сажу довольно прямо. Мой приятель сказал недавно, что я гордячка. Это потрясло меня. Мне кажется, что я человек веселый и приятный, но некоторые считают иначе. В общем, мои знания о себе весьма приблизительны.

Даже место рождения вызывает сомнения, и я уточняю его у мамы. Муром. Где-то там известный богатырь проспал на печи тридцать лет и три года.

Я окончила два института — сама себе не верю! — МИИТ и ВГИК. Я программист и сценарист — на все руки от скуки. Я училась в средних школах многих городов Советского Союза. Мой отец военный, мама — учительница. Традиционное сочетание.

Говорят, автор отражается в своих сочинениях лучше, чем в зеркале. Ну вот оно, мое отражение. Не обессудьте.

1. 1880. Фрагменты письма (перевод с немецкого)

Я долго искал такое место, и у меня сердце болит, что я его нашел. Я гневлю Бога, — зачем Ты создал это место? Я не думал, что оно есть, искал и не думал. Но оно есть. И я нашел его. И теперь уже ничего не остановишь.

Река чистая и спокойная, видны водоросли на дне и быстрые рыбешки. Серебро и золото их чешуя. Река небольшая. Лес — велик. Сосны и ели и березняк.

В еловом лесу тяжело и мрачно. Лапы елей сплетаются, не пускают солнце, земля зарастает белым пружинящим мхом. В сосновом — весело и светло. Стволы сосен — как золото, как мед на солнце. Березовый лес слишком светел. Что хочу сказать этим «слишком»? Грусть на меня наводит этот свет (в переводе — двусмысленность). Нет, не умею объяснить...

Здесьний народ кормится лесом. Что есть еще другой мир, за их лесом, они не знают. Ах, здесьний народ! Боль души моей.

Тишина здесь, матушка. Тишина, век за веком. Что значит тишина, матушка? Шум леса. Голос у костра. Треск поленьев сгорающих. Вой волков зимой. Тишина. Век за веком, много ее скопилось в здешних местах. Давит она на меня гробовой доской, точно именно ее мне поднимать, тишину, тяжесть эту.

Седобородые старцы сидят на завалинках. Курят трубочки. Табак растет на огородах. Ребятишки играют босые в зеленой мураве. Я в лица ребятишек заглядываю. От плоти земли этой, они — мои теперь, губители матери своей.

Свеча оплывает, я пью воду из той самой речки. Ах, если б плеснула в ковш золотая рыбка и спростила...

Я совершенно забыл сентиментальное настроение за работой. Работа — спасительница. Я сплю три часа в сутки, но мне и не хочется больше! Никогда я не был так бодр и весел. И не только я! Все-все мы, до последнего землекопа, бодр и веселы.

Этому способствует чудесная осень. Сухая и светлая (и свет березняка мне не кажется уже излишним). Голоса наши и звон железа разносятся далеко в сухом воздухе.

Мы освободили уже от леса достаточное пространство и завтра приступим к котловану, и к первым морозам заложим уже фундамент. И место это дикое переменится совершенно. Дошчатые платформы. Пассажиры со стаканами чая. Фонари обходчиков. Запах угля. Дрожь земли, когда идет поезд. Искры из труб паровоза. Огонь в топке. Грязь. Грохот. Блестящие рельсы... Люблечу. Бог знает почему, люблю это.

В глухую полночь слышу я шум леса. Слышу тишину. Она уже дала трещину, эта тишина. И мне как будто легче дышать, будто в эту трещину протекает воздух. Пахнувший гарью и железом — мой воздух.

На стройку приходит старик из деревни. Он сто-

ит, белобородый, опираясь о палку, и смотрит молча на нашу работу. Мои люди заговаривают с ним, но он молчит. Приглашают разделить трапезу. Он не движется. И вдруг вчера, когда закончили уже работу и расходились, он остановил меня, последнего уходящего, и сказал, глядя прямо мне в лицо светлыми (опять скажу — излишне) глазами:

— Беда. Нельзя было тревожить это место.

Я попросил его объяснить. Возможно, из-за неполного знания языка, я не так его понял. Но как уж понял.

Тревожить это место — то же, что тревожить кладбище. Грех строить на могилах.

Почему такая аналогия? У меня неприятный осадок после этого разговора.

День был обычный, сухой и светлый. Работа спорилась.

Я отошел в лес и напился из светлого ручья. Хвоинки несло течением и сухие листья берез. Вдруг тишина неприятно меня поразила. Ни голосов, ни звона железа — как отрезало.

Я поспешил из леса. Я вышел на свободное пространство. Люди стояли у котлована молча, оставив инструменты. Я подошел.

В котловане на корточках сидел рабочий. Из земли перед ним торчал ржавый кусок железа. Источенный, изъеденный ржавчиной.

Очень осторожно мы выкопали из земли это железо. Сантиметр за сантиметром. Точно археологи — след ушедшей цивилизации. К концу дня мы его выкопали, это железо. И я совершенно уверенно могу сказать, частью чего было когда-то это железо. Частью той самой машины, которая ходит по рельсам!

Как сие объяснить, матушка?

Это не розыгрыш определенно. Я бы распознал недавно закопанное. Нет, это веками хранила земля. Но как сие объяснить, матушка?

2. 1910—1916. Шрам

Работница родила от сына директора.

Сын директора приезжал из Москвы, где учился музыке. У него были тонкие пальцы. Он был очень мягкий и улыбчивый мальчик, он воспитывался в Москве у любящей бабки, директорской матери. Он бродил по городку с удовольствием, ему было интересно.

Он и по заводу ходил, и по станции, и по поселку рабочему при заводе. Заглядывал в лица людей. Люди ему невольно улыбались, такой у него был взгляд, что нельзя было не улыбнуться. В поселке он и увидел эту работницу.

У нее было свежее личико. Она неделю как приехала из деревни на завод и снимала угол у дальних родственников, она была сирота.

Весна, ночи теплые, соловьиные.

Они ходили в лес по тропинке под насыпью, по насыпи шли поезда, искры сыпались в вечернее небо. Первая любовь, сильная и короткая, ее нельзя задержать, взглянуть в нее нельзя, как в секунду. Она — уходит.

К осени сын директора уехал в Москву, «к бабке под крыло», как сказал отец, а работница узнала,

что беременна. Весной родила мальчика, поразительно похожего на отца-музыканта. Невероятно похожего, точка в точку, пригожего и веселого. Один только изъям был у него — шрам. Мальчик родился со шрамом на щеке.

Шрам был как трещина на фарфоровой чашке — не портил, но внимание привлекал. Бабка, принимавшая роды, сказала, что это неспроста, этот шрам. Чего-то ждет их город и всю Россию, если безгрешный ребенок уже со шрамом приходит на этот свет. И когда в четырнадцатом году началась война, все вспомнили слова той бабки.

В 1916 году директор шел по улице и увидел этого мальчугана, он играл в снежки с ребяташками, и директор тут же его признал. Он подумал — наваждение, он подумал, что это его собственный сын играет в худой одежонке. И он тогда разумом помутился, потому что его собственный сын уже погиб в этой войне. И уже после того, как он погиб, от него запоздалое пришло письмо с фотокарточкой, и на этой фотокарточке у него был такой точно шрам на щеке, как у играющего мальчика, как трещина на фарфоровой чашке — не портил, но внимание привлекал. «От германской сабли, — писал сын, — легко задело, почти незаметно».

3. 1956. Фотография

Женщина молодая, и стул пустой перед ней. Увеличенная копия с фотографии прошлого века.

Молодая женщина опиралась о спинку пустого стула. У женщины были припухшие губы. Глаза смотрели внимательно и без улыбки. Хорошая была фотография. Женщина казалась совершенно живой, подмывало коснуться ее щеки. Но рука натыкалась на холодный глянец фотобумаги.

Лившиц был молодой инженер, только институт кончил, и приехал в этот городок по распределению. Ему сразу дом выделили. Тетки на Лившица смотрели и ахали: какой худой!

Вещичек у него было всего ничего — фанерный чемоданчик и белая шляпа. Он вошел в темный дом и повесил ее на гвоздь у притолоки. И зимой она у него там висела.

Он ее не сразу заметил, фотографию, — темно. Диван там стоял казенный, кожаный, Лившиц лег, не раздеваясь. Устал. И тоскливо ему стало, что на новом месте, совсем один.

Стемнело. Ребятичьи голо-

са стихли. Луна вышла. Собака взвыла. Паровоз так протяжно прогудел, жалобно. Тоска, одним словом. И лежать уже невозможно, точно при жизни покойник. И он встал. И тут же ее увидел. Лицом к лицу. Столкновение. И сердце у него упало. Он даже сказал:

— Боже мой!

В общем, женщина эта молодая с припухшими губами — он именно про эти губы все потом говорил, — запала ему в душу. Такое действительно бывает.

Он, конечно, видел, по одежде и по всему, что она из прошлого. То есть, когда она была такой вот, с припухшими губами, его и на свете не было. А сейчас она, если жива — старуха. То есть, в любом случае этой женщины сейчас нет. Но она была. Не сейчас.

И он решил узнать, как она была. Все о ней узнать, до мелочей. Не только, как звали и адрес. Но и что, скажем, есть любила, печенье или конфеты, или ей сладкое противно было. Сколько у нее детей было. И какой цвет юбок предпочитала. А может, она стихи писала? Он даже надеялся, что найдет эти стихи. Или еще какое-нибудь свидетельство ее жизни. След. Кроме фотографии.

На другой день после работы он надел свою белую шляпу и пошел по поселку узнавать, кто что знает об этой женщине или хотя бы о фотографии, кто ее повесил на стену.

Все, кого он спрашивал, улыбались как-то смущенно и говорили:

— Спроси Федьку Слепого, крайний дом у оврага.

Федька, хотя и звался Слепым, слепым не был. Очень у него было прекрасное лицо. Он был молод, моложе Лившица. А Слепым прозвался за очки. Носил на людях очки, простого стекла, но темного — глаз не видеть. Скрывал свои глаза, а вернее, взгляд.

И вот вечером, при луне отправился Лившиц в своей белой шляпе к дому у оврага.

За оврагом уже поля начинались. Кричали кошки, как дети малые. Оторопь брала. Лившиц поднялся на крыльцо и постучал. Но никто не отворил, не было никого. Он просидел на крыльце, хозяина дожидаясь, до рассвета, но так и не дождался.

Целую неделю он так ходил исправно каждый вечер после работы к дому у оврага и ждал Федьку Слепого. Люди ходили в кино после работы или в парк. В парке тогда играл оркестр железнодорожни-



ков, мороженое продавали, пиво в ларьках. Со всего города народ приезжал в парк. А Лившиц на крыльце сидел в темноте...

К утру возвращался в свой дом, а там — женщина на портрете. Он смотрел на нее и не понимал, что с ним происходит, то ли радостно ему, то ли горько. Но какое-то сильное чувство было.

Прошла так неделя, и еще два дня, а на третий пришел он, как обычно, в сумерках к этому дому, как на дежурство. Ночная смена, в поселке шутили. Постучал. Не отозвались. Но дверь, дверь вдруг подалась, открытой оказалась. Он постучал еще раз из вежливости и вошел.

В доме горел свет. Снаружи он не был виден, так глухо были окна зашторены, как во время войны. Горел свет. Обстановка была бедная, запущенная. Пыль. На спинке колченогого стула висело платье. Дамское. То самое. Той самой, с припухшими губами, ее платье.

Тут этот худой парень в белой шляпе упал перед этим платьем на колени и лицо спрятал в подол. Как дитя матери в подол прячет лицо.

Бог знает, что ему чудилось, духов ее запах, тела ее запах молодого. Забылся он. Очнувшись, когда за плечо его кто-то тронул. Хозяин. Федька Слепой.

И вот, минут через десять, сидели они оба за столом, и Федька смеялся. Просто хохотал. До слез. Даже снял очки и вытер глаза ладонью.

Тут Лившиц его взгляд увидел. Острый, и как будто не в переносном смысле, а натурально, — больно от его взгляда было, как от острого предмета.

Рассмеялся Федька, когда уразумел, для чего к нему явился долговязый, в белой шляпе, инженер. Отсмеялся и сказал:

— Здорово. Я, конечно, все про нее знаю, но даже не знаю, что сказать. Я понятия не имею, сколько у нее было детей, да и были ли. Не знаю, право, была ли замужем и какой цвет предпочитала. Ей-Богу, только сейчас это понял, благодаря тебе, хотя кому и знать, как не мне.

Тут он наклонился и взял мягко Лившица за косляющую руку.

— Я фотограф. Да. Но не простой.

И улыбнулся. Лившиц точно нанизан был на его взгляд, как на острую иглу; он говорил потом: «И даже больно не было».

— Я фотограф. Да. Я собираю вещи. Старину. Сундуки. Платья, посуду, абажуры. Как старьевщик, всякую всячину. У меня полно хлама в шкафу и в сарае. Пыль, моль, пауки. Это с детства у меня страсть. В родительский дом, помню, на чердак все таскал, хлам всякий.

И вновь Федька рассмеялся, а Лившиц, нанизанный на его взгляд, боялся двинуться.

— Иногда я вижу лицо, — сказал Федька, — прямо на улице, прямо на здешней улице. Лицо так себе, ерунда, ничего особенного, глупое даже, некрасивое. Но. Вот, это «но».

Если к нему, к этому лицу, это вот платье, — не знаю, парень, кому оно прежде принадлежало, — этот вот стул, этот вот свет; с этого боку, а с этого — тень поглубже, да грим, да шелкнуть вовремя затвором, что тогда выйдет? Бог мой! Черт его знает, что выйдет!

Иногда мне кажется, я преступник, когда я вот такое делаю из ерунды, из хлама, из глупого лица. Такое, что люди потом с ума сходят, глядя.

Ничем не могу тебе помочь, парень, нет у нее никакого прошлого. Она — из ничего. Платье, свет, лицо. Лицо я тебе могу показать.

И Лившиц увидел это лицо. Утром. Женщина набирала воду из колонки. Он и прежде, каждое утро видел ее, эту женщину. Он шел на завод ранним утром — она была с ведром у колонки. Они встречались глазами каждое утро. Она здоровалась, и он отвечал. Голос у нее был простуженный.

Он не всматривался никогда в ее лицо, но в это утро всмотрелся и признал — то лицо.

Она ему улыбнулась, заметив его внимание, но он в ответ не улыбнулся, он точно испугался ее улыбки и поспешил мимо, на завод. И никогда больше этой дорогой не ходил на завод, а — в обход.

4. 1960. Средство

Жили они в согласии. Он приезжал со смены, дом был теплый, натопленный, чистый. Вода в рукомойнике свежая, полотенце на гвоздике свежее, носки заштопаны. Ши горячие в тарелке, пироги с капустой, как он любил, водка ледяная из погреба, огурчики соленные со смородиновым листом.

Он ел, она сидела напротив и смотрела. Он рассказывал, он любил ей рассказывать про дорогу, что было, какая погода, какие происшествия. Она хорошо слушала и вопросы всегда к месту задавала. Он думал, что счастлив.

Как-то раз сидели они близко. И видел он ее, и мог дотронуться, и ложка, которую она держала, а он потом взял, хранила тепло ее пальцев, и тень ее — включен был верхний свет — достигала его рук. Они были рядом, в одной комнате, он говорил — она слушала. За стеной что-то упало, и они вздрогнули оба.

Они были вместе, они были муж и жена, он любил ее, он знал ее. Часы тикали.

Она встала убирать посуду. У него болела голова. И, может быть, поэтому, от нехорошего состояния, он вдруг почувствовал, в первый раз, без всякой причины, он почувствовал, что она, хотя он и может ее коснуться и слышит ее дыхание, находится не здесь, а здесь — лишь тень ее, отражение. Ну, как если бы она была в пространстве картины, по отношению к которому он — зритель.

Конечно, изображения на картине тоже можно коснуться, но оказаться в ней — невозможно. Нет способа.

Вот такое странное возникло у него ощущение. И прошло. И вернулось. И в конце концов осталось с ним совсем.

В конце концов он и других людей стал так ощущать, будто они в картине, будто невозможно действительно оказаться с ними рядом. Всех других. И товарищей своих, и соседей, и продавщицу, и почтальоншу, и любого давнего знакомого, и любого встречного. Очень ему стало неуютно в мире, одиноко. Недоступны ему стали другие люди, как прошлое.

И все-таки он нашел способ к ним проникать. Пропуск.

Водка пропускала его к ним.

Они действительно оказывались рядом, если он напивался. Это было здорово. Разумеется, ему хотелось, чтобы это было почаще. И он все чаще напивался.

Он чувствовал тогда такую близость ко всем, точно сам был любимым из них. Поразительное ощущение. Точно он был оборотень, и мог легко обернуться и человеком, и животным, и растением, и даже собственным тепловозом. Все было близко, было плотью его.

Так что, когда врач говорил ему в светлом кабинете, — жена ждала-плакала в коридоре, — что водка — бегство от действительности, он отвечал:

— Вход.

5. 1967. Мать

Устройство мира, вот что его волновало.

Именно волновало, именно чувства его задевало. Он, как поэт, трепетал, видя весеннее небо, строгую его синеву, пар от земли, черного грача, летящего низко. Ему хотелось знать, почему это так, почему пар, почему грач летит и почему синева такая бывает в небе, и почему не всегда, и как еще может быть. Ему, как поэту, хотелось дойти до сути.

Он стал физиком. Специальная теория относительности. Квантовая механика. От одних этих слов ему хотелось то ли плакать, то ли смеяться, — они выводили его из эмоционального равновесия, эти слова.

Он работал над секретной программой на военном объекте. Ему очень нравилась его работа, он за ней пел песни Руслановой — из детства песни. Он писал матери в редкие свободные минуты:

«Мамочка, я все помню, наш домик, и печку, и завод, и станцию, я люблю все это, и тебя — а ты в моей памяти неотделима от этого всего. Но увидеть вас могу только глазами души моей, как говорил поэт. Время, мамочка! Его-то и нет у меня. Работа. Вот чего в избытке. И, не сердись, я этому избытку рад. Я б без него заскучал».

«Ничего, — отвечала его мать. — Ты, сынок, не беспокойся. Я, конечно, скучаю и очень бы хотела повидать, но скучаю я по тебе, а вообще мне скучать некогда, с огородом да с печкой, да воды пока нанесешь, да и вздохнуть надо, на небо по-

глядеть. Мне вот жалко, что ты неба не видишь за своей работой».

Год шел за годом, и мать его старилась в родном городке и скучала по сыну, а он не мог ее увидеть.

Он сделал несколько важных открытий по ходу своей работы, и картина Вселенной стала сложнее и глубже благодаря ему, и возникло много новых вопросов, и он бросился их разрешать. Иногда он не знал, какое время года, за работой: выходил из лаборатории и ахал — зима! Зимой он и прочел это письмо:

«Сынок, как хорошо ты поправил забор, стоит теперь чистенький, ровненький и пахнет свежеспиленным деревом. Чудесно. И каждый гвоздик горит, твоими руками вбитый. А телевизор — так хорошо теперь показывает! Ко мне соседка ходит смотреть и очень тебя хвалит. Еще бы! Не ты ли ей крышу поправил. Родной-то сын только за бутылкой к ней и ходит. В общем, было у меня счастливое лето благодаря тебе».

Долго он перечитывал это письмо, ошеломленный. То ли корила его мать этой выдумкой, то ли тронулась, не дай Бог, умом. Сердце его стало не на месте после этого письма. И в своих письмах он стал выспрашивать мать осторожно подробности о прошедшем лете. И мать охотно отвечала, и все выходило, что он там был и радовал ее. Письма были искренние, он это чувствовал, и понял, что точно, тронулась мать в тоске по сыну.

С этим он пришел к начальству и выговорил себе отпуск на лето. И до лета едва дотерпел, только за работой и забывался, но, забываясь, он уже не пел за работой — не радостное это было забытье.

Но вот наконец пришло лето. И снова внезапно. Хотя он его поджидал. Оно пришло. И он поехал домой к матери, надеясь исполнением ее мечты излечить помешательство.

Он не дал телеграммы. Он шел родным городом, и воздух, влажный после дождя, пьянил его. Город мало изменился. Станция. Завод. Деревянные дома. Огороды. Вот лица встречающих — все были незнакомы, и это навело на него грусть.

Завидя родной дом, он остановился, чтобы успокоиться, прийти в себя. И тут-то бросился в глаза новенький забор. Светлые доски, горящие на закатном солнце гвозди. Забор из письма! Страшно это поразило, реальное существование новенького забора.

Солнце заходило и окрашивало мокрый от недавне-



го дождя забор кровавым светом. И стекла дома разразили этот кровавый свет. И стало физику жутко. Но все же он сумел побороть жуть и даже улыбнуться. И пойти дальше. В конце концов, он знал, что в фантазии детали могут быть достоверны, и даже должны быть, для того, чтобы в фантазию можно было поверить.

Итак, он приблизился к этому забору и пошел вдоль него. Он шел и задевал макушкой склоненные низко ветки яблонь. Вода лилась с потревоженных ветвей. Закатное солнце провалилось в тучу, и сразу же стало сумрачно. И в доме зажегся свет.

Так уютно он горел в сумерках!

Физик прибавил шаг.

Он добрался уже до калитки и взялся за щеколду, когда увидел силуэт в светлом окне. Силуэт мужчины.

Мужчина стоял к окну спиной. Повернулся, и физик готов уже был увидеть его лицо, но чья-то рука задержала занавеску. Физик стоял, держась за мокрую щеколду и — не мог решиться повернуть! Дверь в доме вдруг скрипнула, отворилась, и физик отступил от калитки в мокрую траву. Ноги тут же промокли до колен — трава была высокой.

Из двери упал свет на крыльцо. Капли дождя засияли на перилах. На крыльцо из дома вышел мужчина. Теперь-то физик разглядел его лицо, хорошее лицо, лицо думающего человека. Мужчина вынул из кармана сигарету и закурил с удовольствием.

— Сынок! — крикнули из дома.

И физик вздрогнул. То был голос его матери.

— Я здесь! — крикнул мужчина.

Через мгновение на крыльцо вышла старуха. Она встала рядом с мужчиной, и они стояли так, бок о бок, глядя в темноту.

С листьев стекали капли дождя, мужчина курил, а физик вдруг понял, что видит перед собой — себя. Узнал. Это он стоял с матерью в полосе света. Это он стоял один в темноте в мокрой траве. Это он курил. Это он хотел мучительно закурить.

Он дождался, когда они уйдут, он и мать, и отправился назад, на станцию, и уехал к себе в таежную глухомань, работать, разбираться в устройстве мира. Странно, но его не смущало, что в то же время он будет чинить матери телевизор.

6. 1973—1979. Непостижимое

Она выбежала ранним утром в сад. Она слышала, как снег скрипит под ее босыми ногами и видела следы, свои следы, а ног своих не видела. Ноги мерзли, она их чувствовала, они были, но она их не видела. Она не видела своих рук. Человек-невидимка.

Она ударила рукой о ствол яблони, снег осыпался с ветвей, рука болела, невидимая. Она и крови не видела, если в кровь разбивалась. Ничего. Она никогда себя не видела.

Она подходила к зеркалу в примерочной кабинке в магазине, где никто не мог застать, подходила близко-близко, пока на упиралась лбом в холодную как сталь поверхность. Пятно от дыхания расходилось по стеклу, но отражения не было.

— Мама, какая я? — спрашивала она иногда.

— Серьезная, — говорила мать, взглянув на нее.

— Серьезная очень.

Другие люди ее видели. Лицо, руки, всю ее видели, как всякого другого человека. Для всех она была видимой. Кроме себя и зеркал. И она не приближалась при других к зеркалам, чтобы не выдать своей непостижимой сущности.

Она родилась глубокой унылой осенью. Дожди моросили, от окон дуло, стучали и стучали поезда, казалось, совсем рядом. Мать принесла ее из роддома в пустой дом, пыльный дом, пахнувший нежилем. Она подошла с ней к зеркалу со словами:

— А кто это там?

И не увидела ее — там. Одеяльце было в ее руках, как пустой кокон.

Она положила ее на диван и убежала в дальний угол комнаты. И стояла там, в темном углу, не в силах осознать случившееся. Громко тикали часы. Дождь моросил за окном. Темнело. Зажегся уличный фонарь и осветил мокрые голые деревья в саду. Девочка лежала тихо, далеко, на диване, и вдруг — заплакала.

Женщина стояла неподвижно, девочка плакала, дождь моросил, стучали-шли поезда.

Девочка уже хрипеть стала, когда женщина наконец подошла. Склонилась, взяла на руки, дала грудь. Девочка наелась и уснула тут же, на руках. Мать уложила девочку, вынесла из дома все зеркала, разбила в свете фонаря и закопала осколки глубоко у забора.

В шесть лет девочка уже знала, что отличается от всех людей и что это отличие надо от людей скрывать, иначе напугать можно до смерти.

Она была очень серьезной девочкой, у нее были совершенно взрослые глаза. Со сверстниками она не дружила, она смотрела на них издали, они уже привыкли и перестали ее дразнить или звать играть, она все равно не откликалась или уходила. Она смотрела на них, будто они были на экране в кино, а она — в темном пустом зале.

Мать разговаривала с ней как со взрослой. Она не могла разговаривать с ней как с ребенком, уж очень взрослый у нее был взгляд, мать даже терялась под этим взглядом.

Вечерами они сидели вдвоем за столом, часы тикали, время уходило, и не было в их доме зеркал.

Ужинали. Смотрели телевизор. Ложились спать.

В шесть лет девочка уже прочитала все книги, что были в их доме, и мать записала ее в библиотеку. Девочка заходила в самую глубь — голос библиотечарши — «знаешь, мы вчера "Работницу" получили, новый рецепт, я перезвоню, погоди...» — был еле слышен из глубины. Пахло пылью. Девочка искала книгу, в которой объяснялось бы, что это значит — не иметь отражения. Но объяснения не было в книгах. Домыслы были о нечистой силе, о крике петуха, о пропавшей — проданной — душе... Девочка листала книги, не видя рук своих.

День уходил, библиотечарша включала свет. Девочка слышала ее приближающиеся шаги.

— Это ты? А я думаю, кто тут шуршит тихонечко, как мышка?

И отводила глаза, встретившись с ее взрослым взглядом.

Летом приезжал в гости брат женщины. Ездили втроем на кладбище, на могилу к родителям. Шли

от конечной остановки пешком, через поле. Ветер дул свободно, трепал волосы, сбивал дыхание. Брат женщины шел первым по тропинке, опустив голову и глядя вперед исподлобья. Девочка шла последней, видя пыль на своих ногах, не ноги — пыль. Зрелище это ее завораживало.

Останавливались передохнуть. Девочка поднимала голову и видела небо. Оно было велико и глубоко, и притягивало. Казалось, еще секунда, и ноги пыльные оторвутся от земли, и небо приблизится тогда окончательно и поглотит.

— Вперед, вперед, — говорил хрипло брат.

И вновь они шли вперед по тропинке к кладбищу против ветра.

После переходов через поле у девочки страшно болела голова, и девочка лежала в прохладной темноте на диване с мокрым полотенцем на лбу.

Брат сидел за столом и угрюмо смотрел на нее. Он не любил племянницу. Он обожал сестру и не любил племянницу... Его сестра, такая всегда веселая, легкая, быстрая, после рождения этой девочки точно погасла, точно болезнь какая в нее вселилась. И двигаться стала тихо, и говорить тихо и редко, а уж смеха ее он и совсем не слышал после рождения этой девочки. У него сердце ныло, когда он думал, как изменилась его сестра.

Сначала он думал, она горюет о мужчине, отце девочки. И стал расспрашивать ее о нем. Но она так спокойно отвечала:

«Командировочный, сразу сказал, что женат, в кино познакомились, выпили, очень простой парень, добродушный, когда узнала, что беременна, его уж месяц как не было здесь, да есть у меня его адрес, только зачем, у него семья, я могла ведь и аборт сделать, да не захотела, да не сохну я по нему, успокойся, наоборот, с улыбкой всегда вспоминаю, он очень простой».

Брат не поверил ее спокойным словам и съездил в тот город, где жил командировочный, и видел его самого и его веселых детей, и жену, и видел, что он действительно очень простой парень, и, увидев, как-то сразу поверил, что сестра правду говорит — не сохнет.

И тогда-то брат понял, что сестра переменялась так из-за девочки. Что-то с ней не то, с девочкой.

Ему не нравился ее взрослый взгляд, и что мать ведет себя с ней как со взрослой, и даже как будто прислушивается к ее суждениям. Ему не нравилось, что эта девочка не как все, не играет со всеми и одна не играет, а читает книги, и уже в шесть лет прочла все в доме.

Он заметил, конечно, что в доме нет зеркал. Сестра объяснила, что у нее нервное расстройство, что ее раздражает собственное лицо.

— Видеть просто себя не могу, — сказала сестра. — Не желаю.

— Ну и напрасно, — угрюмо отвечал брат, — ты очень даже ничего еще, хотя, конечно, здорово изменилась, но мужчинам нравишься, я ведь замечал, как они смотрят.

И еще говорил:

— Покажись врачу. Хочешь, в Москву съездим к врачу?

— Нет, — говорила сестра, — врачи залечат. Или хочешь меня в дурдом?

Девочка лежала с мокрым полотенцем на больной голове. Темнело, но света не зажигали, сидели за столом и разговаривали.

Брат закурил сигарету. Сестра подошла к девочке.

— Не мешает тебе дым?

— Нет.

Брат угрюмо смотрел на них. Полотенце белело в сумерках. Мучительной загадкой была для него перемена в сестре, и всей душой он жаждал ее исправить.

Он много помогал им. Чинил сломанный телевизор, перекладывал начавшую дымить печь, даже полы перестилал — на все руки был мастер. Если приезжал весной, вскапывал огород.

Бывало, еще прохладно, снег лежал в темных местах, а он раздевался до пояса за работой. Бледная кожа темнела к концу дня. Ел он вечером жадно. Сестра смотрела на него с удовольствием, даже улыбка трогала ее губы. А девочка смотрела как всегда, серьезно и отстраненно.

После ужина он откидывался на спинку стула, разминал тугую сигарету сильными пальцами, закуривал. Сестра мыла посуду, девочка вытирала, скрипели дверцы буфета. «Надо смазать, — лениво думал он, — завтра». И на завтра забывал.

Как-то раз он срезал с деревьев сухие мертвые ветки, собрал прошлогоднюю листву. Она была заледеневшая, эта листва, и ледок хрустел, когда он ее сгребал. Он решил вырыть яму у забора для компоста. И вот, роя эту яму, он наткнулся на зеркальные осколки. Он выбрал все эти осколки. Они отразили свет неба, угрюмое лицо, землю оттаявшую, бездомную грязную собачонку — ее поразило собственное отражение, она зарычала и попятилась от него.

Он собрал эти осколки и унес на помойку, а вечером был особенно нежен с сестрой и пригласил ее в кино.

— Дочка твоя нас отпустит. Верно?

Девочка встретила спокойно его угрюмый взгляд и сказала:

— Конечно.

И он ушел с сестрой в кино.

Была очередь, и едва они взяли билеты, дали звонок.

— Иди в зал, — сказала сестра, — я сейчас.

Он ждал ее в опустевшем фойе. Горел тусклый свет. Лица актеров глядели на него с фотографий. Второй звонок, третий, билетерша закрыла зал. Он услышал приглушенную музыку из-за дверей. Услышал цокот каблучков — это шла его сестра. Он ждал, когда она выйдет из коридора в фойе, но цокот каблучков замер. Тогда он пошел ей навстречу.

Он заглянул в коридор. Его сестра стояла у огромного, во всю стену коридора, зеркала. И смотрела жадно на свое лицо. Провела ладонью по лицу, по волосам, улыбнулась сама себе горько.

Он отступил из коридора в фойе тихо-тихо. И не сказал ей, что видел.

На другой день он застал девочку за книгой. Она захлопнула книгу и спрятала, но он заметил название. «Непостижимое».

Ночью он встал. Светила луна. Он достал из сво-

его чемодана зеркальце, перед которым брился, и подошел тихо к спящей девочке. Полы, его руками переложенные, не скрипели.

У девочки было совсем другое лицо во сне, он даже удивился. Обыкновенное, детское лицо. Она всхлипнула во сне, обиженно. Рот приоткрылся. Он сел перед ней на корточки и приставил свое зеркальце. Зеркальце загуманилось от ее дыхания, но не отразило лица.

Подушка была в зеркальце, вмятина от невидимой зеркальцу головы, пятно от дыхания, лунный свет... Девочка вдруг открыла глаза и увидела перед собой зеркальце. Он мгновенно отдернул руку с зеркальцем и — встретился с ее взрослым взглядом.

Они ничего не сказали друг другу. Он встал. И ушел, тихо ступая. Она проводила его глазами.

Наутро, когда сестра ушла на работу, он сказал девочке:

— Оденсья тепло.

Он сам причесал ее и заплел туго косичку. Его пальцы дрожали, когда касались ее теплой кожи, так он ненавидел эту девочку и так боялся.

— Идем, — сказал он.

Они шли. Он впереди, нагнув голову, глядя исподлобья, она — следом. Через железнодорожную колею, мимо завода. Небо было белесое, свет солнца пробивался, как сквозь тусклое стекло, ветер гнал пыль по просохшему асфальту, девочка старалась не ступать на трещины. Извечное ребячье суеверие.

Они пришли на вокзал, и он взял два билета до Москвы.

Поезд тронулся. Проплыл завод. За заводом — поселок. Люди вскапывали огороды, зеленела уже трава на прогретых солнцем местах, лес казался розовым издали. Колеса стучали.

— Скоро ли чай? — спрашивали пассажиры.

Проводница затопила титан, запахло углем.

Дядя и племянница сидели рядышком на сиденье. Проводница разносила чай. Стаканы звякали в подстаканниках. Чай дымился. Сахар падал на дно и таял на дне. Ложек не было размешать. Поезд шел быстро, вагон мотало. Женщина напротив угостила девочку конфетой.

— Какая серьезная у вас дочь. Далеко едете?

— Пойду покурю, — сказал он невпопад. И вышел в тамбур.

В гремящем холодном тамбуре достал тутую сигарету, размял. Поезд тормозил.

Вложил сигарету в рот. Станция.

Вышла проводница, отворила дверь, протерла поручни.

— Три минуты стоянка.

Он сошел на землю, чиркнул спичкой, прикрыл огонек ладонью. Закурил. И пошел вдоль состава по низкой разбитой платформе. Девочка видела в окно, как он идет по платформе, и ветер рвет дымок сигареты.

Он шел, как всегда, нагнув голову. Поезд тронулся. Он вдруг остановился. Он поднял лицо. Поезд тихо шел мимо. Он увидел в окне лицо девочки, взрослый ее спокойный взгляд. Проводница крикнула из тамбура:

— Эй! Лезьте! Быстрее!

Он мотнул головой. Поезд набирал ход.

И скоро он остался один на низкой разбитой платформе. Ветер пах оттаявшей землей и железом.

— Это чего отец твой? Остался? — испугалась за девочку женщина.

— Остался, — спокойно сказала девочка. — Я дальше одна еду.

И женщина растерялась под ее взглядом и отвернулась к окну.

Брат вернулся домой ночью. Сестра не спала. Он вошел в темный дом, включил свет и увидел ее сидящей у окна.

— Ты один? — тихо спросила она.

— Приготовь ужин, — ответил он.

Он ел не жадно, как после работы, — спокойно. Он вообще был очень спокоен, когда вернулся. Даже утрюмое выражение в его лице сгладились. Сестра сидела очень бледная. Он попросил передать хлеб, она передала и коснулась его руки кончиками пальцев. Пальцы были ледяные.

Он доел все дочиста и достал сигарету. Часы тикали.

— Она больше не придет. Никогда. Слышишь?

Часы тикали. Брат и сестра молчали. Он чиркнул спичкой о коробок, и этот звук вывел сестру из оцепенения.

— Что ты с ней сделал?

— Ничего.

Горький дым сигареты тянулся к потолку.

— Как страшно, — сказала сестра, — как мне было страшно эти шесть лет. Точно я не жила. Невозможно жить рядом с этим.

— Ничего, отойдешь.

Уже в сумерках сошла девочка с поезда.

Разбитая платформа, деревенька невдалеке.

Поезд ушел. Улегся поднятый им ветер. Земля уняла дрожь. Девочка одна была на разбитой платформе. В деревенских домах загорались огни. И она пошла по растаявшей земле к деревне.

У колодца старуха набирала воду. Лицо у старухи казалось черным в сумерках, глаза светлые на этом лице — как льдинки.

— Здравствуйте, — сказала девочка.

— Здравствуй, — отвечала старуха.

— Помогу?

Девочка со старухой донесли ведро до дома. Старого дома, ветхого, почерневшего от времени, вросшего по окну в землю. Внесли ведро в темные сени.

— А ты чия? — тонким голосом спросила старуха и улыбнулась смущенно. — Совсем ведь память никуда стала, никого нынешних не помню. Вчера вижу, а сегодня не помню. Вот как в детстве было, все помню, и всех, каждую собаку, каждую даже травинку, — и снова она улыбнулась. — Так ты чия?

— Я? — девочка взглянула на нее, как всегда серьезно. — Я — ваша. Родственница. Я живу у вас.

— Да что ты? — поразилась старуха. — А я и забыла.

— Я недавно живу, — успокоила ее девочка.

И в самом деле осталась с ней жить. И каждое утро старуха спрашивала ее:

— Ты чия?

И девочка ей напоминала. И жили они хорошо, и старуху добрую не пугали ее взрослые манеры, и

то, что она не допускает к себе ребяташек, и то, что к зеркалам никогда не подходит, и то, что читает книги так жадно.

Рожденные в глухую осень под близкий стук колес могут иногда не иметь отражения, «не иметь лица» — для себя и зеркал.

7. 1981. Сон

Однажды я была на даче. Шесть соток земли за городом. Сараюшка. Картошка. Кусты смородины. Все казалось черно-белым в лунном свете. По насыпи прошел поезд. Земля дрожала, гул слышался долго. Ветер пах смородиной и мазутом.

Мне исполнилось в тот день (ночь?) семнадцать лет. Мне казалось, я живу давно, с сотворения мира. Мне казалось, лицо у меня — старушечье. Я живу так давно, что позабыла цель жизни. В семнадцать лет все кажется, в жизни должна быть цель. А я ее позабыла. И потому упускаю все время что-то важное. И так мне хотелось вспомнить эту цель!

За огородом тек ручей. Я набрала в котелок ржавой воды и поставила кипятить на плитке в сараюшке. Лампочка была немощная под потолком, и свет от нее был слабый, как в ночном плацкартном вагоне.

Я бросила в закипевшую воду смородиновый лист, отбить запах ржавчины, и напилась этого чаю. Прошел еще поезд. Мигнула лампочка. Голова моя тяжелела. Я легла на диван, старый, продавленный, накрылась телогрейкой и уснула.

Удивительный сон приснился мне в эту ночь. Радостный. Томительный сон. Как весенний оттепавший воздух. Я не помню подробностей его совершенно, ни одной детали. Только настроение, томительную радость.

Я тоскую по этому сну до сих пор, как тосковала в семнадцать лет по упущенной цели в жизни. В моей памяти он — как густок света. Я мучаю свою большую голову, все хочу вспомнить, что же там было, в этом сне.

Мои сочинения — лишь попытка вспомнить тот сон. Вновь ощутить томительную радость.

Каждый раз, начиная, я надеюсь на чудо. Вдруг вспомню?

8. 1989—1997. Желание

Она думала: зачем я живу, такая? Она была непривлекательная для мужчин. Они ею не интересовались.

Не то чтобы она переживала, что они ею не интересуются, но ей хотелось ребенка. Но она не могла сказать, как в «Санта-Барбаре»: «Хочу ребенка, давай», — воспитание не то. И так она дожидалась тридцати пяти лет с этим желанием иметь ребенка. Критический возраст. Зачем я живу? — думала она. Ей казалось, ребенок оправдывает жизнь.

И вот как-то раз она уехала в отпуск, к морю, взяла денег взаймы и уехала. Может, там было похоже на «Санта-Барбару» — море и колонны из белого мрамора, — но вернулась она уже беременная. И очень была этим счастлива. Прямо светилась вся.

Ребеночка она родила зимой, мальчика. Но он вышел неудачным. Слабеньким. И никак не могли понять, что у него такое со здоровьем конкретно. Все вроде было ничего, вот только жизни в нем не было.

И вид у него был болезненный, и даже голос. Очень слабый голос. Очень надо было прислушиваться, чтобы его услышать.

Они жили в домишке деревянном у самого депо. И днем и ночью стучали поезда и кричали диспеттеры. Но мальчику они не мешали, спал он крепко. Он и днем-то был сонный и ко всему равнодушный. Не хотелось ему ничего. Ни апельсин съесть, ни на огород выйти, поглядеть, как картошка цветет фиолетовым цветом. Ничего. Никакого интереса к жизни.

Один знающий врач сказал этой женщине, что тут ничего не поделаешь, если человек ничего не хочет — ничего не поделаешь.

Но женщина не сдавалась. Рано утром она будила своего мальчика и заставляла вставать и делать зарядку, и умываться, и смотреть на солнышко, и есть манную кашу, и пить кофе с молоком.

— Может, ты хочешь без молока?

— Да нет.

Ничего не хотел.

После завтрака они шли гулять. Она держала его слабую ладошку в своей крепко-крепко.

Они шли от депо по асфальтовой дороге. Женщина говорила ему, что справа, за бетонной стеной, завод. Что эти мужчины идут на смену, и слова они говорят — ругательные. Их повторять нехорошо.

— А может, ты хочешь повторить?

— Да нет.

Вот эти железные блестящие штуки — это рельсы, они ведут к заводу (из завода?). Там делают тепловозы, за бетонной стеной. Новенькие тепловозы выходят из этих ворот и идут по этим блестящим накатанным рельсам туда, далеко. Очень далеко. И сутки, и двое, и трое, или больше. У нас большая страна.

Вот здесь магазин. Здесь продают мороженое. Но еще холодно есть мороженое. Для снега уже тепло, а для мороженого — еще холодно.

— Хочешь мороженое?

— Да нет.

Ну ничего он не хотел!

Ему исполнилось семь лет, и он умел уже читать вслух, хотя и тихо, и в школе учительница к нему наклонялась, чтобы расслышать. Семь лет ему исполнилось, но ходил он тихо, как старик. Ноги его с каждым днем слабели. И весь он слабел, без всякой конкретной болезни.

Женщина смотрела на него сухими глазами, когда он сидел вечером перед телевизором, и голубой экранный свет делал его лицо еще бледнее. Он сидел в кресле, укутанный в плед, потому что мерз даже у самой печки, сгорбившись, совершенно как старик. Всего семь лет прошел на свете.

Гудели и шли поезда. Окошко глядело в темный сад. Осени было самое начало. Цвели астры. Женщина вязала теплый шарф к зиме своему мальчику. Экранные голоса звучали. И вдруг она сказала:

— Снегу навалило много сегодня.

Через минуту примерно ее мальчик взглянул на нее.
— Снегу, говорю, сегодня много. Как стемнело, пошел. Завалило все пути совершенно. Поезда теперь идут медленно-медленно. Слышишь?

— Разве не осень? — спросил мальчик.

— Осень, — кивнула женщина. — Сентябрь.

— Не может быть снег осенью.

— Этого я не знаю, — сказала женщина, — не такая уж я умная, чтобы знать, чего может быть, а чего нет. И ты не такой умный.

Мальчик посмотрел пристально в темное окошко. Он помнил, что когда снег, не бывает полной темноты, от земли должно исходить белое свечение. Но за окном было темно совершенно.

Мальчик взглянул в окно, в глаза женщины и вновь повернулся к телевизору. Ничего не сказал. И утром ничего не сказал, когда стало ясно, что нет снега. Цвели астры, и листья с деревьев опадали в безветрии.

По субботам ездили на рынок. Просыпались рано. Печь смутно белела. Женщина вставала первой. Не зажигая света, крутилась у этой смутно-белеющей печи. Закладывала дрова, растапливала. Дрова разгорались, потрескивая.

Когда чайник на шестке запевал тоненько, женщина поднимала своего мальчика. Завтракали в тишине — женщина не любила радио. Солнце уже освещало, золотило верхушки двух старых яблонь в саду — листья, и правда, отлитыми казались из червонного золота.

В автобусе народу бывало много, с корзинами, с железными холодными бидонами. Женщина прижимала к себе своего мальчика. Под ее рукой билась у него на виске синяя жилка.

Рынок.

Они шли медленно по рынку. Она крепко держала его ладошку в своей. Рынок был велик для их медленных шагов.

На высоких деревянных прилавках продавали свежую зелень, маленькие пупырчатые огурчики. Помидоры с Украины. Яблоки, тяжелые и румяные.

— Эти огурцы сорвали вчера, — говорила женщина своему мальчику, — сложили с вечера в большую корзину, и поставили тяжелую корзину в сених, и накрыли большими листьями лопуха. Темно-зелеными листьями лопуха. Сени пропахли огурцами.

Ребятишки из этого дома стащили по огурцу из-под лопушиных прохладных листьев. Они здорово хрустели, эти огурцы, на их крепких зубах.

Торговка зачарованно слушала, что говорит эта невзрачная женщина бледному мальчику. Торговка выбирала огурчик получше и протягивала через прилавок. Она перегибалась через прилавок, чтобы мальчик мог дотянуться до ее руки, загорелой и грубой.

— Держи, держи, — говорила торговка.

— Держи, — говорила мать.

И мальчик брал покорно холодный огурец.

Так женщина водила его на рынок каждую субботу. И говорила то про огурцы, то про помидоры, как их везут с Украины в душном поезде и дают взятки проводникам, чтобы таможня прошла мимо, то про белый мягкий кусок творога с сетчатым отпечатком марли, то про тайваньские свитера с блестками — это уже другая часть рынка, «тряпишная».

Рынок — такое место, где все можно встретить, все, что есть на земле, — так рассуждала женщина. И если существует на земле что-то, что может соблазнить ее мальчика, то здесь они это найдут.

Было начало восьмой осени со дня рождения мальчика. Дни стояли пасмурные, но не темные. Грустные. Листья начали желтеть, и без всякого уже солнца смотрелись как золотые. В автобусе, где они ехали среди влажных корзин и гремящих бидонов, зажигали уже свет; за окнами казалось совсем темно из-за света. На рынке продавали грибы с налипшими на шляпки хвоинками и незрелую еще бруснику...

К полудню совсем посветлело. На «тряпишной» половине они увидели толпу. Впервые они видели толпу возле прилавка. Они никак не могли разглядеть через толпу, что там делается, возле прилавка. Толпа стояла удивительно тихо. Пахло деревянной стружкой.

— Чего там? — спросила женщина высокого мужчину в старой джинсовой куртке. Мужчина стоял, раздвинув ноги, и смотрел внимательно вверх толпы.

— Игрушки, — сказал.
— Ну надо же.
— А как бы посмотреть?
— взволновалась женщина.
— В очередь. Вон там конец.

Очередь двигалась медленно. Тихая толпа не убывала возле прилавка. В сером небе низко и быстро летали птицы. Вот уже очередь достигла толпы, вот уже пошла сквозь толпу, вот уже смогли они разглядеть, что там делается за прилавком, за чем они стоят в этой тихой очереди.

Небритый старичок стоял за прилавком и острый блестящий нож мелькал в его маленьких, как у



ребенка, руках. Острый, блестящий, чистый, отражающий свет серого неба.

Из деревяшек вырезал старичок игрушки на глазах у покупателя. Спрашивал:

— Чего желаете? — И вырезал.

Птицу. Паровоз. Дом в три этажа с балконом. Солдата на костылях. Розу в когтистом стебле. Острым ножом из деревяшки.

Пахло стружкой. Она падала с шорохом на прилавок, старичок сметал ее маленькой ладонью себе под ноги. Он делал свою работу с улыбкой. Бумажные деньги разглаживал и прятал во внутренний карман. Блестящая мелочь горкой лежала на прилавке. Одно удовольствие было смотреть на его работу, одно удовольствие было стоять в этой очереди.

Ребятишки не капризничали и ждали терпеливо, когда и их спросят:

— Чего желаете?

Они не сразу находили ответ. Стружка шуршала по-осеннему.

— Пистолет!

— Какой системы?

Острый нож отражал свет неба.

Подошла и их очередь.

— Чего желаете?

Ее мальчик смотрел на гору деревянных брусков и молчал. Так долго. Женщина наклонилась к нему, заглянула в глаза.

— Может, лошадку? — сказал старичок. — С всадником.

Мальчик молчал.

— Хочешь, я украду тебе его нож? — прошептала женщина. — Или его деньги? Или его самого?

— Да нет.

Женщина выпрямилась. Она взглянула на терпеливого старичка и сказала с отчаянием:

— Встретить бы мудрого человека!

Старичок нисколько не удивился и сказал с улыбкой:

— Не могу вырезать его из деревяшки, а сам я не мудр, хотя и стар, но могу дать его телефон, этого человека, по случаю он мне достался.

Ближайший работающий телефон был на вокзале.

Уборщица мыла кафельный пол. Задумчивый, сидел человек с желтой трубой в обнимку. Он поглаживал ее, как живую. Пальцы у него были вовсе не музыкальные, искорявленные черной работой.

Автомат проглотил монетку, в трубке щелкнуло, и протуженный голос сказал:

— Да?

— Я, — тихо сказала женщина. Рука, державшая трубку, вспотела.

— Что? — не расслышали на том конце. — Громче, пожалуйста.

— Хочу с вами встретиться! — крикнула женщина. — Посоветоваться!

— Ни к чему, — отвечали с того конца, — так говорите, по телефону.

Она закричала по телефону о своем мальчике, о жизни своей. Ее мальчик стоял тут же, ее ладонь лежала на его теплой макушке. Диктор что-то объявил, и человек с трубой поморщился — не расслышал из-за близкого крика этой женщины: «Мой мальчик!»

На том конце откашлялись.

— Передайте ему трубку, я с ним поговорю.

— Но он не сумеет с вами поговорить, он очень тихо говорит, вы не расслышите!

— Ему не нужно говорить, я буду говорить, а он — слушать. Слух у него хороший? Да, и не спрашивайте его после о разговоре, все испортите.

Она прижала трубку к его маленькому уху. Она смотрела на корявые пальцы, гладящие металл, холодный металл, и поддерживала тяжелую трубку. Она не слышала, что говорили ее мальчику.

— Я понимаю, ты ничего не хочешь, — говорили ему, — и с этим ничего не поделаешь, это я тоже понимаю, мы не в сказке. Но ты все-таки придумай себе желание. Я не говорю — пожелай. Просто — придумай, сочини. И скажи его матери. Обмани. Желание должно быть трудным. Очень трудным. Почти неисполнимым. Почти. Не полет на Луну и не отмена закона всемирного тяготения; оно должно быть исполнимым в принципе, но с великим, непомерным трудом. Подумай. Но не слишком долго думай, а, скажем... до первого снега. Да, пусть будет до первого снега. Сделай это, малыш.

Осень шла. Дожди моросили днем и ночью, ночи были долги. Листья все уже опали, голые деревья стояли черные и жалкие под дождем и ветром. Тепловозы кричали отчетливее.

Встав с постели, ее мальчик первым делом подходил к окну и смотрел внимательно, прижавшись лбом к холодному стеклу. Точно ждал кого-то. Однажды утром — он только проснулся, только открыл глаза, — женщина сказала ему:

— Вот и снег.

Он взглянул на нее быстро и испуганно. В первый раз она видела испуг в его глазах.

Он встал и подошел к окну. Он увидел белые редкие снежинки. Они опускались на землю и тут же таяли. На деревьях и заборе они таяли не так быстро, как на земле.

— Мама, — сказал он.

— Да?

Он молчал, прижавшись лбом к стеклу. У нее вдруг пересохло во рту.

— Да? — хрипло спросила она. Тепловоз прокричал, как животное.

— Я хочу покататься. На тепловозе. Я сам хочу вести тепловоз. Как машинист.

Женщина и ребенок ходили по станции. Ходили по подъездным путям. Женщина вела мальчика за руку. Ее лицо сияло. Мальчик был очень бледный, он спотыкался и не поспевал за женщиной. Она останавливалась перед тепловозами — их много стояло на подъездных путях: в грузовых составах и в пассажирских, и в почтово-багажном, и так.

— Выбирай! — кричала женщина. — Смотри на него! Этот?!

Мальчик задира голову. Перед ним была горячая стальная громадина. Она дрожала. Она испачкана была мазутом. В стальной громадине были впадины — ступени. Они вели вверх, в кабину, освещенную желтым электрическим светом. Из кабины выглядывал машинист.

— Скоро едешь?! — кричала женщина.

— Как скажут, — отвечал машинист.

— Подвези нас!

— Не положено.

— Я заплачу.

— Билетов, что ль, нет на поезд?

— Не знаю! Мы хотим на тепловозе!

— Тю, дурная. — И тут машинист замечал наконец, что у этой женщины со светящимся лицом — безумный взгляд.

И так они ходили от тепловоза к тепловозу, и всюду им говорили «нет». Но в одном тепловозе женщина увидела знакомое лицо, лицо соседа.

— Гриша, — сказала женщина, — ты ничего не слышал, что ли?

— А что? — спросил машинист. Он был один в тепловозе, помощник ушел за сигаретами.

— Жена ведь твоя в больнице, — и женщина смолкла.

— Что? — в глазах машиниста разлился страх.

— Умирает ведь.

Машинист не сразу понял смысл ее слов и еще несколько долгих секунд сидел неподвижно, но когда понял, вскочил и скатился с тепловоза, и побежал, спотыкаясь, через рельсы.

Двигатель работал, и горел свет в пустой кабине.

— Отлично, — сказала женщина.

В это время проходил мимо путейский рабочий в оранжевой безрукавке. Женщина его остановила и попросила посадить. И тот посадил ее, и она взобралась наверх, в пустую кабину тепловоза. Рабочий поднял высоко ее мальчика и передал ей с рук на руки. И даже не спросил, имеют ли они право лезть в кабину машиниста. И они оказались в ней. Наверху.

Женщина села, а мальчика взяла к себе на колени, чтобы он видел в окошко блестящие рельсы. На улице похолодало, а в кабине было тепло. Снег уже не таял, опускаясь на землю. Он покрывал уже и землю и шпалы, и только стальные рельсы были видны на белой земле.

— Не волнуйся, — сказала женщина своему мальчику, — я разберусь, как этим управлять. Сдвинь-ка этот рычажок.

Он сделал покорно, что она велела, и тепловоз задрожал, как в лихорадке, и рывкнул вдруг. И земля под первым снегом вдруг покатила под колеса. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее.

— Ага! — крикнула женщина.

Они не видели, конечно, бегущих внизу, по земле, помощника машиниста и других испуганных людей. И не слышали, что кричат им о них диспетчеры по громкой связи. Тепловоз набирал ход. Женщина держала своего мальчика крепко-крепко за хрупкие плечи.

Дежурному диспетчеру потом дали премию. Он успел перевести стрелку, и тепловоз пошел по боковой ветке. Ветка вела в тупик, обрывалась в чистом поле, и тепловоз слетел с рельсов в это чистое поле и перевернулся, и был страшный взрыв. У многих в поселке повышибало стекла взрывной волной, и в школе тоже. И всех школьников отпустили домой в этот день. Они бегали смотреть огромную воронку и искали обгоревшие куски железа.

Если бы не сообразили тогда перевести стрелку, тепловоз бы врезался в пассажирский. Так что диспетчеру дали премию, а машиниста уволили по статье. И это он очень легко отделался.

Про мальчика с мамой говорили, что он, мальчик, все равно бы эту зиму не пережил, а мать — его бы не пережила, своего мальчика.

9. 1880—1995. Черная дыра

Все потомки немца, строившего завод, станцию, город, жили здесь же, в этом городе. Никто из них не увидел другого мира: ни Москвы, ни Сибири, ни Кавказских гор. Город стал для них чем-то вроде черной дыры. Все они жили здесь и здесь умирали. Все. Этот факт известен. Объяснения этому факту нет.

Причины были у каждого. Один — не имел желания, другую не пускал муж, третий был болен, четвертая умерла во младенчестве, пятый хотел, поехал, и — погиб в катастрофе. Шестой даже пробовать боялся.

Он любил ходить на станцию смотреть поезда. В любую погоду его там можно было застать.

Он курил и смотрел, как подходит медленно тяжелый состав. Как открываются железные двери, как протирают поручни проводники. Как пассажиры выскакивают на платформу. Покупают вчерашнюю газету в киоске. Закуривают на ветру.

За пыльным стеклом видна бутылка молока, и лицо старухи. Старуха смотрит на станцию с детским безразличием. Диктор объявляет отправление, загорается зеленый свет, пассажиры торопятся в вагон, машинист дает гудок. И старуха за пыльным стеклом плывет мимо. Туда, куда ему невозможно.

У него был друг, скульптор, он шутил:

— Знаешь, Ваня, если помрешь раньше меня, я непременно твою скульптуру вылеплю в полный рост и поставлю на станции на небольшом постаменте, а можно и без постаментов, а прямо так, на платформе, между газетным киоском и туалетом. И будешь ты глиняными глазами смотреть на поезда после смерти.

— Доставь мне удовольствие, — отвечал Ваня.



Юрий РЯШЕНЦЕВ



АВАРИЯ

Электричество гаснет в поселке внезапно.
Всем хотелось бы в солнечный полдень, назад, но
наступает такое крошечье без меры,
что «назад» и «вперед» — это только химеры.

Без архангельской дивной трубы, без Завета
время кончилось. Кто-то ответствен за это.
Впрочем, время достойно такого финала —
хоть за то лишь, что близких у нас отнимало.

Но во тьме неподвижной, в ночной душегубке
все по-прежнему смертны, лишь более хрупки.
И ликует комар и, впиваясь в конечность,
воспевает свою насекомую вечность.

* * *

Вот проходит январь, и прекрасно, что вот он проходит.
Сон — как тихая тварь: и живой, и на жизнь не походит.
А проснувшись, ты видишь: пока ты кутил с мертвецами,
лещ подледный речонку взорвал, как тротил, и — с концами.

Свойство чутяь весну за почти что декабрьскою выюгой
испугает жену, а потом и поссорит с подругой,
ибо не принесет ни покоя, ни власти, ни денег.
Не имущий же их, он для женщин отчасти — бездельник.

А и вправду — бездельник. Воистину: слово — не дело.
Этот лед, этот ельник — да их бы и пьянь разглядела.

Эти звезды в ветвях — да от них бы и спесь зарыдала,
так надменно они всюду смотрят, а здесь — так устало.

Много ль стоят все вирши, покуда колодезный ворот,
забирая все выше, поет про колодезный холод,
и ледок пристаёт к полынье — между дел, не нарошно...
Боже мой, все на свете имеет предел! Невозможно...

ТРЯСОГУЗКА

Трясогузка, как твое название,
где твоя приличная латынь?
Явное какое ликование
при таком-то прозвище... Остынь!

Но она среди дерев и зданий
занята не делом, так игрой.
Господи, через каких созданий
Ты не вразумляешь нас порой!

* * *

Счастье знаешь в лицо, и привычка — ему не замена.
Мы не то чтобы стбы, а в нас завершенность заметна.
От любви мы не ждем
никаких новостей.

И звезда над водой, и решетка прекрасного сада
отвлекают теперь от объятий. Но так нам и надо.
Дом твой — карточный дом.
Ты в нем — дама крестей.

Так трэфовую масть называют в российском гаданье...
Увяданье в твоём Петербурге царит, увяданье.

Нам последним дано
оценить эту статью.

Вот уж верно отметил мыслитель — хоть резко, но честно:
ничего-то нам, русским, по совести неинтересно:
интересно одно:
умирать, умирать.

Этот древний процесс плодотворен, как это ни странно.
Мы народ, не создавший ни Библии и ни Корана,
но всю горечь их строк
воплотивший — да так,
что и наших прошаний и наших великих прошений
не оценит какой-нибудь разве бесчувственный гений,
ведь не «наш»: не игрок,
не мудрец, не мудака.

...Почему-то никто не сказал о малиновом свете,
охватившем все небо, не ведающее о лете
и как раз потому
напоенное им...

Мы не то чтобы юны, а в нас постоянно стремленье —
попрошавшись, остаться и длить ослабевшее тленье.
Мы верны. Но — чему?
Головешкам одним...

Не пора ли тебе оборвать эти речи маньяка:
он, гуляя с красавицей, полон любви, но однако —
неизвестно, к чему,
непонятно, какой.

Он и любит, как все здесь: и любит, и знает, что — стерву.
И внезапно кидает на теплую летнюю стену,
так что шелк — в бахрому
под рукой.

НА ТЕМУ СТИВА УАНДЕРА

Светится бухта
Из-за тугого куста.

Роза набухла
и — розовато-желта.
Дышит неровно,
словно
я ей близко знаком,
слишком греховна,
чтоб быть цветком.

Травы немые —
корни таятся в аду.
Дело для Змия
в этом найдется саду.
Что за аллея?
Где я?
Роза дышит у рта,
как Саломея
тогда, тогда...

И связь времен, всегда натянутая туго,
еще не рвется, но уже звенит, дрожа.
Иль это трутень жалкий век свой, век досуга,
воспеть решился — от него и звук?

Ножа,
спасибо, нет. Спасибо, ножниц нет в запасе.
Спасибо, шип так очевидно зол и крив.
Спасибо, пир гостей на призрачной террасе
так подло громок, так натужно-похотлив,
что миг — и кончится свиданье с этой розой,
чей запах — памяти живое вещество.
Одна лишь кобра так качается с угрозой,
как это желтое живое существо...

Тяга к пороку:
вот он открыт мне — каков?
Кануть в воронку,
в омут тугих лепестков...
Роза сырая...
Мая
три последние дня.
Чаша до края —
мимо меня.

МОНАСТЫРЬ

Небо в просвете бойницы — как узник в тюрьме:
ну, там, княжна Тараканова или наследник
трона — ну, словом, не вор, не убийца, не плут.

Розово-белый дебош на зеленом холме —
чудо под нашими звездами не из последних,
стоит того, чтоб умолкнуть на пару минут.

Каждому Китежу хочется тихой воды:
не утонуть, не исчезнуть навек — поглядеться.
Эта вода несвободна и все же — не врет.

Месяц дождей, власть Серебряной этой Орды,
кончилась. Пруд монастырский являет владельца
без дождевой мельтешни — от крестов до ворот.

Хочешь рыдать, так рыдай. А не хочешь — молчи.
Сказано все. И написано все. И — не надо.
Кто-то народ надоумил — и вот он — мираж.

Кстати, не помнишь, когда улетают грачи?..
Кстати, не знаешь, далеко ли до листопада...
Кстати, где брат твой? Не слышу!

— Я брату не страж...

* * *

Ниших мух занудливая стайка,
бедный стол да пышная кровать.





С перцем разудала хозяйка:
выпьет штоф — сама Едрена Мать.

Вот Она в своей приемной зале,
в пятистенке, крепеньком пока.
Вот куда всю жизнь нас посылали!
Оказалось, даль недалеко.

Чуть небрежна легкая сарпинка.
И коленка ясная под ней.
Выпьем! Синей птицы Метерлинка
эти мухи синие — синей.

Я пошел, куда меня послали,
и пришел не в худшие места.
Жаль, что четверть желтая в подвале
не полуполна — полупуста.

Ну, да мы не пьяницы, наверно.
Первый луч — на кухонном ноже.
И проселок сух, да дело скверно:
возвращаться некуда уже.

* * *

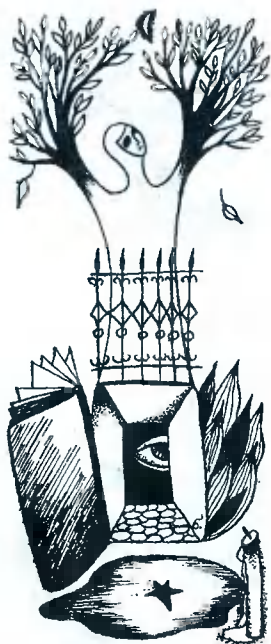
Праведная стезя муравья ползет через корень ветлы.
Осень, пришедшая в наши края, не означает мглы.
Воздух прозрачен, как толь, как батист, и в нем, как воздушный скат,
плавает вялый кленовый лист и тычется наугад
в окна домов, выбирая окно, где кому-то невольно,
и он, проиграв семью в домино, радуется и листу...

Это от ветра в сквере молва, что листопад в лесу.
Зрелость прекрасна, но так трезва — ну, ни в одном глазу.
Дикой листвою золотая орда нам не сулит бед.
Хочется молодости иногда... А иногда — нет.

* * *

Тот, кто цедит дожди,
осторожен, как царский провизор.
Настоящего ливня не жди,
говорит телевизор.
И вечерними маршами
над Патриаршими
завершается летний сезон.
И кафе «Маргарита»,
харчевня во имя Булгакова,
как обычно, глядит и тепло, и несыто
на всякого,
кого вслед за Воландом —
волоком, волоком!
так и тянет
на чертов газон.

Между тем, этот миг
и без книжных подсказок — что надо!
Павильона дрожащий двойник
и литая ограда,
и листва в тихом лепете
о лете, о лебеде,
обитавшем здесь в прошлом году...
В переулках все окна —
как розы, закатные, мглистые,
паутины тончайшие блещут волокна
в межлистьи...
О, вечернее кроткое
счастье короткое
бобыля у людей на виду...
И хотел бы уйти.
Но отсюда уйти невозможно.



Воля Бронной фатальна почти
и почти непреложна.
И смотрю я на дерево:
тихая тень его
при зажегшемся вдруг фонаре
пролегла, как граница
меж прошлым и будущим вечера.
И вода, как покуда пустая страница,
подсвечена...
Прощальные радости
присевшего в августе
и поднявшегося в сентябре.

* * *

*Арс лонга, вита бревис.**

Вот снесла тебе курочка Ряба золотое яйцо:
и владык пережил, и не бросил их нищих владений...
Но единственная возможность
увидеть дорогое лицо —
это где-нибудь
на перекрестке двух сновидений...
С ненавистным режимом любимые сгинут друзья.
Лишь веселая звездочка мая над крышей вечерней
будет тихо звенеть,
как звенит телефон твой,
дразня
то прохладой сыновней любви,
то лукавством дочерней...

Бог прощает того,
кто на небо изрыгает хулу
за потери свои,
безрассудно вопя о возврате.
Ведь, обиженный Богом,
он верует в то, что золу
можно в жизнь обратить —
даже веры единственной ради.
Тяжелее тому, кто догадлив,
кто смиренно признал
бревис виты
(при этом плевал он, что арс, дескать, лонга!).
Он ложится в постель и включает тот телеканал,
для которого много — антенны, но мало — шезлонга.

О, какие неожиданные встречи предстоят до лучей,
в тот загадочный час, как архангел трубит с перепоею,
и — не раб, и — не Божий, —
но — кто же, но — кто же, но — чей? —
Ты ступаешь на звездный пустырь
и — твои пред тобою!

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Лыковская церковь за летнею водой
возникает с милой похвальбою.
Быт стрижей прибрежный, витающий, витой, —
торжество полета над ходьбою.

Нудный цвет заборов, нудистский вялый рай,
этой во всей бесценной дешевизне...
Скука до зевоты да счастье через край —
с нами оба чуда русской жизни.

И в высоких травах на низком берегу
на краю Серебряного бора
я не обещаю, что умереть смогу.
Может быть, когда-нибудь... Не скоро.



* Искусство вечно, жизнь коротка (лат.).

ШКОЛА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ



1.

«Гамильтониан имеет вид» — в мире физиков-теоретиков это выражение играет такую же роль, как «мы с тобой одной крови — ты и я» в киплингговских джунглях. Это пароль, с помощью которого мы можем узнавать друг друга в любом обществе. К сожалению, то, что гамильтониан имеет вид, было настолько само собой разумеющимся фактом, что мы, организаторы Первой международной летней школы по теоретической физике им. Ландау, даже не подумали им воспользоваться. Как мы увидим далее, это оказалось непростительной небрежностью с нашей стороны.

Школа должна была начаться в понедельник 4 июля 1993-го года в Институте теоретической физики им. Ландау в поселке Черноголовка Московской области. Учиться тео-

ретической физике к нам приезжали около 60 «школьников» — студентов и аспирантов из 11 стран планеты. За два дня до начала, в субботу утром задуманное мероприятие представлялось хорошо отлаженным механизмом, который осталось только запустить. Наконец, после стольких дней беготни и нервозности, можно было прилечь и отдохнуть. Все выглядело просто замечательно. Хватит мотаться по всем этим чопорным парижам: если кому-то нужны наши знания, пускай сами приезжают сюда и платят деньги. И тогда делиться своими знаниями для меня — одно удовольствие, хоть посреди черноголовского леса, хоть в болоте, только бы ржавая железяка Эйфелевой башни не маячила перед глазами. И вообще, надоело! Надоело ныть, надоело побираться, надоело доказывать, что теоретическая школа в России жива и никуда не делась, что не все мы разбежались по миру, а есть еще достаточно психов-теоретиков, для которых гамильтониан имеет вид именно в России...

Не знаю почему, но когда посреди этих бравурных размышлений, которые вот-вот должны были перейти в сладкие сны, раздался телефонный звонок, я сразу же воспринял его как зловещий сигнал тревоги. К сожалению, мои предчувствия обманывают меня не всегда.

Звонил председатель оргкомитета Школы Лев Шур. В свойственной ему убийственно спокойной манере он сообщил, что в Шереметьево час назад украли Дэвида Лицкого — это был самый первый прибывавший на Школу слушатель, и летел он к нам не откуда-нибудь, а из Соединенных Штатов Америки. Лицкого встречал наш аспирант Ярослав Пугай. Простояв около двух часов в условленном месте у справочного бюро с плакатом, изображавшим эмблему Школы, он наконец заинтересовался у женщины за стойкой, не спрашивал ли кто-нибудь про Школу Ландау. Да, — радостно сказала женщина, — совсем недавно один молодой человек спросил про Школу Ландау, и тут же стоявший рядом мужчина ему сказал: «это ко мне», — и увел его в неизвестном направлении. Ярослав немедленно обратился в милицию, где его как могли успокоили. В милиции международного аэропорта Шереметьево-2 ему сказали, что у них тут каждый день исчезает по два-три человека, так что никаких причин для ажиотажа они не видят. Далее ему объяснили, что, как правило, клиента просто выбрасывают из машины, и он остается без вещей, но очень быстро находится сам. Бывает, правда, что пропавший человек обнаруживается (тоже сам собой) через пару дней где-нибудь в другой области раздетым догола. Хотя, конечно, случается и так, что клиент просто бесследно исчезает, и поэтому искать его все равно нет никакого смысла. После этого Ярослав умудрился прямо из Шереметьево дозвониться до Льва в Черноголовку, чтобы описать всю эту захватывающую интригу.

Вот тут до нас, увы, с опозданием, и дошло, что если бы мы условились с прибывающими гостями пользоваться при встрече нашим паролем, то подобных инцидентов можно было бы избежать. Ну в самом деле — что может ответить бандит, пусть даже хорошо вооруженный, на вопрос: «Гамильтониан имеет вид?»

Через десять минут Лев и я сидели в мягких креслах в фойе Института теоретической физики под большим барельефом Льва Давидовича Ландау. У нас не было быстрогоходного «БМВ», на котором можно было бы броситься в увлекательную красивую погоню со стрельбой, у нас не было скорострельного автомата «узи», которым такую стрельбу можно было бы устроить. Единственное, что у нас было, — это телефон на столе и еще некоторый опыт аналитических рассуждений, к каким последствиям приводит тот или иной вид гамильтониана.

У каждого прибывающего на Школу слушателя было три «пожарных» московских телефона, по которым можно было позвонить в случае непредвиденных обстоятельств. Прежде всего мы проверили, что ни по одному из этих телефонов Лицкий не объявлялся. Нужно было поднимать по тревоге всех членов оргкомитета. Позвонили в Москву Лене Леви-

тову. В ответ на наш сбивчивый рассказ о происшедшем Ленья застонал, что и здесь, в Москве, от этих чертовых американцев ему нет покоя, но обещал подумать. Леню понять можно — по шесть месяцев в году он отрабатывает в Массачусетском технологическом институте, и ему вся эта Америка стала хуже горькой редьки. Позвонили в Нью-Йорк, где в эти дни находился Миша Фейгельман, хорошо знакомый с научным руководителем Лицкого. Миша воспринял происшедшее как свое личное упущение и пообещал приложить все усилия к розыску всевозможных друзей, близких и дальних родственников пропавшего клиента. Потом, естественно, сразу же позвонили в Москву нашему секретарю Тамаре Абальян — любой человек в теорфизике, если что-то случается (или даже если ничего не случается), немедленно звонит Тамаре. Тамара сказала, что мы ее чрезвычайно заинтерговали, и пообещала сидеть на телефоне в качестве диспетчера.

Мы решили разрабатывать единственную доступную разработку версию, что Лицкий встретил и увез к себе какой-нибудь его приятель, а сам Лицкий поступил как последняя свинья, никому из нас об этом не сообщив. Против этой версии работал один точно известный факт: Лицкий в Россию ехал первый раз в жизни, но, тем не менее, в мире сейчас все так перемешалось, что от приезжающих в Россию теперь можно ждать чего угодно. Равно как и наоборот: эта таинственная страна с каждым гостем тоже может поступить самым неожиданным образом.

Тем временем два наших аспиранта благополучно доставили в Институт второго слушателя Школы, аргентинца по имени Эдуардо. Поскольку Эдуардо сразу же проговорился, что был немного знаком с исчезнувшим Лицким, мы немедленно привлекли его к делу в качестве ценного свидетеля. Из его показаний следовало, что по не проверенным данным у Лицкого в Москве имеются какие-то дальние родственники.

Прошло уже три часа с тех пор, как исчез сжавший к нам американский гражданин, и пора было сообщать о случившемся в американское посольство. Ленья Левитов долго страдал в том смысле, что ему легче пойти к дантисту в районную поликлинику, чем общаться с американским посольством, но в конце концов согласился. Поскольку у него под рукой не оказалось ни одного телефона этого учреждения, он позвонил по 09, однако там американский телефон ему давать отказались и посоветовали позвонить в КГБ, сообщив соответствующий телефон. Ленья тут же позвонил в КГБ, где его просьба дать телефон американского посольства была воспринята с полным пониманием и затем в высшей степени любезно удовлетворена. После этого Ленья позвонил в американское посольство и бесстрастным официальным тоном сообщил, что в Шереметьево-2 при таких-то и таких обстоятельствах пропал гражданин Соединенных Штатов Америки такой-то. Посольство металлическим тоном сказало, что эту информацию они передают своей службе безопасности, которая немедленно начинает проводить соответствующие мероприятия.

И тут нас посетила неожиданная мысль: а наши-то что? — Ну ладно, от этой беспотентной милиции действительно ничего не добьешься, но ведь родное ГБ, судя по всему, еще существует. Тем более интересно — пусть они посоревнуются с американцами (а мы посоревнуемся с ними). Однако по *этой* поводу разговаривать с родными спецслужбами Ленья наотрез отказался, резонно заметив, что его сообщение в американское посольство они уже все равно подслушали и его повторное заявление об этом инциденте будет воспринято как неуважение к техническим возможностям их могущественной организации. Кроме того, Институт теоретической физики находится в Черногловке, и более естественно просить гэбэшной помощи именно там.

Однако в Черногловке все оказалось намного сложнее. Когда Лев набрал 09 и простым естественным тоном попросил: «Скажите, пожалуйста, как позвонить в КГБ, или как оно там теперь называется?» — на другом конце провода телефонистка сначала охнула, потом тяжело задыхалась и лишь спустя минуту, слегка заикаясь, пробормотала, что информация такого рода она не дает. Позвонили в местную милицию. Те нас долго расспрашивали, что мы такие, что произошло, а потом нам было сказано, что информа-

цию такого рода они давать не имеют права. Наконец, позвонили в муниципальную службу безопасности «Алекс». Оттуда мы услышали множество упреков, что, дескать, они же с самого начала нам предлагали приставить к каждому гостю по паре своих сотрудников на все время проведения нашего мероприятия, но гэбэшный телефон дали.

Некоторое время мы слевой препирались, кому из нас звонить. Бросили монетку, и выпало ему. Лева вздохнул, метко заметил, что это чем-то похоже на потерю девственности, и набрал номер. Увы, устроить соревнование российских и американских спецслужб не удалось — телефон не ответил. Если подумать, то действительно — какие могут быть гэбэшные расследования в теплый летний субботний вечер, когда на даче дел невпроворот?

Тем временем Миша в Нью-Йорке развил бурную деятельность и выяснил, что прибывающий к нам сегодня еще один американский участник по имени Меранда является близким другом пропавшего Лицкого. К сожалению, наш будущий слушатель уже отправился в аэропорт, чтобы лететь в Москву, но его родители сказали, что они тоже якобы слышали, что у Лицкого в Москве есть какие-то дальние родственники. Кроме того, они сообщили Мише, что у Лицкого есть невеста, и дали ее телефон, однако этот телефон пока не отвечал.

Не знаю, чем там занималась американская служба безопасности, но запущенная нами машина расследования работала на полную мощность. Между Черногловкой и Москвой, между Москвой и Нью-Йорком, между Нью-Йорком и различными точками Соединенных Штатов час за часом шли интенсивные телефонные переговоры.

К вечеру Тамаре удалось разыскать директора Школы Володу Минеева, и тот сходу сумел дозвониться до невесты Лицкого. Со свойственной ему прямотой Володя сообщил ей, что тут в Москве пропал ее жених, и спросил, не знает ли она, где ее возлюбленный собирался провести ночь с субботы на воскресенье? Бедная девушка охнула, успела сказать, что Дэвид ей ничего такого не говорил, потом запричитала, что она всегда была против этой безумной поездки, потом ей стало плохо, и разговор прервался. Впрочем, это еще ничего не означало: невеста вовсе не обязательно должна все знать о своем любимом.

Решительный перелом наступил поздно вечером, когда Мише удалось разыскать близкого приятеля Меранды — того самого, который по нашим данным был уже на подлете к Москве. Этот приятель поклялся, что сам лично присутствовал при разговоре своего друга с Дэвидом, во время которого Лицкий проговорился, что связался со своими дальними родственниками и что, пожалуй, он заночует у них в Москве.

Было уже далеко за полночь, когда к нам в фойе под конвоем двух аспирантов был доставлен Меранда, который под присягой подтвердил то, что мы уже и так знали: да, Дэвид Лицкий, столько-то лет, уроженец какого-то из их Соединенных Штатов, по прилете в Москву 2 июля 1993 года действительно собирался провести субботу и воскресенье у своих дальних родственников в Москве, и эти родственники должны были его встречать в Шереметьево. На этом наше расследование, тянувшееся около двенадцати часов, успешно завершилось.

У этой истории было два небольших продолжения. Во-первых, когда на следующий день кто-то из наших аспирантов предложил аргентинцу Эдуардо прогуляться по Черногловке, тот пустился в путаные объяснения, что его не покидает такое чувство, что этот день он предпочел бы провести, не выходя из своего гостиничного номера. Во-вторых, когда этот [нехороший человек] Лицкий в понедельник появился на Школе и принес свои тысячи извинений, Лев великодушно заявил, что лично он его уже давно простил, однако возможные осложнения во взаимоотношениях с американской службой безопасности, а также с его невестой, ему, Лицкому, придется утрясать самому. У бедного Лицкого так вытянулось лицо, что и я и Лев были полностью удовлетворены.

2. Слушателей Школы мы размещали в так называемой Бастилии. Гостей мы расселяли в том ее корпусе, который

называется «Гостиницей Академии наук», а наши институтские юные дарования жили по соседству в Аспирантском общежитии, которое представляет собой зеркальную копию стоящей рядом гостиницы.

Бастилия — это очень интересное место. При всей кажущейся прямоугольной строгости форм и мрачной неприступности этот монументальный двубашенный архитектурный ансамбль подкупает совершенно умирительными изощрениями. Между двумя корпусами Бастилии на высоте второго этажа в воздухе парит длинная галерея, через огромные окна которой часто (даже сейчас!) можно видеть выставки цветов или картин местных художников. Здесь же, примыкая к галерее, расположено сложное трехэтажное архитектурное сооружение, в котором нашли свой приют студии всевозможных видов искусств. Корпуса Бастилии, стоящие на краю Черноголовки рядом с Южным озером, на открытом зеленом пространстве, красивым полукругом обходят замечательный автомобильный путепровод. Стартуя с обширной площади перед гостиницей и постепенно углубляясь почти под землю, он лихо огибает общежитие, проходит под двумя изящными, как венецианские мостики, пешеходными переходами и заканчивается с другой стороны гостиницы безнадежным тупиком, единственное назначение которого — служить доступом к гостиничному мусоропроводу.

Когда-то, теперь уже очень давно, я провел в Бастилии несколько лет. Сейчас об этом уже мало кто помнит, но на рубеже 70-х и 80-х Советская власть вдруг вспомнила (к счастью, ненадолго), что она должна предоставлять советским семьям отдельное жилье, и выразилось это в том, что семейных молодых людей запретили селить в общежития. Наверное, в этом была какая-то логика — семейный человек в общежитии своим существованием портил какую-то статистику, — но дело не в этом. В те милые времена мне было не до трактовок поступков Советской власти — меня хватало лишь на то, чтобы бороться с ее конкретными проявлениями. Черноголовка, возможно, в силу некоторой удаленности от Москвы, была традиционным островком либерализма, и если, скажем, в физтеховском общежитии в Москве человека, у которого обнаруживали штамп в паспорте, просто выкидывали из общежития, то в Бастилии таких людей не трогали. Более того, человека с семейным клеймом после длительного ритуала уговоров и вздохов могли и поселить, и, что совсем поразительно, при наличии места — даже с женой, хотя, конечно, неофициально — как говорится, по договоренности с администрацией.

Длительный ритуал уговоров, вздохов и пускания слезы не всем давался легко. Я хорошо помню, как однажды штурмовая группа вахтерш, возглавляемая коменданткой, с криками: «Вы не имеете права жить с женой без разрешения администрации!» — ломилась в запертую дверь комнаты, где забаррикадировался аспирант Института теоретической физики Володя Андрейченко со своей супругой. Володя мужественно выдержал осаду, и именно тогда он произнес свою знаменитую фразу: «Вы ошибаетесь — *жить* с женой я имею право без разрешения администрации!»

В то романтическое время колбасы по рубль двадцать мы с женой только в пределах Черноголовки сменяли девять мест обитания — пускание слезы перед комендантом Бастилии мне давалось несколько лучше, чем Володе Андрейченко, но не всегда. В общем, я не могу сказать, что вся эта увлекательная борьба за выживание сейчас мне видится только в ностальгическом розовом свете. Я тогда получал аспирантскую стипендию в размере 85-ти рублей, и из них 70 мы с женой отдавали за снимаемую комнату, 15 — за мою прописку в Бастилии и 10 — за прописку жены в деревне Ботово. Так и жили. При этом, чтобы перевести столь сложную арифметику хотя бы в область положительных чисел, не говоря уже про колбасу по рубль двадцать, я регулярно сочинял рефераты по текущим научным публикациям для ВИНТИ, и все эти гамильтонианы, которые я вынужден был через себя пропускать, имели такой тошнотворный вид, что даже мой собственный гамильтониан, который и так выглядел довольно бледно, часто вызывал у меня полное отвращение.

Однажды в период январских морозов нас с женой как-то слишком неожиданно выгнали из очередного нашего оби-

талица, и мы оказались в ситуации, когда нам действительно некуда было деться. От сомнительной перспективы демонстративной жизни в палатке нас спасло то, что именно в этот момент один мой хороший знакомый переезжал в новую квартиру. Свою старую квартиру он к тому времени уже освободил, и поэтому, услышав о моих злоключениях, он решил некоторое время не заявлять, что квартира свободна, и пустил нас туда. Право же, это было так романтично: стареновогодний вечер, звонкое эхо от пустых стен, шампанское в эмалированных кружках, голая лампочка под потолком, коробки, чемоданы, тюки... К несчастью, то, что сантехника в квартире была в аварийном состоянии, я осознал только тогда, когда не слишком нежно попытался заставить унитаз выполнить его прямую обязанность. К тому времени была выпита уже не первая бутылка, и я самонадеянно решил, что разбираюсь в унитазах не хуже, чем в гамильтонианах. В результате стопорный кран вылетел, как пробка из бутылки шампанского, а вслед за ним ударила тугая неиссякаемая струя ледяной воды. Удивительное дело — я никогда не думал, что квартира может так быстро наполняться водой. К счастью, мы находились на первом этаже, и до определенной степени это ослабляло драматизм ситуации. Конечно же, мы мужественно боролись со стихийным бедствием: затыкали брешь и тряпками, и просто пальцем, по очереди бросались грудью на безжалостную струю, однако окончательная победа была достигнута, только когда посреди ночи до нас наконец добред вдрызг пьяный водопроводчик.

Мы продержались в той квартире всего несколько дней: кто-то из соседей наступал куда следует, и нас выкинули. Однако к тому времени я уже успел разжалобить комендантку Бастилии своими стенаниями, и нам было куда эвакуироваться. Но так просто эта история не закончилась. Спустя несколько дней выяснилось, что в одной из комнат оставленной нами аварийной квартиры высохший паркет вздулся безобразной штормовой волной, в чем мне были предъявлены соответствующие претензии. Заплатить за причиненный ущерб мне, естественно, было нечем, и в этой, казалось бы, безвыходной ситуации я нашел, как мне сначала показалось, очень остроумное решение. Дело в том, что в Бастилии в те дни происходил ремонт лифта, и на одном из этажей лежал штабель тяжелых металлических плиток, которые служат лифтовым противовесом. И вот в один из вечеров я втихаря за несколько часов перетаскал весь лифтовый противовес в злополучную квартиру и аккуратно уложил его на вспученную паркетную волну. Должен сказать, что все это выглядело очень смешно только с расстояния многих лет, а тогда, после многих часов моих челночных рейсов с безумно тяжелым рюкзаком (кстати, больше двух гирь за один раз я унести был не в состоянии), комментировать свое отношение к происходящему я мог лишь с помощью сугубо непечатных выражений. Как это ни удивительно, мое изобретение сработало, и спустя пару дней на паркетном море установился штиль. Однако ликование мое было преждевременным. Вскоре в Бастилии появилось большое объявление (цитирую дословно): «Тот ИДИОТ, который украл лифтовые гири, большая просьба, срочно вернуть их обратно!» Разумеется, как честный человек, я их вернул — все до единой. Опять с обреченностью ишака я целый вечер ходил туда-сюда и таскал, таскал, таскал на своем горбу этот безумно тяжелый, но такой нужный обществу металл. Однако самым утомительным в этом мероприятии была даже не физическая усталость, а то, что я из всех сил пытался сохранить тайну, что в условиях общежития было весьма непросто. Я старательно прятался даже не из-за того, что боялся разоблачения и какого-то там наказания, а просто потому, что чувствовал: обидное слово ИДИОТ исключительно точно соответствовало моим действиям.

3.

Пока я предавался всем этим ностальгическим воспоминаниям, из Шереметьево прибыл автобус с последней партией наших «школьников». После детектива с исчезнувшим Лицким с каждым транспортом в аэропорт мы отправляли не только наших аспирантов, но и по три-четыре охранника из муниципальной службы безопасности «Алекс».

Последний автобус из Шереметьево прибыл, когда было уже около полуночи. Первым делом мы отвезли подкрепиться наших измученных «детешек» в столовую Института физики твердого тела, которую мы арендовали для Школы на все три недели. Здесь никаких сбоев не было: как мы и договаривались, несмотря на столь поздний час повара продолжали терпеливо ждать (деньги есть деньги), и то, что они называли котлетами с гарниром, было горячим. Затем автобус с размякшими сонными гостями подъехал к Бастилии.

Прошло уже много лет с тех романтических времен, когда я видел Бастилию в столь поздний час, и обнаруженное мною теперь зрелище происшедших перемен впечатляло. Вся площадь перед гостиницей была запержена «мерседесами», «фордами», «тойотами» и прочими неперенными атрибутами настоящих мужчин. Сами же «настоящие мужчины» гуляли в гостиничном ресторане под очень уместным названием «Медведь», вход в который находится прямо в фойе напротив стойки администратора. «Медведь» гремел чем-то вроде Титомира, рокотал многоголосым хором медвежьих глоток и повизгивал игривыми бабскими писками. Некоторых из этих новых хозяев жизни можно было видеть на свежем воздухе, куда они выползали, чтобы не только коллеги, но и окружающее население могло удостовериться, как крепко они стоят на ногах. Поскольку многие из этих квадратных мужчин были в майках, то любой желающий мог полюбоваться обильно представленными орнаментами весьма замысловатых татуировок. Как положено, каждая такая горилла была облеплена весьма специфическими особями женского пола, у которых ноги начинаются от ушей, на бедрах имеется широкий пояс, который все еще называют юбкой, а высокие черные сапоги не дотягивают до попки только потому, что это мешало бы их владелицам выполнять свои прямые профессиональные обязанности. По моим старомодным представлениям все это называется одним емким словом *бордель*. До сих пор столь яркие зрелища я видел только в кино.

И вот теперь рядом с этой клоакой мы вынуждены были размещать наших трогательных беззащитных юношей и девушек с такими доверчивыми глазами, в которых светится столько любви к Истине. И хотя было предусмотрено, что на все время проведения Школы и в фойе, и на этажах гостиницы будут непрерывно дежурить нанятые нами «алексы» (пусть и не с такими мускулами, но все-таки в униформе с красивой биркой «security»), на душе было тревожно. Тревога усилилась, когда стало очевидно, что появление жмущихся друг к другу хрупких молодых людей с явно иностранными рюкзаками и чемоданами для обитателей борделя не прошло незамеченным. Красноречивые взгляды, которые они бросали в нашу сторону, явно говорили, что хотя по вечерам у них принято отдыхать от обустройства рыночной экономики, тем не менее, дело есть дело в любое время суток. Когда же выяснилось, что все до единого «алексы» совершенно невообразимым образом вдруг куда-то исчезли, мне лично стало совсем не по себе.

Лева кинулся звонить в «Алексы»: «Почему здесь никого нет?! Как это — директор гостиницы распорядился снять всю охрану?! Кто вас нанял — мы или директор гостиницы?!» Тем не менее, внешне все выглядело относительно спокойно. Аспиранты помогали гостям перетаскивать вещи, наши секретарши Таня и Лида регистрировали участников, собирали паспорта и вместе с администратором гостиницы размещали прибывших по комнатам, а сами гости старательно заполняли регистрационные карточки. Все было при деле, тем более, что дел было много. Как это у нас принято, при ближайшем рассмотрении треть из выделенных нам комнат оказалась непригодной к существованию: где-то не работала сантехника, где-то были разбиты стекла, где-то были разломаны кровати и т.п. Нужно было временно размещать участников плотнее, чем им бы хотелось. В общем, происходило много всякой неизбежной для таких мероприятий кутерьмы, и каждый был чем-то занят. Один я был без дела: покуривая сигарету за сигаретой, я с подчеркнуто флегматичным видом дефилировал туда-сюда от стены к стене на узком участке пространства между горкой чемоданов наших беззаботных гостей и борделем. А на этом участке явно искрило. Теперь крепкие мужчины в майках пристально

присматривались не только к чемоданам, но и лично ко мне, и я не могу сказать, что такое внимание с их стороны вызывало во мне чувство глубокого удовлетворения. Шел второй час ночи...

Мне очень неловко в этом сознаваться, но так уж получилось, что я ни разу в жизни не дрался. То есть абсолютно — даже в детском возрасте. Ни мне по лицу, ни я никого по роже. И вот теперь, дожив, можно сказать, почти что до седин, я со всей остротой почувствовал, как много в своей жизни я упустил.

Все произошло за считанные секунды. Кто-то окликнул меня из глубины фойе, и как только я отошел от своего рубежа всего на несколько метров, сзади в воздухе послышалось едва уловимое шуршание и какой-то общий вздох. Здоровенный верзила одним прыжком оказался у наших чемоданов, схватил самый большой из них и рванул к выходу. Скорее повинувшись инстинкту «если убегают, надо догонять», чем здравому смыслу, я бросился следом. Оказалось, что все это было не совсем импровизацией, потому что некий человек, который как бы случайно оказался между мною и чемоданами, в момент моего рывка изящным движением ноги поставил подножку. Но не тут-то было — я с детства прыгучий, и подножку эту мне удалось перескочить.

Из наших на происшествие моментально среагировали еще двое — Лева и Ярослав. Когда я проскакивал дверь на улицу, сзади уже слышался густой топот их ног, пусть и не очень могучих, но зато уверенных в своей правоте. Этот топот сыграл решающую роль. Когда я выскакивал из двери, мне навстречу двинулся еще один могучий верзила, и он, вне всякого сомнения, сшиб бы меня с ног и, вполне вероятно, просто размазал бы по кирпичной стене, однако, услышав грозный рык моих товарищей, он удивительным образом струсил и отступил в сторону. Тем временем, бандажа с чемоданом завернул за угол гостиницы и устремился в сторону Южного озера и леса.

Стояла великолепная безлунная ночь. Черные силуэты оцепеневших деревьев и звенящая тишина навевали мистическое настроение. Над уснувшим лесом, над застывшим зеркалом озера, над печальными тусклыми фонарями, над всеми человеческими страстями, «где-то там, во-вне, был этот большой мир, существующий независимо от нас людей, и стоящий перед нами как огромная и вечная загадка, доступная однако ж, хотя бы отчасти, нашему восприятию и нашему разуму...»* Где-то там, высоко, в глубине бесконечного неба сияли, переливались, ликовали мириады вселенных, а здесь, на земле, три худосочных физика-теоретика гнали через темные заросли ночного леса вору с огромным чемоданом.

Мы гнали его как мамонта. Точно так же, как наши далекие предки, не умея справиться со свирепым животным при непосредственном столкновении, дикими воплями и треском нагоняли на него страх и гнали в западню, так и мы, не переставая воинственно выкрикивать: «Заходи справа! Заходи слева! Подсекай его! Подсекай!» — все гнали и гнали ополоумевшего верзилу через черные чащи кустарников и мрачные дебри чернооголовского леса. А он все пер и пер, как тяжелый танк, которому что лес, что овраги — все ни почем. Какое там «подсекай!» Я держал от него дистанцию метров пять и со страхом думал, что если он сейчас, не дай бог, споткнется или вдруг опомнится и остановится, то, даже не выпуская из рук чемодана, он так размажет меня по стволу дерева, что потом уже не отскребешь. Не знаю, что думал насчет такой перспективы Лев, но Ярослав, мне показалось, в глубине души даже обрадовался происшедшему. После того, как в Шереметьево у него из-под носа увели Лицко, он, видимо, искал случая реабилитироваться, и вот теперь в звонких интонациях его голоса явственно слышалось затаенное: «Ну, этот-то от меня не уйдет!»

Сейчас, по прошествии всего лишь двух лет после того замечательного ночного спринта, я не могу вспомнить те романтические времена без ностальгического чувства умиления. Почему он от нас убежал? — Потому, что в те рыцарские времена все еще соблюдался некий джентльменский «кодекс чести»: вору *должен* убежать от тех, кого он об-

* А. Эйнштейн.

воровал. А будут его догонять или нет — это уже вопрос другой. И, кстати, стражи порядка тогда бандитам не козыряли, а, сохраняя достоинство, старались их просто не замечать.

Мы гнали нашего «мамонта» метров двести. В конце концов он все-таки обессилел, где-то в кустарнике бросил чемодан, набрал скорость и растворился в густом ночном воздухе. К сожалению, в этой крошечной тьме мы прозевали момент, когда он стался со своей добычей, и теперь нам еще предстояла непростая задача посреди лесной чащи разыскать чемодан. Ярослав был послан срочно вызывать на подмогу «алексов» (интуиция нам говорила, что победу праздновать еще рано), а мы с Левой буквально на карачках, ощупывая руками рельеф местности, стали прощесывать лес.

Спустя некоторое время оказалось, что не мы одни такие настырные. На фоне светлой опушки леса показались три темные фигуры, которые тоже явно что-то искали. Еще спустя некоторое время стало очевидно, что три крепкие фигуры тоже ищут чемодан, и, что самое неприятное, даже больше, чем чемодан. Они разыскивают своих обидчиков, то есть нас. Сразу как-то стало неуютно и одиноко, да и к чемодану интерес немедленно угас. Не знаю, как Лева, а мне захотелось стать тихим и незаметным деревом, что я и попытался сделать, прильнув к уютному стволу ближайшей ели.

К счастью, Ярослав выполнил свое задание быстро и эффективно. Вскоре на опушке леса показались еще три фигуры. Новые действующие лица этой ночной драмы были с яркими фонарями, а в их движениях чувствовалась уверенность и сила. И хотя я очень сомневаюсь, что победа была бы на их стороне, сойдись они с нашими бандюгами в прямой честной драке, сам факт появления ребят, представляющих, пусть и условно, но власть, какой бы иллюзорной она ни была, возымел действие. Ворюги снова струсили и обратились в бегство, а носители фонариков без особого энтузиазма занялись преследованием и тоже скрылись.

Помнится, тогда, два года назад, в свете, как мне казалось, глобального противостояния киллого, но все-таки государства и набирающих силу бандитов, я отметил этот мелкий инцидент, как пусть и чисто символическую, но все-таки победу, условно говоря, государственной власти. Помнится, я даже слегка за нее порадовался. В те наивные времена мне казалось, что по большому счету речь идет о том, кто в конце концов победит: государство бандитов или бандиты государство. Мне тогда и в голову не приходило, что пройдет всего лишь два года, и я начну себя спрашивать: все это теперь называется государством бандитов или бандитским государством?

А чемодан мы в конце концов нашли. Правда, для этого нам втроем, вместе с вернувшимся на подмогу Ярославом, пришлось с полчаса ползать по кустам. А потом мы с гордым видом вернулись в гостиницу и возвратили нашему гостю его собственность. Должен сказать, что чемодан мы волокли по очереди, и вовсе не затем, чтобы поровну разделить лавры победы, — протащить его больше пятидесяти метров никому из нас было не под силу.

4.

В дальнейшем Школа по теоретической физике проходила почти без осложнений. Теперь на всех этажах гостиницы, где жили наши гости, непрерывно дежурили «алексы». Более того, в первые несколько дней даже при входе в лекционный зал, где на доске рисовались умопомрачительные формулы, всех входящих встречал дюжий охранник в форме с красивой надписью «security». В результате бандиты присмирели и больше нас не трогали. Наверное, они для себя решили, что теоретической физикой занимаются тоже не заморыши.

Но вообще все это напоминало что-то среднее между пионерлагерем и детским центром психологической реабилитации. Таня и Лида с утра до позднего вечера возились с нашими несмышляшками, как заботливые няни. Присматривали, чтобы никто по легковерию своему, не дай бог, не отравился, объясняли, что за таинственное заведение скры-

вается под интригующей вывеской «Гастроном», помогали отправлять письма их распереживавшимся папам и мамам, возили на экскурсии в Кремль и в Загорск, где им, кстати, пришлось отражать настоящую атаку набросившихся было на легкую добычу целой толпой цыган. В первый же день работы Школы Тане пришлось мотаться в Ногинск, чтобы закупить и раздать каждому юному дарованию по кусочку мыла и по рулону туалетной бумаги, потому что в нашей славной академической гостинице были твердо убеждены, что такие вещи каждый интеллигентный человек всегда должен возить с собой сам.

Школа подверглась еще одному серьезному испытанию на третий день своей работы. Накануне вечером по Черноголовке было объявлено, что по техническим причинам весь следующий день с раннего утра до позднего вечера во всем поселке будет отключено водоснабжение. К счастью, мы вовремя сообразили, какой психологической травмой это грозит нашим слушателям, которые все до единого привыкли по утрам чистить зубы и смывать после себя унитазы. До закрытия магазинов времени на размышления почти не оставалось, и в результате вице-директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау доктор физико-математических наук профессор Владимир Петрович Минеев был вынужден срочно ехать на институтском автобусе в хозяйственный магазин города Ногинска и закупать там оптовую партию пластиковых десятилитровых канистр. Затем целый вечер Таня и Лида распределяли канистры среди участников и проводили подробный инструктаж, как нужно разумно расходовать воду и вообще, как себя вести в подобной экстремальной ситуации.

Несколько дней после начала работы Школы я ловил на себе опасно-уважительные взгляды наших молодых гостей. Отсутствие на моей одежде бирки «security» убеждало не всех. И лишь когда наступил мой черед учить их теоретической физике, лишь когда я вышел на сцену, сказал: «Гамильтониан имеет вид», — и изобразил на доске совершенно очаровательный гамильтониан, лишь после этого барьер между нами растаял, и меня окончательно приняли за своего. И тогда я поведал молодым благодарным слушателям увлекательную историю о том, как получается, что в изинговских спиновых системах с замороженным беспорядком происходит спонтанное нарушение репличной симметрии, в результате чего фазовое пространство факторизуется на множество спинстекольных состояний с ультраметричной топологией... Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз.

За три недели работы Школы нашим слушателям было прочитано 16 лекционных курсов (всего 53 лекции) по всем основным областям современной теоретической физики. Лекции читали сотрудники Института Ландау — как те, кто постоянно работает здесь, в России, так и те, кого российский обвал разметал по разным концам планеты и кто специально на Школу вернулся в родные пенаты. Состоялся футбольный матч между командой студентов и командой «профессоров», который, невзирая на результат, по настоянию студенческой стороны был провозглашен ничей.

Во время торжественного закрытия Школы наши гости подарили Институту Ландау самочинно раздобытую огромную карту мира, на которой они оставили автографы и провели лучи, связавшие Москву с многочисленными городами планеты, от Южной Кореи до Аргентины. А потом они разлетелись по этим своим лучам во все концы глобуса, унося с собой частички наших знаний и еще искорки чего-то теплого и светлого, чего-то такого, что теоретическая физика сформулировать не в состоянии.

ГОРЬКАЯ БЕСЕДА

ДВУХ
МУДРЕЦОВ-ЗЛАТОУСТОВ
В ДИКИХ МЕДВЯНЫХ
ТРАВАХ

*Светлой памяти
Владимира
МАКСИМОВА,
которого безвременно
сожгла на святом огне
пророческая
жажда правды*

Поэма



Рисунки Дмитрия Преображенского

...Я опушу злую современность
в смиренную вечность,

Словно стакан кипятка в океан...

...Даже когда человек рвет яблоко с дерева — он
похож на убийцу...

Дервиш Ходжа Зульфикар

...Россия Господу нужна своя, а не чужая. Чужая
Россия помощи не дожидается. Господь один раз помог
России полуживой в Отечественной войне 1941—45
годов...

Мы русские, но не православные. Бог не против нас.
Но еще и не за нас... Русский медведь проснулся, и если
не приручат, не укротят его саможертвенный пыл —
достанется и русским врагам, и русским предателям...
Помилуй, Господи, Россию!..

Иерей Виктор

Горькое слово лечит, а сладкое калечит.

Русская пословица

От автора

Дорогой читатель!

Сейчас, когда Ты, и я, и весь народ наш, потерпев
жестокое кораблекрушение, носимся в волнах неслы-
ханного бедствия, названного «демократией», никому
из нас ни до поэзии, ни до музыки, ни до мудрости.

Тонущему в бешеных волнах человеку надобно бро-
сать спасательный круг иль хотя бы буханку хлеба.

А я, слепец, бросаю Тебе в волны эту бедную поэму-
сироту.

Прости меня, но больше мне нечего бросить, нечем
помочь...

И еще: ни с собственными тайными мыслями, ни с
рассуждениями моих ветхих героев-старцев я, есте-
ственно, не согласен.

Моя вина лишь в том, что я подслушал чужую бес-
еду в дикой траве.

1. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ДЕРВИША ХОДЖИ ЗУЛЬФИКАРА С ДЕДОМ СТРИЖЕМ

Древний странник дервиш Ходжа Зульфикар сел
на осла Хунука старого, бирюзового своего и пое-
хал на Русь нынешнюю.

По разрушенной до основания, до деревенского
палого неповинного плетня империи лучше всего
странствовать иль пешком, иль на лошади-осле,
потому что самолеты, машины, поезда редко и бо-
лезно двигались и часто смертельно рушились с ржа-
вых рельсов и дорог. Словно русская, святая, божья
земля стала отрицать, отвергать, отторгать Колесо...
Может, это начало новой пешей цивилизации?... воз-
вращенье к лесным нетронутым родникам? к заве-
там старцев?

Далай-лама тысячу лет назад сказал: «Когда ко-
лесо придет в мир — мир погибнет».

И вот, Русь восстала против Колеса?... против по-
гибели?

Увы!.. Увы...

...Ходжа Зульфикар искал на Руси могилу своей
русской бабки Раисы, что некогда погребена была
по православному обычаю в родном колыбельном
новгородском селе Яжлбицы.

Это село в долгих странствиях своих по Руси по-
рушенной дервиш с трудом нашел...

...Лето было дождливое. Шли сеногнойные не-
проходимые ливни Самсона, и в этих бездонных,
мглистых, глиняных, червивых ливнях несметные,
дикие, роскошные травы, травы ставали и покры-
вали, сокрывали, заливали забытые деревни, и до-
роги, тропы к ним вымирали, заплетались густой
травой...

В селе Яжлбицы осталось несколько дворов, село
стало утлой низкой деревенькой, которая тоже вот-
вот готовилась сойти, претвориться навек в горь-
кую землю.

Тут встретил дервиш седого старца Стрижева
Александра Николаевича, которого звали в деревне
дедом Стрижем.

Два седобородых старца-мудреца-златоуста об-
нялись в глухих травах медовых и хмельно, как древ-
ние друзья, расцеловались...

О человеке русский!.. в пустынных забвенных тра-
вах, избах, деревнях уходящих рад ты любому пут-
нику, нечаянному гостю. А иногда с самогонной
тоски от одиночества — и вору!.. Да есть ли враги
на умирающей земле? в народе уходящем?

Дервиш сказал:

— Родной, долгожданный брат мой... тысячу лет
мы с тобой не встречались, но вот свиделись... ищу
я могилу своей бабки Раисы Григорьевны Соболе-
вой... Тут она родилась в селе Яжлбицы, тут и похо-
рена...

Дед Стриж сказал:

— Такие, брат-дервиш, по Руси нынешней воро-
ги пошли и идут, что целые города и села изглади-
лись, изветрились из памяти навек... Тут и живых
не найдешь, а ты ищешь мертвых!..

И еще сказал:

— Гой! не победили Русь татары, французы, не-
мцы и иные нутряные вороги, тати, тли, коих нын-
че особенное ядовитое множество развелось, разъ-
ярилось, а победили, залили, заплотонили, затопили
Русь Святую, нежную, безвинную дикие, необуздан-
ные, вздувшиеся травы, травы, травы...

И еще сказал тихо, обреченно:

— Но где-то в дальних травах жив еще тот дере-
вянный древний погост, где лежит, покоится, дер-
виш, счастливая бабка Раиса твоя. И что ты, вну-
чек-старичок, пошел по Руси умирающей искать
давно преставившуюся старуху?..

И дед Стриж улыбался полынню, горько в травах
медовых.

Дервиш сказал:

— После азиатской родимой суши моей так про-
хладны и полны ветра русские травы твои, дед
Стриж! Гляди — мой осел Хунук ликует-жирует в
травах, и кожа его стала атласной и шелковой от
тугих, атласных, омытых блаженными дождями трав,
трав, трав! Осел взял у тучных трав их шелк и атлас,
и лоснится ветхая кожа его... Русь травяная, глухая
лакома для скота...

А ищу я могилу русской бабки моей, потому что
Пророк речет: если человек могилы предков своих

утратит — то и его могилу потомки забудут, а я хочу, чтоб на могилу мою редкие люди приходили, потому что в жизни дервиша был я одинок необъятно, а хочу после смерти с людьми быть... и слышать тихие голоса над прахом могильным моим...

Дервиш улыбнулся в травах:

— Свою бабу я никогда не видел, но вот почувствовал мне как-то ночью, что она меня кличет из далекой русской забытой могилы, а зов умершего свят, и я пошел искать ее... Никого у меня нет на земле, а она позвала меня, и я пошел...

Я прошел соляной Арал, который убили, удавили безбожники, и до сих пор песок донный, рыбий, аральский лежит, режет, язвит дно глаз моих.

Но когда я пришел на Русь, я увидел разоренье, бедствие, кочевье великое цыганское... И я понял, что Арал пришел на Русь...

И глаза мои старые пролили столько слез, что слезы вымыли, вынули, выгнали из глаз моих аральский потаенный, секущий песок...

Дед Стриж сказал:

— Пойдем, брат, в неистовых травах, которые уже не берет коса, а нужен топор или пила, искать древний погост, где лежит и кличет тебя твоя одинокая бабушка Раиса...

И они пошли, затонули в несметных, медовых, медоносных травах, травах...

И дед сказал, вбирая, вдыхая, вгоняя летучие травяные меды в ветхие свои ноздри:

— Ах, дервиш! И что мы с тобой не шмели, не осы, не пчелы-медососы, а лишь двуногие?..

Но!..

2. ВОРОНЫ

...Но тут над их седыми головами, над высокими, медвяными, душистыми травами явились два молодых, смоляных низких ледяных ворона. Вороны обдали, обвеяли их ветром близких крыл... Казалось — их можно было тронуть рукой!..

И дед Стриж сказал:

— Чует муха, где струп, чует ворон, где труп... Чуют вороны, где погост... Чуют вороны, где больная, недужная Русь! Нынче на каждого русского по ворону погребальному!.. Больше некому хоронить, собирать урожай усопших...

Нынче народ наш русский оборван, обобран, расхищен до нитки, до соломинки, до гробного бедного припасенного белья...

У меня, брат дервиш, пугало в огороде стояло — так я с него ветوشь снял и на себя надел от холода и нищеты... Нечего носить стало, плоть незащитная, как у новорожденного... Ха-ха!.. Стал я как пугало... Стал народ мой деревенский как пугало... А пугала в огородах голые раздетые удивленные стоят!.. И вороны низко, нагло, близко льнут... чуют падь... Аж на рукав мой заживо садятся, клюв точат!.. Гляди!..

Тут вороны сели на рукав дедова ватника, взятого с пугала. Но дед улыбнулся в ватнике дряхлом своем и в кривых кирзовых сапогах прошлой войны, тоже снятых с пугала...

— Гляди, дервиш, ворон на рукаве ватном моем сидит прирученно! Где такое на земле увидишь?..

Ворон в одно смоляное перо одет и одну падь треплет, ест — а живет триста лет!.. Может, и народ мой русский, деревенский, в пугало одетый и один хлеб с молоком да яйцом ядуший — и проживет триста лет, как ворон? Ай ли? А там и эта жгучая, непонятная, безязыкая, чья-то власть и переменится!.. Надолго она, как прорва-травы-татарва, пришла?.. А?.. Не знаю...

А у русского народа, у деревенского, земляного, зеленого, травяного человека всегда глухая надежда одна! И надежда эта — на смерть очередного лютяча-Хозяина! И на смену кровавной новой власти!.. Всегда на несколько лет после смерти Вождя жизнь человеческая на земле русской становится вольней и сытней, но потом сызнова все хуже, и лютей, и острей, и смертней! Чем власть тупей — тем острей ножи и пули ее палачей!..

Вот жили при коммунистах: думали — хуже не может быть! А пришли демократы — и стали мы во сто крат гаже, подлей и смертней жить-дышать-помирать!.. Вековая наша русская надежда на хорошую жизнь в глухую сонь-траву ушла, сгинула, замкнулась, как твоя бабушка Раиса...

А все грехи от повального нашего хмельного, плотского безбожия. Без Бога и червяк сгложет... Так батюшки-старцы печорские наши говорят, таят... Без Бога человек становится трусом и рабом плоти... А плоть — ложь...

И пошли два старца в медвяных травах под низкими смоляными воронами в поисках древнего деревянного погоста, где покоился прах бабушки Раисы.

3. РУССКИЙ ЦАРЬ

Дед Стриж сказал:

— Русский народ исконно царелюбив. Вот пословицы: «Без царя народ — сирота»... «Царево око видит далеко»... «Царь да нищий не имеют товарищей»... «Одно красно солнце на небе — один Царь на Руси»...

Иоанн Грозный говорил: «Падет корона — падет Русь»...

Русский народ тысячу лет повиновался слову, приказу, зову, идущему из Кремля или из Зимнего дворца. Этот народный зов-закон действует — увы! — и ныне. Коммунисты использовали этот духовный закон — и их сатанинские нелепые приказы послушно исполнялись большинством, ибо шли от Кремля! да!..

Главный лысый Бес Ленин извергал свои безумные, кровавадные указы — и они шли на покорную Русь и исполнялись!..

Этот закон, как смерть, жив и нынче! Увы!..

Нынешние властители извергают! изрыгают! порождают самые нелепые, нечеловеческие приказы — но они идут из Кремля и исполняются послушным народом... и ордой деньголюбивых лихоимцев-чиновников-иуд Руси...

Я был в Москве недавно. Я глядел сиреневым утром на золотые купола Кремля, на дома русской вечной Власти.

Где Хозяин Дома этого?

На Руси или царь, или тиран, или тать, вор! Тать чует, что живет не в своем доме, а без Хозяина в доме половицы скрипят, рассыхаются, и крыша самостийно вдруг горит...

Но русский человек и в тати видит Царя, если он сидит в Кремле. Увы!..

Тут трагедия! слепота! дурь рабская народа моего!..

Пока царь не вернется в Кремль, русский человек-цареубийца будет чувствовать себя как больной, у которого сломанная, сорванная позвоночная кость неверно срослась и мучит его...

А тут не кость, а душа, вывернутая покаянно, повинно страдает...

4. ЗВЕРИНЕЦ

Дервиш Ходжа Зульфикар в травах шелковых, прохладных, веющих сказал:

— Вот был зверинец. Сидели в клетках понурые львы, тигры, медведи, волки, олени, овцы, птицы, змеи... Но получали свою бедную еду для дыхания и тленья пленной, звериной жизни своей. Но жили в клетках и томились!..

Но вот явился новый Хозяин зверинца и сказал: «Пусть будет свобода зверям! Пора разрушить клетки, а еду бросать посреди зверинца — пусть всякий зверь сам добывает пищу свою! Да здравствует вольная охота!.. Долой клетки!..»

Тут бросили еду посреди зверинца и клетки отворили, разбили затхлые, и звери радостно побежали на волю, а Хозяин от страха перед одуревшими хищниками сбежал из зверинца в богатый, безопасный дом свой!..

Вначале ликующие хищники съели всю еду, предназначенную для всех зверей, а потом по первобытному, звериному закону, о котором забыл гуманный беглец Хозяин, хищники стали поедать оленей, овец, птиц, змей, а потом, покончивши с ними, принялись терзать и поедать друг друга!..

Вот она, вольная, великая свобода, о которой так мечтали, терзались, томились в постылых клетках бедные звери и их чуткий, мудрый Хозяин — апостол великой воли и охоты!.. О!..

Нынче только одинокие львы да волки носятся по пустынному зверинцу среди открытых, заплеванных клеток и алчут съесть друг друга!.. И съедят, если их не вернуть в клетки...

Дервиш улыбнулся горько:

— Дед Стриж! брат мой! где я видел этот печальный зверинец? Долгий, долгий зверинец... бесконечный... богомерзкий... Не по нему ль мы бродим, брат?..

История человечества — это и есть история перпеты или открытой клетки!.. Нынче клетки распахнуты, и веет звериной гнилью, и смертью, и всеобщей охотой!..

5. СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ

Дед Стриж сказал после слов дервиша:

— Советская, сатанинская имперья-зверинец родилась в 1917 году в горячечной, бредовой, сифилитической, нагой, как яйцо, голове Ленина и окончилась в 1972 году в блаженной, пророческой голове Солженицына! В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын подписал приговор империи. Он, заклеил, убил, выгел ее в пророческом Слове!.. А вслед за пророческим Словом быстро приходит Божий Суд, и Слово Истины разрушает, разъедает несправедливую имперью, как огонь сухие камыши!.. да!..

Итак, советская имперья — это поединок смертный! это война двух голов! — Ленина и Солженицына! А между ними — увь! — необъятные слез-

ные, братские безымянные могилы, рвы слепых, разрушенных народов.

Но!..

В 1917 году русская святая тысячелетняя Империя рухнула, и мраморные, неповинные, византийские обломки, кариатиды пали на безвинные головы наших дедов и отцов.

А нынче насмерть на нас обрушилась, рухнула Советская империя, и радиоактивные, чернобыльские бетонные обломки, плиты рухнули, осели на наши головы!..

О Боже! И что среди великих обломков течет бедная малая жизнь моя?..

Дед закричал в травах куда-то вдаль:

— И твоя, безвестный, родной брат-земляк мой! а я люблю и в обломках тебя...

Но дервиш сказал тихо:

— Нет никаких мертвых империй!.. Есть лишь бессмысленные страдания миллионов безвинных людей... разрушение сокровенных человеческих гнезд-семей... по вине разнузданных властолюбцев-вождей-слепцов... У меня в гражданской войне в Таджикистане сожгли дом-кибитку у реки... осталась только древняя материнская подушка... по ночам я обнимаю ее, и она струит дальше, материнское, неизбывное тепло... У меня не было жены, и длинная, теплая, податливая подушка была мне жена... С нею я и выскочил из огня!..

При империи я имел дом у реки и сотни друзей, при нынешней власти — я имею обгорелую подушку, из которой по ночам лезет, летит птичий пух, а друзья мои таджики, русские, евреи разбрелись, погибли, стали нищими в дальних краях слезных...

Пух из семейных сиротских подушек летит над нашей бедной страной!.. О!..

Эй, вожди, этот пух не щекошет ваш нос?.. О!..

Я хочу послать эту подушку Горбачеву или Ельцину. У них не сгорел дом... не погибли друзья... их не обожгла гражданская война. Может, подушка пригодится им?.. Она все еще струит безвинное, материнское, колыбельное, первобытное тепло, тепло, тепло...

Но!..

6. ПРОРОК РУСИ СОЛЖЕНИЦЫН

Но дед Стриж словно не слышал слов дервиша и сказал:

— В Книге Книг написано: «Но более всего печитесь о том, чтобы пророчествовать»...

Пророк Солженицын!

Ты один вышел против тотальной империи, и Ты был как беглый заяц в адовых, всеохватных огнях пограничных прожекторов! Да!..

И все прожектора империи глядели на Тебя, но не ослепили, не оскотили Тебя! а все прожектора адовой империи ослепли от Тебя и стали как слепые бельма, от пророческого ока Твоего! Не Ты ослеп, а прожектора адовы испепеляющие ослепли... Да!..

Твой народ угнетали, и Ты, Пророк, возопил на весь мир, и всюду слышали Тебя!..

Но вот твой народ убивают неслышно, незримо уморяют, а Ты молчишь?

Пророк не бывает один раз Пророком! Пророк не бывает на пенсии! Пророк не бывает немым!..

Лев не может стать комнатной собачкой, ручным стриженным пуделем!.. Нет!

Пророк! иль ты все еще воюешь с империей, которой уж нет? С прожекторами, которые давно потухли? Иль ты устал, почил? иль ты все еще глядишь в прошлое? и твоя борода и густые брови — уже трава забвенья на лице твоём — некогда огненным, богодухновенным? Иль? нет!..

Ты шел против несметного носорога империи, а нынче убоялся трухлявой, многоговорливой, трупоядной, кровожадной гиены демократии.

Осуди, заклеими эту власть в божьем Слове, и она тут же покорно помрет, издохнет в жизни! да!..

Пророк, Ты видишь далече! Ты знаешь...

Прости мне, незрячему, многострастному...

Дед в травах умаялся, он сорвал пучок травы медовой и вытер травой потный, старый лик свой...

Дервиш сказал:

— Если пророк молчит — на его тунном языке появляются глухие волосы, словно трава забвенья...

Не дай Господь!..

7. РУСЬ — ДРЕВНЯЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА

А дед Стриж шептал в печальных, многоголосых шелестящих травах:

— Святая Русь — древняя чудотворная, мироточивая икона!.. Коммунисты-безбожники Икону эту жгли и копали ею картошку из мглистой земли, как лопатой.

Нынешние властители продают ее за доллары.

Русь! Икона древняя чудотворная! во чьих Ты нынче, безбрежная, во чьих чужих перстах? руках? берегах?

Была в руках ночного, тошного палача-ката...

Стала в руках торгаша! — кровососа! — слепня! — упыря! — оборотня-гада!..

Но!

Но вот я видел, как русские пресветлые отроки и мужи восстанавливают, воскрешают новгородский осыпчивый, упдающий Кремль. И Кремль восстает под их осиянными руками...

Я целую ваши землистые вечные руки, родные братья, отроки и мужи-русичи дивнобородые мои!..

И кирпичная, святая, сквозистая пыль не ест слезные очи мои! Блаженная, сладкая, материнская, целебная пыль!.. Вот где ты!.. И больные мои легкие ликуют и радуются тебе, вечная!.. Вот какой пылью после смерти хочу стать я!.. Господь! дай!..

8. КОММУНИЗМ

...Потом дед сказал, утопая в травах, веющих медово:

— У мудреца Руси, Учителя Даля сказано: «Коммунизм — это учение о равенстве всех сословий и о праве каждого на чужую собственность»... Коммунизм всегда в душе смутной человеческой был. Он на зависти да воровстве стоит... а таким смутным душам нынче приволье...

В 1917 году коммунисты приходили грабить чужое с оружием в слепых руках!

Нынешние коммунисты приходят бесшумно и незримо, с банковскими электронными счетами в холеных перстах! да!..

И вот говорят: святая частная собственность!.. На ней и будем строить и стоять!.. Да?..

А зачем же вы, теперешние хозяева, чужую святую собственность умыкнули, угнали с чужих сбер-

книжек? и из глухих потаенных колодезей-хранилищ? и вдовьих, слезных, старушечьих, затхлых, похоронных подушек и чулок?

Неслышно, как слепни, пристали вы к народному, беззащитному телу и сосете его. У вас же лица малиновые от чужой кровушки, собратья предприниматели!.. Но! но!.. но...

Велик и жесток древний завет: «Не пожелай дома ближнего своего, ни жены его, ни раба его, ни осла его, ни всякого достояния его...»

А вы люто пожелали чужого и взяли его без трепета! Мне жаль вас, слепцы, потому что я люблю вас!..

И вы хотите насыпать островок благополучия с вилами, «мерседесами», казино, банками и гуляющими девами среди океана народного горя и нищеты? А не страшитесь океана? и понесет, потопит ваш гнилой островок в пенных валах! да!

Вся бессонная, гонная сила нынешних молодых человек нацелена на то, чтобы ограбить старых и сирых! вырвать добро из дрожащих рук своих отцов! и дедов! и матерей!..

Если бы на площади протеста вышли все хворые, обманутые, умершие, убитые, без вести пропавшие, все самоубийцы, все изнасилованные и соvrращенные, все беженцы, все нерожденные дети, все безработные — то не хватило бы никаких площадей и охранников!

Да разве могут недужные, болезненные, нерожденные, убитые добрести до площади восстания?..

Сонмы немо восставших! Только Данте мог бы описать ваше горе!..

И я брожу среди них и не могу помочь им, и что жалкие слова мои?..

9. АД

Дед сказал:

— Поистине, человек русский живет на земле в аду, и, после смерти попадая в ад, он удивленно шепчет: «Господь! я опять в аду? но я уже жил на земле в аду!.. и привью... и не страшусь...»

Когда я вижу огромные, вавилонские базары нищих в наших городах... Когда я вижу бесконечные, стыдливые базары нищих...

Я думаю о том, как тщетно человеческое слово и состраданье... И о том, что одна душа не вмещает столько страдания... И один человек не может нести даже два креста, а тут их миллионы...

Дервиш сказал:

— В Коране написано, что всякому человеку дается столько страданий, сколько он может перенести, пережить... Но здесь на одного осла навален груз многих ослов — и рушится, оседает спинная кость его!.. О!.. Но на спине всякого осла есть волосяной крест... может, это след Спасителя Христа?

И рушится он?

Но!

Когда я вижу базары нищих, я чувствую, что повинен, брат...

А ты повинен?

Ад — это облетевший рай.

Ад — это бесконечный базар нищих. Это Русь нынешняя!.. Твоя Родина, брат!..

10. ВОЛЧИЦА КОММУНИЗМА

Дед улыбнулся:

— Волчица коммунизма снесла золотые яйца демократии...

А мы поверили!..

11. ГОРБАЧЕВ

Дед улыбнулся:

— Вот был пастух со стадом доверчивым и ружьем в руках. Он бродил, пел, разговаривал в русских лугах, долах с овцами своими...

Напали на стадо волки!

Одного выстрела было бы достаточно, чтобы трусливые, пенные хищники разбежались!..

Но пастух убоился их и спрятался! Но потом встал на лобный камень и с чувством обратился к волкам: «Господа волки, вы не правы! Сомкните голодные, хищные клыки ваши и покиньте притихшее, нетронутое стадо! Товарищи овцы! Не бойтесь! Я с вами!»

«Господа волки» порезали, порвали многих покорных овец, а иные «товарищи овцы» разбежались!..

И нынче ходит по лугам, долам, весям, градам былой пастух и самозабвенно, самовлюбленно повествует о том, как не правы были алчные волки и как не послушались его «товарищи овцы» и не напали дружно, сплоченно на волков...

А было ль хоть раз на земле, чтоб овцы напали на волков?... А? Где было ружье твоё, экс-пастух? И вот промолчало трусливое ружье твоё, и заговорили тысячи пушек, автоматов, танков кровавых! да!

Постаревший, полинявший брат мой, тебе не снятся овцы рассеянные твои? И не жаль тебе слез сиротского стада твоего, что нынче беспутно, обмануто бродит по Руси, и всякий пришлый, захожий, квелый волк побеждает его?

Иль не знаешь, что волки, съев стадо, нападают на пастуха!.. А жаль!.. хотя я готов умереть, защищая муравья...

Ты, брат, даже деревенской лавкой не смог бы управлять, а тебе нечаянно досталась великая Держава! Свалилась на тебя, как дуб тысячелетний в лесу!.. Прости, брат! А на Руси никто, кроме мертвецов, не виноват. А ты, брат, капитан, который первым бежал с тонущего по твоей же вине корабля! Сел на яхту — и на Запад бежал! айда! гуляй на дно Русь без меня!..

12. ГОРБАЧЕВ И ЕЛЬЦИН

Дервиш сказал, упустив осла, бушующего от обилья зеленого корма, в тучные кормильные травы...

— Некий муж яро, гонно возжаждал, взалкал некую прельстительную деву и долго, упруго, упорно добивался ее.

И после многих его усилий, приступов, домогательств Дева, покорно и сладостно закрыв глаза, шепнула: «Я твоя! бери меня!» И стала расстегивать долготерпеливые одежды свои и стала вождельно, ослепительно нага!

А Муж-победитель ничего не может сделать с этой покорной, открытой, вопиющей наготой... Он немощен! Евнух в гареме!

Так и эти вожди! Чудовищная, ненасытная алчба, жажда Власти. И полная немощь, неумение владеть и распоряжаться Ею!..

Два евнуха в гареме!..

А тот, кто не умеет любить — тот алчет убивать, бить, давить... Импотент — всегда садист! Аи!..

Дервиш улыбнулся печально:

— Уж Иван Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин знали, что делать с доверившейся им Девой!

Тут не зря она расстегивала одежды постылые свои. Хотя были они насильники и тираны!.. Три мужа в гареме!..

И еще дервиш сказал:

— Ельцин, евнух власти, обиженно делит весь народ на тех, кто за него, и тех, кто против!

И те, кто любит его, должны ненавидеть и убивать тех, кто не любит его! О!..

И это есть гражданская война... Одни за евнуха, другие — против...

О Аллах!.. помирим их!..

13. РЕФОРМЫ

...А дед Стриж сказал, волнуясь в травах ветреных, волнующихся, избыточных:

— Реформы надо было начинать с избы, а не с Кремля! С подгнившего крыльца и увядшего плетня! а не с кремлевских палат и мраморных чужеродных банков-кровопийц! С пастухов! доярок! трактористов! с кормильцев-крестьян! а не с банкиров, биржевиков и спекулянтов-лихоимцев! И откуда встала эта рать? Со дна каких помоек и забытых болот, гнилых колодцев и сталинских лагерей? Со дна каких усопших душ? И что за забота о ворах? татях? ушкунниках?

Когда уж правитель-президент приедет в утлую деревеньку Синего Николая и тут поживет, подышит и спросит у крестьян, как их жизнь поднять, поправить? А заодно крыльцо и плетень обновит! Топор в холеные руки возьмет!.. Да помашет топориком, да повалит косою травы-некоси медовые!.. Истрадались они без косца!..

Тут начало цепи! Тут начало-исток Руси!

Ан нет!..

Дед улыбнулся:

— Вот наши вожди бесконечно по заграницам шастают, а что толку в этих поездках? Один вред! Только зависть свою разжигают. Завистливое око сердце жжет! И вот цедят, шипят: «Наши товары — плохи! Наши дома — плохи! Наша еда — плоха! Наши машины — плохи!..» Надо нам, бедным, выходить, выметаться, выражаться на мировой уровень!.. Утлой лодчонке нашей — да в мировой океан! Айда! Гуляй!.. Надо порубить скучные березы! дубы! осины! ивы русские! и насадить бананы! пальмы! ананасы! секвойи! кедров ливанские! Вот будет весело русскому человеку в русских ледяных, рождественских полях, в метель сыпучую, звонкую под пальмой с гармонью посидеть, помечтать... Ах, русский скучный человек! И что же ты не верблюд? иль не бедуин? под снежной царской пальмой с гармонью иль балалайкой утлой что ж ты загрустил?.. Ах, непутевый!..

14. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Дед сказал:

— Я бы первый указ издал: не пускать правителей наших несколько лет за рубеж! да не растить в заемной, унылой душе чужебесие еще петровское. Пусть начальники-печальники наши побродят по родным, кривым, непролазным деревням, дорогам новгородским иль вологодским, иль иным тропам желудевым!..

Да где они, вожди самозванные наши? В каких чужих даях заблудились сладко?... Ах!.. Отсюда, от Яжлбиц, до Нью-Йорка! да Парижа! не докличешься!..

15. ЭКОНОМИКА

Дед сказал, озираясь в необузданных, до горла волнующихся, июльских, несметных травах:

— Не победили Русь татары, французы, немцы и иные вороги нутряные, а победили, залили, захлестнули Русь Святую нежную, девичью, безвинную дикие травы...

Ученые люди говорят об экономике. Говорят, надо власть отдать экономистам-специалистам! Но в основе экономики должна быть не цифра, не деньги, а мораль, душа, сострадание!.. Слышал ты от нынешних хозяев что-либо о морали? душе? сострадание? любви к ближнему?.. Если после этих реформ народ стал гол и голоден — то зачем эти реформы? Аморальная! кладбищенская! загробная! преступная! экономика!.. Экономика всеобщего! дырявого! погромного гроба!.. Ай, Русь! Иль хочешь туда?.. Вот дикие травы и поедают победно оборванную, обобранную Русь-избу забытую!..

И скажу тебе, дервиш, притчу о специалистах...

16. ПРИТЧА О СПЕЦИАЛИСТАХ

Дед сказал тихо во вдруг притихших, словно внимающих травах:

— Конiec Третьей, последней, атомной войны!.. Обгоревшая наголо, как череп Ильича, земля, на которой не осталось ничего живого... О!..

И вдруг по бескрайнему, безлюдному всепепелищу бредут два полуобгоревших, обнявшихся академика. Навстречу им последний на земле полуживой пастух.

Пастух говорит: «Что же вы с миром-то сотворили, горе-академики, атомные братья, сироты, пустыньники мои?»

А они ему в ответ брезгливо: «Отойди, пастух... Ты не специалист! что ты понимаешь в науке?..»

Тогда пастух горько сказал им вослед: «А вы, специалисты, через два дня на голодной лысой земле будете друг друга поедать!..»

Дед сказал куда-то вдаль:

— Не во власти ль таких «специалистов» оказались мы нынче, брат?..

17. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Дед сказал:

— Был я в столице-блуднице Москве. Там повсюду английские словеса, вывески да рекламы! Да радио и телевиденье извергают лишь английскую музыку и речь! и русские голоса подобострастно говорят с английским дымным привкусом чужеродным. Выламывают силой русскому человеку душу его исконную! и язык певучий гнут! глушат! как браконьеры рыбу чистопородную!..

Рассказывают, что некий наивный англичанин приехал на Русь изучать русский язык, да не смог, потому что нынче все тшится говорить по-английски, и русскую меткую, медовую, разнотравную, святую речь редко теперь на Руси услышишь! — только в траве далеких деревень еще колышется вольно она, как лазоревые синь-васильки...

Английский язык объял всю Русь, весь мир!..

Нынче осенило меня, что когда Сатана Антихрист придет перед вторым Пришествием Христа в мир — то говорить он будет по-английски! Тогда все поймут его!.. кроме старух в брошенных наших святых деревнях да древних монахов в затаенных

скитах, монастырях... Тут Сатана не пройдет, не объяснится!.. Тут в медовых травах не поймут английского языка его!..

Потому и травят насмерть деревенских старух-кормилиц наших!..

18. БАНКИ! БАНКИ! БАНКИ!

Еще дед Стриж сказал горячо и улыбочиво:

— Был, был я в новой демократической, вольной Москве! Там за последние годы почти ни одного детсада, роддома, школы, больницы не возвели, а одни мраморные чудо-банки!.. Ну, хороши! блистательно свежи! лакомы! — хоть лижи их — стоят! а окрест них ярые, младые, спелые опричники играют, гуляют раздольными мускулами... Эти бы мускулы — да на поля русские сиротские! Но!..

...Ау! Гойда! Подходи, утлый пенсионер ограбленный, отведай сытого кулака!.. А старик хитер — и уж досрочно! — до кулака! — во гроб попятился, полег!.. Лежит! Ликует в самодельной домовине, в деревянном тулупе!..

Вот и представил я недалное, уже сплошь демократическое, победное будущее: выходит русский, полевой кормилец! зябкий крестьянин-человек из избы прогорклой, косой! с похмелья! в ночное, родное поле, а там везде! всюду! стоят-сияют, горят, зовут банки! банки! банки! а между ними — родимыми, долгожданными! — лишь узкие полевые тропки вьются-стелются! и по этим тропкам шастают-летают лихие русские люди с мешками! а в мешках ликующих тех не зерно! не рожь! не пшеница льется! не картошка скучная торчит! а чистые, чистые доллары. И все говорят, щебечут весело, улыбочиво, счастливо: Ай лав ю! Ай лав ю!.. Все поле русское, необъятное — дотоле убогое и нищее! — нынче полно мраморных банков! да мешков с долларами! да счастливых человекoв! да английских музыкальных речей!.. Прелесть!..

Вот потрясенный крестьянин виновато, проворно спрятал свой тошный, скучный, унылый древнерусский неконвертируемый дрын в штаны и побрел виновато помирать в избу-скудельницу свою гунявую, волглую, чернотенную, нутряную, а она уже объявлена музеем древнего деревенского зодчества. Да!..

Хотел русский, разгульный человек спяна, сослепу на банк справить малую нужду — да не удалось!.. к счастью для демократии!.. В 1917 году он слепо, хищно Кремль расстрелял, в 1993 году — Белый дом расстрелял в упор, а вот банк мраморный, скороспелый обмочить не мог!.. Устыдился браток... Доллар не замочил!..

19. МОСКВА — РУСИ ИУДА

...Ветер вечерний усилился в травах темнеющих, бушующих, и стали дервиш и дед терять друг друга в медовых, приторных травах и неизбывных зарослях ольхи, ивняка, низкого, вязкого, волглого березняка... О!

Тогда дед закричал:

— Всему виной Москва-Иуда! Она волком намертво схватила Русь-овцу за беззащитное горло и терзает, гуляет!..

Чем ближе к столице — тем темней, мутней, безбожней, лживей, мельче человеки!..

А Москва — сверкающий электровоз! Его компьютерами, спутниками, электроникой вооружили и

посадили туда кучку фарисеев, самозванцев, властолюбцев! Электровоз помчался и тут же отцепился, отпал от бесконечного товарного состава и за рубежи, на Запад, побегал со всех колес!..

Русь — бесконечный товарняк стоит-тлеет на дождливых путях!.. тут стон, плач детский!.. белье бедное, непутевое сушится!.. мужи и жены пьяные бродят!.. и все ждут, что брошенный товарняк обезглавленный двинется!..

Народ наш на путях заброшенных выжидает удивленно... все надеется на Москву-Иуду!.. Уже пути стальные лебедой поросли, порушились!.. А народ наш бездорожный все уповает, уповает!.. хотя травой зарастает живоно...

...Старая гадалка Марфа из владимирской деревни Каменки поглядела в сторону Москвы и стала судорожно, невнятно трястись, отмахиваться, словно от злой осы, креститься и испуганно причитать, всхлипывать косноязыко, путая слезу с соплей и слюной:

— Не дай! не дай, Господи!.. но вижу! вижу над Москвой, повальной блудницей, адов белый слепой Гриб!.. Господь наш уже устал прятать его в свое небесное лукошко! И уронил!.. уронил на Москву! Последнее облако атомное!.. Там на Москве-то уже праведников не осталось!.. одне старухи в храмах молятся да дети!.. И пророк Руси Александр в Москву вернулся!.. но поздно уж!.. уж и он под Гриб божий угодил!.. Вижу! вижу!.. свои же голодные, осиротевшие, военные, русские, ослепленные люди бомбу над блудницей и взорвут!.. свои! свои! свои!..

И жалеть там некого — одних старух да детей?.. Не дай Господь!..

20. ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Дед Стриж сказал:

— Забыли мы все о Вавилонской Башне! О древнем завете — предостереженье!.. А ведь с нашей страной случилось то же, что и с Вавилонской Башней!..

А началось все с кроткого восстания за родной, национальный язык!.. Каждый народ, как семя в подсолнухе, потребовал вернуть ему родной язык, словно русский язык мешал ему любить заветы отцов своих!.. да!

И пошло!.. Словно все осатаневшие народы и племена стали извергать, изливаться русскую неповинную речь, что соединяла их, и души их, и дома, и семьи, и семена их, и странствия их! Видел ты, чтоб человек яро вырезал, выкорчевывал изо рта своего свой язык? Но стало так!..

Тогда Господь разгневался и дал всем восставшим народам и племенам языки их! И собрание согласных народов обернулось многоязыким базаром! торжищем! восстаньем! Хрустальная ваза, в которую налили кипятка, — разлетается на сотни осколков!.. И стало так!..

И полилась слепая кровь!.. И страна наша стала слезным вокзалом, перроном, где прощаются на века друг с другом ныне целые народы — беженцы-кочевники!.. да!..

...Я видел недавно на Казанском Апокалипсис-вокзале, как семья беженцев устраивалась на ночлег и стелила белые простыни на заплесанные полы зала ожидания!.. Народы-кочевники!.. И ложатся белые, заветные простыни на вокзалы!.. на поля, на дороги неприкаянные, дождливые, где спят сироты-беженцы-народы!.. Горький дух костров кочевья

объял Русь!.. Русь-табор слезный, куда? куда? куда?.. Кто умыкнул твоих коней? И самое тебя?..

Дервиш сказал тихо:

— Я говорил моим братьям-таджикам, что восстали на русский язык: «Вот безлунной ночью вы едете из одного горного кишлака в другой, и у вас две лошади — родной язык и русский — и что же вы будете одну лошадь стаскивать в пропасть? и оставаться с одной лошадью в долгой опасной ночи?..»

Но остались!..

И еще дервиш сказал притчу:

— Один человек имел много единокровных братьев. Но вот они выросли, и разбрелись по земле, и забыли его. А он живет с соседями близкими, дружными и делит с ними еду, и беду, и радость делит, как некогда с родными в детстве делил!..

И дети его переженились, переплелись с детьми соседей, и те стали ему как некогда были дальние, единокровные братья его.



Аллах всех на земле сотворил братьями, и тут нет родных и неродных, но многие забыли о том!.. да!..

И тут вдруг явились к нашему мужу давно забытые братья его, полные зависти к бытию его, и говорят: «Ты забыл нас ради соседей чужих своих! Убей их! Вот мы принесли тебе оружие для убийства». Он говорит: «Вы принесли мне оружие, а они приносят мне еду, и радость, и дети наши стали родственниками». Но братья говорят: «Родство выше соседства! Все люди на земле — соседи, но не все братья! Убей их, если они мешают тебе любить нас...»

И человек покорно взял оружие и пошел убивать соседей, повинаясь слепым единокровным братьям своим, что давно уже стали ему чужими...

Таких слепых людей и народов нынче много стало!.. да!..

Не дай Аллах!

21. ДЕМОКРАТИЯ

Дед сказал:

— Дерево Руси Святое было в тле коммунистической, кишащей, клубящейся! Надо было тлю уморить, потравить целительным ядом, но демократы взяли топоры тяжкие и срубили, смяли тысячелетнее Древо Русского Государства! Нынче лежит оно на земле и вянет смертно, а убийцы его слепо ликут, словно короеды-опустошители...

Да надолго ль?.. Народ наш видит врага своего только тогда, когда он приходит с войной, а когда он, родимый, сидит на твоей шее и не дает поднять тебе голову к небесам и увидеть Бога твоего — такого врага — нутряного червя-солитера! — народ мой не чувствует и удивленно хиреет во дни мира более, чем в годину войны...

Увы!.. Русский человек! подыми кровомутные очи от земли, от бутылки кровопийцы-вина и увидишь врага на шее своей — это он тебя поит дурным вином! — и смахни его с шеи согбенной своей, и выпрямись, и взгляни в небеса — там август-серпень-густарь! там течет серебряный звездопад для тебя! для тебя!.. Там Господь в осиянных небесах ждет тебя! Загадай по падучей, пресветлой звезде желанье!..

О Господь! дай, чтоб Русь пробудилась и возликовала, как звезды Плеяд...

А желанье одно: чтоб Русь была жива! жива! как небеса, а не текуча, как падучая звезда!..

Но!..

22. ДИКОВИННАЯ СТРАНА

Но!..

Дед сказал:

— Диковинной нынче страна стала наша: вмиг стали ненужными врачи! учителя! инженеры! крестьяне! шахтеры! рабочие! писатели! артисты! музыканты!.. А стали люто необходимы банкиры, биржевики, проститутки, убийцы-наемники, спекулянты, бизнесмены, гомосексуалисты, лесбиянки... экстрасенсы, гадалки, звездочеты, гороскопщики... Ох, устал язык мой от бесовских словес!..

Вон сколько веселого, праздничного, замечательного «народа» враз уселось на одну тихую шею скучного, русского, серого, седого кормильца!.. Всеобщий разгул! разлив! торжество кунсткамеры! Виварий радости рухнул, и змеи, гады ядоносные торжествующе расплозились во все притихшие края раз-

лились! Ура! Гойда! Гуляй! Пей! Круши! Отымай! Убивай! Зарывай!..

И вот пьяный садовник стоит у сада своего, пораженного несметной тлей, обьятого гнилой плесенью, паутиной, пиолой, ржой...

Садовник, и где же плоды тучные твои? а лишь тля в саду твоём...

А он пьяно, гнилозубо хохочет: «Гляди, какая сытная, атласная, прекрасная, сладкая тля, роса, паутина!..»

...А самогон из тли давить, гнать будешь? садовник, наповал, насмерть пьяный, кривой, сорняковый, садовник?

...А Запад? наш древний, улыбчивый сосед, разумный брат? советчик? А Запад ликует: реформы идут! Кладбища растут!.. Дикие травы заливают Святую Русь!.. Усь!.. Чует ворон, где труп, чует муха, где струп, чует Запад, где больная недужная Русь!..

«...Теперь нам не грозят славяне, атомные вандалы с ракетами и танками! Браво!..»

...Теперь вам грозят абрикосовые, золотые, раскосые, неоглядные рати непролазные, миллиардные китайские!..

И английский повальный язык пугливо побежит от погромного великоханьского...

И тридцать латинских чеканных букв в тысяче желтых, паучьих иероглифов затеряются!.. Ах, русские тысячелетние Врага открыты, и грядет несметное нашествие иероглифов на Восток и Запад!

О Боже! но я уже буду вольготно лежать под этими травами медвяными вместе с бабкой Раисой!.. Туда не придут желтые победные похожие на червей иероглифы! Там другие черви-хозяева...

23. РУССКАЯ ДУША

Дед сказал:

— В Торе написано: Кровь — это душа... Но для русского человека истина, правда во много дороже, желанней, чем кровавая солидарность, спайка, чем кровавое, доколыбельное, древнее, животное, тайное согласие!..

Русский человек хочет дойти до дна истины, и за это гибнет, и избивает сам себя...

Только война — увы! — объединяет людей русских по зову крови. Тут только оживает и свербит, и торжествует инстинкт нации...

Но в мирное время — а его никогда не бывает на Руси! — народ мой не видит, не чувствует врага своего... И покоряется слепо ему...

Дико, но истинно звучит: нация гибнет, когда не воюет с врагами! Тогда она избивает самое себя!.. Господь, обереги!..

О Иисусе! Господь наш! А может, народ русский кроткий, неземной? И уходит он с земли вослед за Тобой?

А может, народ русский не от мира сего? И не привился, не прижился он на земле, где убивают, грабят, гнетут, лгут, а он доверчив и чист, словно малое, льняное, русское полевое дитя с венком ромашек в льняных волосах?..

Отче! А может, народ мой среди земных волков-народов — обреченная, жертвенная овца? И рвут ее? И тут судьба земная, смертная ее?

Отче, знаешь Ты, а не знаю, не знаю, не знаю я...

А в вечерних, необъятных травах, травах смиряюсь, расплываюсь, теряюсь, усыпаю, растворяюсь заживо я...

И сам я уже трава, трава, трава...

24. ДУМА ТРЕХ ДЕРЕВЕНЬ И ВСЕЯ РУСИ

...Дед Стриж сказал дервишу Ходже Зульфикару:
— Я собираю дикий клевер, отаву для кроликов... Один я остался, кроличий кормилец, в деревне у ветхих, бездвижных старух... А крольчатина сладка и для беззубых — не преграда... Воистину нынешние хозяева хотят наш деревенский кропотливый, молчаливый, работный, редкий люд наповал, навек уморить! И освободить, выгладить землю русскую, поголовно кладбищенскую, для улыбчивых прищельцев-инородцев... Как землю в парах готовят для озими...

Так думают в моем селе Яжлбицы и в селе Едрово недалеко!..

Так думают в деревне Синего Николы, где сын мой, лесник Родион, доживает на дальней, глухаринной делянке в нищете и лютом пьянстве среди множества от запустенья волков и кабанов... да!..

Так думают и в вологодской, обезлесевшей от северных, атомных ветров лучевых деревне Свят Погосте, где я охотился в молодости птичьей моей и откуда приходят к нам послеатомные лысые беженцы... если от ветров лучевых пали, изнемогли столетние боры — то как не полечь, не посечься лыняным, бедным нашим власам, власам?.. А?..

А если так думают в трех дальних деревнях — то так и на всей Руси-матушке таят, думают чистшие люди русские!..

Воистину!..

25. НЫНЕШНИЕ ВЛАСТИТЕЛИ — САМОДУРЫ — САМОЗВАНЦЫ

Дед сказал, удивленно встав в травах, колеблемых вечерним, духовитым ветром:

— Были, были на Руси тираны-лютичи! Лютовали, убивали, человекам угнетали-изводили, но во имя Державы! и крепости Отечества!.. Но таких властителей, чтоб ради властолюбия, славолубия, ради своего живота, пуза, самодурства людей беззащитных, неповинных убивали, стреляли, ограбляли да пригнетали до могилы, — таких в истории Руси не помню, не знаю!.. Таких на тронах да в кремлях, палатах царских русских не бывало!..

Когда в голове, в душе вождя-узурпатора — зло, пьянство, слякоть, кровь, бездорожье, безбожье, бездушие, — то и в народе, и в стране пригнетеной, покорной — те же зло, пьянство, слякоть, кровь, лихоимство, безбожье, бездорожье, бездушие!..

Дьявол пирует, ликует в Кремле — и то же творится, отдается на всех дорогах! и тропах Руси... да!.. Брат, слышишь победную пляску его?.. О!..

26. ВОССТАНИЕ

Дед Стриж сказал:

— Когда один человек грабит другого — это воровство.

Когда одна часть народа грабит другую — это восстание, смута, гражданская война.

Когда один народ грабит другой — это война.

Но все это — три вида воровства.

...У нас нынче восстание сынов на отцов! Страшное восстание! Все религии мира гневно запрещают его...

Сказано в Книге Книг: «Чти отца и мать твою, дабы продлились дни твои...»

И вот адово зрелище: молодой, ярый охранник,

новоопричник упоенно бьет резиновой дубиной иль слепым кулаком седоголового старца! Это удар по божественной иерархии! по божьему зданию, промыслу-завету! Так взрывали наши белотелые, неповинные, лебединые церкви и расстреливали старцев — соль и мудрость Руси...

А ведь наши отцы, да матери, да деда идут перед нами по дороге жизни и ложатся допреж нас в нищие могилы, а мы идем за ними вослед и в их могилы ложимся. И, значит, они — наше будущее, а не прошлое! И вот мы убиваем свое будущее? своих родных, впереди грядущих старцев?..

На Востоке чтут старцев. Вот говорят «восточные мудрецы», но Русь не менее обильна старцами-мудрецами, седыми священниками-батюшками, как лесными тихими родниками!..

Давно пора народу нашему поклоняться своим, русским мудрецам, а они, тихостные, блаженные, есть во всяком нашем храме, сельском и городском... да!..

Дед Стриж сказал:

— Когда я слышу и вижу, как молодой отрок иль муж говорит седовласому: «Эй, дед, отец! ты чего уставился на меня?.. ты?.. чего?..» — то уже тут вижу я крушение народа, нации, забвенье векового, божьего Завета Спасителя нашего!.. Страшное это «ты»!

27. ВЛАСТЬ-ПТИЦА

Дед сказал:

— Нынешняя власть ненавистна народу! Эта птица летит на двух крылах — ложь и насилие.

Впрочем — это одно крыло!..

Однокрылая, погребальная, слепая, кривая птица, куда летишь?.. На чью голову, тяжкая, протяжная, рухнешь?.. И еще: эта власть, как нейтронная бомба, — ей нужны нефть, золото, лес, опустевшие земли и дома усопших. Люди ей не нужны. Людей она умерщвляет, умораляет до божьего срока их. Власть убийца.

28. ТОТАЛИТАРИЗМ

Дед сказал:

— Говорят, что прежде был у нас повальный, вездесущий истребитель-тоталитаризм... Но как мы на тайных кухнях, в застольях и в сочиненьях подпольных этот тоталитаризм хулили! как смеялись, издевались над ним! Сколько лихих мнений и кудрявых анекдотов рождали мы, угнетенные и подавленные!..

Но вот рухнула тотальная, проклятая империя, и стали к нам приезжать «свободные люди» с Запада с розовыми лицами вольномыслящих.

И вот спрашиваешь их: «Как вы относитесь к расстрелу Парламента? к реформам-живодерам, от которых народ, немо стена, удивленно, покорно помирает?..»

И улыбчивые иноземцы говорят: «Правильно, что расстреляли! правильно, что реформы идут!..»

Все иностранцы *так* говорят! Я ни одного не видел, чтобы думал и говорил иначе! О Боже!..

Ужель все вы *так* мыслите, милые собраты западные мои?.. Ужель нет иной головы, иного мнения? На всем неоглядно вольном Западе? А?

Вот где тоталитаризм — улыбчивый, равнодушный, сытый, розовый, безбожный!

А у нас недавно свершился массовый, поистине народный подвиг, героизм!.. а мы не узнали его... не оценили его, слепцы!.. Воистину, слепцы!..

29. МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ

...Дед Стриж и дервиш Ходжа Зульфикар шли, шли, шли, брели, блуждали, терялись в медовых, спелых, уже ночных травах русского, вселенского духмяного, всемедового разнотравья, но погоста с бабкой Раисой не находили...

Дервиш сказал:

— Брат, а ты веришь, что найдем мы погост древний в траве молодой, гонной, бездонной этой? Тут мы скоро и друг друга потеряем... Травы все гуще, гуще, тесней и темней...

О Алла! Где тут моя бедная бабка Раиса? Иль давно уже стала она бездомной этой волнующейся травой?..

А Русь выберется из диких трав? Иль и она ушла навек в травы? Как бабка моя?..

А кликуши кричат, что Русь погибла? что Руси конец? Тысячу лет жила — и вот уходит? и вороны траурные, загробные выются над ее кудрявой, ромашковой, полевой, веселой головой? А, дед?.. А, мудрец русских трав?..

Дед сказал, склонив голову, как травы клонятся под ветром:

— Я прошел войну немецкую... я работал агрономом в колхозе. Колхоз развалился, деревня родная уходит в землю... я один в мире агроном, которого победили, захлестнули дикие травы... Но не всех людей русских взяли эти травы несметные...

Нет! нет! нет!.. Не всех!..

Дед сказал:

— Посреди Москвы равнодушной, в Белом доме, русские мужи, жены, отроки, отроковицы и дети более двух недель без воды, еды, тепла под ледяными дулами автоматов, и танков, и слепыми зрачками пиланых убийц беззаветно, бесстрашно, сурово противостояли вооруженной, обильной, глухой силе!..

Опять русская, кроткая, беззащитная, трепещущая плоть встала против слепого, тупорылого, огненного, равнодушного железа!..

Потом была безвинная кровь, убиенные жертвы, но безоружные защитники парламента не сломились! да!..

Это ли не беспримерный, массовый героизм русского народа в мирное время? посреди тщедушной, вавилонской, предательской иуды-столицы?

Воистину, это новая Брестская крепость посреди Москвы!..

Где? в какой стране найдется еще такой бессмертный парламент и такие безоружные, улыбочивые, бессмертные люди?..

Но!.. Горящий Белый дом — это национальная! вековая! рана в душе русского народа! Это незаживающая! незасыхающая! вечно кровоточивая рана в душе всякого живого русского человека!..

Такая же вечная рана-боль-соль, как мученическая смерть свято-витязя князя Михаила Черниговского в стане Батые! иль вечнотекущая кровь Пушкина на дуэльном снегу!.. Воистину, нет и не будет этим ранам-язвам покоя в душе русской, пока она не покинула землю навек!..

Я знаю, чую, что любой западный холеный парламент лихо, люто разбежался бы врассыпную от одного танкового снаряда иль снайперской, подлой пули... Я воевал и знаю, что значит, когда танк стреляет по мирному дому... как живые, дрожат стены, мерзкий, животный страх трясет слепую плоть... а тут женщины, дети, отроки и хилотелые интелли-

генты. А не сдались! а не опоганились! а не подломились!.. Против адовой силы выстояли!..

И о таком народе говорят, что он «уходит из истории»?

Тогда кто в истории остается? Одни палачи? Победители?

Тогда поскочут кони Апокалипсиса!.. Эй, где вы?.. Гой!..

30. ВСТРЕЧА

Гой!..

...Дед Стриж и дервиш Ходжа Зульфикар заблудились, потерялись в колышущихся, шепчущих травах...

Ночь, ночь уже была в травах...

Туманы ночные, сырые, знобкие шли, шли, шли в травах, и дервишу дико стало в этих чужих, засасывающих, колодезных, власатых, шелковых, туманных травах... О!..

Но тут в тумане он увидел дубовую редкую рощу, и он хотел забраться на один из этих дубов и увидеть дорогу к деревне, потерянную в диких травах, и взялся за кору ствола — но с ужасом почувал, что это не кора, а нечто мохнатое, живое, дышащее...

Тут дервиш услышал густой храп и ржанье, и хруст съеданной травы, и ему почудилось, что дубы неслышно, мягко передвигаются в траве, словно перелетают, и это уже не дубы раскидистые, туманные, а исполинские, крылатые животные пасутся в травах и вздымаются на великих крыльях над травами!.. О!..

Тут дервиш услышал высоко над собой глухое ржанье, и он поднял из трав голову к горящим Плеядам текучего, звездопадного августа-густаря, и в высоте, словно среди звезд, увидел темную, огромную, задумчивую голову лошади, и дервиш содрогнулся, потому что в зрачках исполинской неслыханной лошади он увидел безумные, бешенные, звездные, текучие огни, пожары, дымы, и горящий свой дом-кибитку у реки, и дервиш закричал в травах, как дитя заблудшее:

— Эй, дед! Дед Стриж! Где ты?.. Я прошел много дорог и видел многих зверей, но таких лошадей не видел... иль я от медовых трав опьянел, как медовый ядный шмель, и бредовые виденья мучают меня?..

И тут неожиданно в травах бесшумно явился дед Стриж, и он шепнул дервишу в ухо, обдав его тленным духом-перегаром гнилого самогона:

— Тихо! Не спутни этих чутких коней...

— Так это кони, а не дубы?..

— Гляди — у них вместо копыт и лошадиных стройных нагих ног — медвежьи, мягкие, вкрадчивые, стелющиеся, власатые лапы с извилистыми, хищными, страшными когтями шатуна! гляди — они бредут по траве, а потом на тяжких, совиных, ночных крыльях взлетают, а траву почти не приминают! Ай, налились! нагулялись, набрались крепости, силы, лихости в русских, самых сладких, густых, медвяных на земле травах эти кони, похожие в ночи на кочующие, перелетающие над травами древние дубы! Да! Воистину! Для того на Руси и взошла святая блаженная дичь-трав!.. Айда!..

Дервиш, иль не узнал их? этих крылатых зверюг в ночном? Какие же надо иметь крылья, чтобы поднимать такие тулова-тела? Айда! Господь пасет, бережет, готовит их в наших русских медовых травах!.. Айда!.. Гойда!..

Это Они! Кони Апокалипсиса!

И лед вдруг запел диким, дурным, травяным, сагононным голосом:

— Аль! не нужно задавать! ай! овса! овса! овса! Ай! в русских травах, ай! Коням Апокалипсиса! Айда!.. Эй, где вы?.. Гой!..

Но Кони ушли, тяжко, огромно отлетели, воздымаясь в тумане... Эй!..

31. ОТКУДА ПОСКАЧУТ НА МИР КОНИ АПОКАЛИПСИСА?

...Эй, где вы? Гой!.. Но не дай, Господь!.. Подержи своих Коней... В Последние Времена — много дождей! Это Кони Апокалипсиса рыдают над Россией!.. да... У них в зрачках горят града, и они слезами хотят усмирить огонь сей непобедимый...

Дед Стриж сказал:

— Дервиш, брат мой новоявленный, долгожданный, ты прошел через всю Русь. Что скажешь о ней? Дервиш сказал:

— Чем власть страшней, злей и тупей — тем острее ножи, пули в руках ее палачей!.. И тем прозрачней, сквозистее блудные одежды ее жен и дочерей...

Видел я многих явных и тайных палачей, что кричат, хлопочут об отмене смертной казни, и во градах слепых, блудных видел я до кости прозрачных вавилонских мужей и извилисто грешных, содомских отроков.

И жены на Руси стали орудьем телесных, растленных забав, утех, а не блаженным очагом деторождения, а не тайными, божьими воротами детоявления...

Но не дай, Господь!

Но поддержи, потомки своих Коней!

Всегда думал я, где и как начнутся Последние Времена? Каково их последнее тавро, пайцза, знак? Где начнется Апокалипсис? в какой земле? в каком народе, племени, языке?

И где ослы Последних Времен станут огненными конями Апокалипсиса?

И вот я часто от страха гляжу в зрачки своего осла Хунука — и вдруг вижу там, в зрачках, пляшущих волков, а потом, за волками, пляшут в зрачках осла страшные огни, костры, которые уже ничем не потушить! Ибо нет на земле такой воды!.. чтоб потушить эти костры... Уйййййй!..

О Господь! помедли! оборони, помоги!..

Но Чаша Огня и Чаша Потопа уже давно просятся, дрожат в Твоей Руке — и они прольются, падут над той землей и народом, где беда народная, людская и горе одинокое, человецье безмерны, где Чаша страдания народного перелилась, перехлестнулась далеко за все концы! за все края...

Дед Стриж сказал:

— Это Русь нынешняя моя!.. Тут Чаша горя взбунтовалась, перелилась!.. Тут Господь обрушит огонь и воду, которые не унять!..

И отсюда Огонь и Потоп пойдут на сытую Европу и спящую Америку.

Господь, но помилуй, пожалей!.. Но удержи еще своих последних Огнь-коней!

Господь! но скажи, шепни мне: почему миллиардер из Нью-Йорка и бабка-дойрка Фекла из деревни Синего Николы должны плыть в одном апокалипсическом Потопе и Огне?..

Почему поскачут они вдвоем, обнявшись насмерть, напоследок, на одном огненном апокалипсическом последнем Твоем Коне?..

Ей-ей!.. Господь!

Но я люблю и Феклу, и того миллиардера на коне!..

Господь! Я дал бы свежее сено Твоим Коням, чтоб успокоить их, да эти Кони сена не ядят?..

Они ядят и топчут, как траву, народы и града греха!..

Гей!..

...Но Кони ушли, утянулись, вознеслись в туман... До срока... До знака... Пока... Они ждут и таятся там... Недалеко они... Слышишь?..

32. ДВА ВОЛКА И КАБАН

...Кони ушли в туман...

А дед искал дервиша в бездонных, всеохватных медовых диких травах, травах, травах, что уже сокрыли захлестнули наших старцев выше седых, бедных затонувших голов!



Дед Стриж опять потерял в травах дервиша Ходжу Зулфикара и сытого осла его и закричал:

— Эй, дервиш! Заблудились мы! Без Бога и червяк оглохнет! А многие русские люди без Бога ходят! А если в народе больше слепцов, чем зрячих, — то слепцы силой и зрячих в пропасть столкнут, сведут! А без Бога — ни до порога! А мы далеко ушли без Бога...

А тут Америка и Европа вдвоем в наш затылок блудный впились, вцепились. Тут и мозги наши безбожные помутнели, побежали, поределели!

Два матерых разрывчивых волка на одного старого кабана-секача набежали, унюхали, утлядели, уследили добычу... И рвут кабана с головы и с хвоста...

Но!

Но! Китай, желтый, повальный, несметный тигр, придет из-за Стены Великой и отмстит белолицым волкам за безвинную болезнь Русь!

Отомстит!..

И что, народ американский имеет право на восстание против несправедливой власти, а народ русский не имеет права на восстание от пьяного сна?..

Дай, Господь! Пробуди... Пока те Кони в туман ушли... вознеслись... и явятся там...

33. КОСОЙ СТОЛ НАРОДОВ

Дед сказал:

— Стол Народов Мира косо на склоне холма-косогора стоит. У возглавия косо вкопанного стола русский, обделенный, покорный народ сидит: тут едва несколько бутылок водки, картошка, капуста и кулек сластей-конфет для баб и детей остались, а все остальные яства, богатства свалились, вниз по столу наклонному съехали к противоположной стороне!..

Ой, там сокровища пылают несметные: и алмазы, и хрустали, и кубки золотые, потиры наши, и тысячи колбас, сыров, медов, хлебов — и там сидят розовые разбухшие американцы, англичане, французы, немцы и от тошного, душного, нечеловечьего, неразделенного изобилия, украденного со всего обмелевшего мира, хохочут и иногда со своего тучного конца стола бросают нам нищий кусок...

Господь! и что так стол народов накренил? И ужель он вечно будет диниться?.. Иль намертво вкопанный навеки этот стол на косогоре застыл?

Иль Твои Кони из тумана не опрокинут его медвежьими, бешеными, скачущими ногами-лапами?.. Айда!..

34. КОЛОНИЯ

Дед сказал:

— Говорят, говорят, что Россия в бездну летит и колонией становится. Я прошел по столице Москве и по градам притихшим, где заводы и фабрики стоят без рабочих огней, и в шахтах шахтеры, а в полях пахари-добытчики увядают, голодают, и роддома пустынные, а лишь на кладбищах жизнь печальная шумит, шевелится, творится. Ибо там неисчислимо немое нашествие новоусопших... о Боже!..

И скажу: Уже! уже Русь стала колонией! Уже она на дне бездны, полубездыханная, лежит и шлет только постояльцев вечных на кладбища! Уже она стала обезголосевшей плакальщицей на бесконечных похоронах.

А если Русь уже стала колонией — то, значит, скоро! скоро! ей начинать долгую партизанскую, изнурительную, антиколониальную войну, которую вели американцы, африканцы, индусы и другие поверженные, пригнетенные до гроба народы против своих узурпаторов-инородцев и земляков-иуд-единородцев! да!.. Воистину так!..

Дай Господь, чтоб пошла Русь в этой святой войне бескровной дорогой Индии, тропой кроткого, необъятного босоногого мудреца Махатмы Ганди!

Дай!

Но!

35. КРОВЬ

Но!

Дед сказал яро:

— Вот говорят рабы безбожники, для которых плоть, тлен дороже вечного духа: «Только б не было крови! Только б не было войны!..»

А кровь льется, не остывает, не густеет по всей стране, а кровь льется в столице, а палачи-лицемеры громогласно хлопчут об отмене смертной казни, но если отменяет ее — куда пойдут кривые, мстительные ноги их?..

И вот кричат: только б не было крови, а сами рождают ее, а сами живут и жируют на крови!..

Сельский наш батюшка Ярослав устал хоронить, ездить по кладбищам! Тридцатилетний мужик за два года стал бел, как обсыпанный мукой на дряхлой мельнице, даже брови поседел! Унывный дух и в батюшку проник... «Я, говорит, отпеваю усопших в десять раз больше, чем крещу новорожденных... Мор вселенский, небывалый, пагубный пришел на Русь... И что же русский народ так и будет бубнить бабьими, пьяными, тошными, путаными, бледными губами: Только б не было крови и войны!.. и немо! самотленно! самоходно в землю уходить? а над нашими довременными могилами и свежими, удивленными, необъятными кладбищами только и будут носиться сатанинские могильщики банкиры в белых сорочках, попугайских галстуках и со счетами в птичьих руках, и кричать бессмысленно: «Рынок! Рынок! Рынок!..» Да?..

Так и поляжем бесследно, покорно, полные неспролитой, сбереженной крови, братья?.. А ведь Спаситель гнал торговцев из храма, а разве Русь — не белотелый храм?

А ведь Спаситель наш во мучительной, крестной крови ушел, чтоб победить сатану и труса-плотолюбца и навек воскреснуть для нас...

А мы?..

...Только б не было крови?! Пусть будут тысячи немых, свежих, довременных кладбищ? Трус, раб на Руси! Сгину!.. Аминь!.. Где твой лом, мужик?.. Иль будешь им лишь копать могилу для близких своих?.. Блаженный Максим-нагоходец наш говорил: «Люта зима, да сладок рай...»

36. ОППОЗИЦИЯ, ИЛЬ ПРОТИВНИКИ ВЛАСТИ

Дед сказал:

— В XX веке коммунисты, безбожники, кромешники пошли против царя и победили. «Демократы» пошли против коммунистов — и победили. Русские патриоты идут против «демократов» и тоже неминуемо победят! Трус русский закон XX века.

Дед улыбнулся:

— Говорят нынешние властители своим противникам: «Нет у вас идеи, программы! не знаете вы, как строить новое государство и новую жизнь!»

Я скажу: когда Наполеон Москву взял, когда Гитлер в Химках стоял — то одна была идея у русского народа — изгнать, изъять врага из родных городов, сел, деревень, полей, церквей!.. Когда тайный червь тебя гнетет, томит, когда сосет солитер твое нежное беззащитное чрево — то нужен суровый врач, чтоб червя, из тела страждущего, изгнать! Вот и вся идея! А за этой идеей потянутся, побегут и другие... Да!.. Как стелется, бежит по ветру вечерняя, прохладная, родимая, блаженная, медвяная эта трава...

37. КОММУНИСТЫ И ДЕМОКРАТЫ

Дед Стриж сказал, выдохнул тихо, страстно в травах смутные, уже ночные, волнующиеся:

— Коммунисты заклинали коммунизмом — и убили, умертвили тайно и явно миллионы неповинных людей... И среди них мой отец, могилу которого я никогда не узнаю... И кость его вопиет неотпетая, неоплаканная где-то...

Нынче «демократы» заклиняют рынком — о Боже! одним голым рынком без всяких человеческих духовных заветов. «О, убогие! о короткие!» — как говаривал бесознатец Достоевский! И эти голые бесы-рыночники уморяют насмерть миллионы невинных, удивленных людей-голодарей... И старых, и молодых... Империя палачей сменилась базаром воров и нищих. Коммунисты убивали маузерами, демократы — кровопийцами-банками!

Но! Если за несколько лет рухнула! вдруг! враз! вмиг распалась, рассосалась сатанинская советская империя-опухоль со всеми ее метастазными КПСС, КГБ, МВД — то уж «демократический», призрачный, летучий, цыганский табор, вокзал, перрón, караван-сарай со всеми его мертворожденными скоротечными саркомами — банками, биржами, офисами — этот ад, хаос, бред — сгинет на Руси в одночасье... в одну ночь!

Как это произойдет? Иль однажды народ мрачно выйдет, выльется грозно на улицы всех сел и городов? Никто не знает. Знает только Господь!

Но! Истинно сказано: на Руси сбываются не заветы мудрецов, а бред безумцев... увь! ох! ой! нам!..

Но! Когда молчат, безмолвствуют по-рабы, порыбьи русские люди-рабы! когда замурованы человечьи рты! и Господу нашему не чрез кого возопить на всю Русь!.. Когда безмолвны уста — тогда Господь яростно говорит чрез беды, моря! чуму! СПИД! холеру! чрез Чернобыль! чрез гражданскую бойню!..

Не дай Господь!.. Но дает!.. Рабы! Молчалиники! Где ж ваше: «лишь бы не было крови, войны?»

И потому, господа бизнесмены, купцы, предприниматели родные, нутряные короеды-жуки, торопитесь дограть дочиста, донага опустошить старики, детей, старух и наивных, доверчивых, младенческих человек, коих на Руси всегда святое множество, — и легконого бегите на лазоревые, сладкие пляжи теплолюбивой Европы и Америки, чтоб не достали, не настигли вас проснувшиеся витязи-мужи!..

Эй, родной нутряной червь-вор! На тебе шапка горит! под тобой земля дымит! Окрест тебя Русь восстает! беги! беги! беги в три ноги!

...Дед Стриж устал в травах, хотя от одиночества привык он говорить сам с собой, но тут дервиш Ходжа Зулфикар печально внимал ему, и качалась

согласно его седая азийская, многомудрая, песчаная, саксаульная, многомутная голова, как трава от вечернего ветра... Вечер уже в травах неслышно, но зримо подступал... окутывал, опутывал двух старцев...

38. КОСТЕР ДЕМОКРАТИИ

...А за смутным вечером ночь крошечная в травах туманных, несметных, косматых брела.

Как одиноко страннику русскому в травах бездонных ночных...

Вот бы зажечь костер да у огня погреться, посидеть, почудить! прошлое поворошить!..

Костер в ночи — это немой крик об одиночестве, о вселенском русском сиротстве, о помощи...

Да скорей всего к костру не помощь идет, а шальная пуля иль пьяный топор грядет! Гой!

Не дай, Господь! помоги, оборони бедного заблудшего путника, русский полевой заступник, тысячелетний странник Христос!..

Тут дед Стриж сказал горько, нодоволено:

— Костер демократов навсегда погас, с треском разбросав, расстреляв, раскидав по всей Руси тысячи злошпящих, злосмердящих углей! ей! ей!..

Но — увь! — от этих утлых углей загорелись многие сырые племена, и народы, и много явилось безвинных людей и народов, что стали беженцами привозкальными...

Люди вокзалов...

Народы вокзалов...

Костры адовы адовых «демократов»...

Но кто там?..

Но среди адовых костров бродит Золотая Кучка...

39. ЗОЛОТАЯ КУЧКА

Дед сказал:

— Кучка ослепительно, внезапно, воровски разбогатевших призрачных людей навязывает огромному народу и стране свой шальной обезьяний образ жизни, свои убогие идеи и — увь! — свои фантастические, лишь ей доступные, цены... Торговцы во храме Руси стали вождями и намертво вцепились в руль государства, и не дают двигать руль сей застывший, и корабль отечества бьется, тычется слепо о берега... А им руль нужен, а не корабль!.. да!..

И если ты не входишь в это сорняковое, невесть откуда явившееся племя «бизнесменов», иль лакейски не обслуживаешь, не лелеешь, не охраняешь его — ты обречен на нищету, и суету, и печаль убегающих сирот дней ненужной жизни... Нищий, бытотленый странник нишей, уходящей Руси — вот судьба твоя, вольный брат, русич мой?.. А?..

При коммунистах у нас было босоное кудрявое детство...

При демократах — босоногая лысая старость...

40. БИЗНЕСМЕНЫ — КУПЦЫ — ТОРГОВЦЫ

Дервиш сказал:

— Древние китайцы говорят: «Если зрачок у человека тускл — то душа его умерла, если зрачок горит — душа жива»...

Дед Стриж сказал:

— Наш святой Учитель, Григорий Палама писал: «Страшно, когда душа прощается с телом — это смерть! Но еще страшней, когда душа прощается с

Богом! Когда бессмертная душа может покинуть тело задолго до смерти...»

Дервиш сказал:

— Я видел множество тех, что называли себя «бизнесменами»... Почти у всех зрачки тусклы... души мертвы... бродят, мнутся, суетятся по земле лишь «полые тела»... И где бессмертная душа их? Где летняя бабочка-капустница иль узорчатая маляхитовая бабочка-«адмирал» в ледяных декабрьских, метельных снегах, снегах, снегах? И эти, изранившие душу, с тусклыми, слепыми бельмами, зрачками пришли на Русь и хотят властвовать, насиловать, пригнетать, душить Её?

О Русь! И что горят лишь зрачки Коней Апокалипсиса Твоих?.. И мертвые хотят задушить живых?.. Мертвецы не в могилах, а в домах и градах?.. Душно, тошно животрепещетной душе среди вас!..

Господь! не дай этот ад!.. Стинь, Ад!.. Айда!..

«Любовь к благам земным — это смола, связывающая духовные крылья», — говорят отцы Церкви, а какие еще есть отцы вечности у нас?

41. НОВЫЕ БОГАЧИ

...Айда!..

И дед сказал запальчиво:

— Вот в нашей нищающей, зауспокойной уж деревне среди косых, рухлых, плакучих изб новый богач возводит дом богатый с колоннами и затейливой резьбой!..

Ой!..

Мало того, что нет у него ни капли совести. Но нет у него и спасительного инстинкта самосохранения... Увы!..

На Руси, брат богатый, раздольный широкий мой, и честные, добром нажитые в веках дворцы, хоромы сатанински сожгли, а уж ворованный дом сам загорится, задымится и пожарников-ушкунников не докличешься, не доглядишься!..

Увы, брат, враз вспыхнувший богач, я не от зла пророчу, а от печального цыганского предсказания, провиденья... Ах, нынче на Руси ограбленной хорошо лишь воронам да иным цыганам вороватым, каркающим. А ворованный — даже камень — дотла сгорит!.. Так уж, брат, богач мой сердечный, на Руси Господь велит!.. Ибо любит Господь только нищих на Руси в лютые времена!.. да!.. А таким весь народ нынче стал.

Но!..

...Как неопытные убийцы оставляют на месте преступленья орудия убийства — так нынешние слепцы, богачи, скороспелые воры, ставят скоротленные уродливые дома по родимой, изумрудной Руси, Руси!..

Господь! и этих упаси да просвети! да пусть до срока! до дыма, до Коней Апокалипсиса! под детдома отдадут хоромы наворованные, скоротленные свои... Но слепы, люто слепы и алчны они...

И еще дед сказал, таясь в многотравных травах, сходясь, сливаясь с травами первобытными:

— И эти новые богачи говорят о Руси-кормилице безответной, покорной своей — «эта страна»... «этот народ ленив и пьян»... И бегут от нее, и покупают розовые дома на сытых берегах иных стран... «Эта страна, этот народ ленив и ходит в низком пианстве»... да?

Но!.. Какая страна и какой народ на земле дал бы вам, новоявленные хозяева, в два-три года столько наворовать и нагрabить?.. И бежать на сытый За-

пад с добром нагрabленным?.. и чадами лютыми своими?.. И если народ русский пьян и ленив — то откуда столько добра? Поистине, вы ненавидите и презираете наивный кормилец-народ русский, как вор всегда презирает и ненавидит безвинную, обобранный им жертву свою, и алчет бежать от нее иль убить ее, чтоб не стала свидетелем зла его!.. И вы ненавидите Русь, которую неистово, люто, невиданно, безвозмездно ограбили, огадили, ожесточили и сотворили из богатой страны — страну-нищенку, и нынче алчете убить ее, чтоб не свидетельствовала против окаянства вашего и воровства...

Тати! нет вам пощады и земного, и небесного прощенья!.. Да! страшится убийца убиенного им, а еще более — раненого недобитого им...

Я бы этой травой жгучей стянул хилые выи, горла ваши, денные и ночные воры, убийцы Руси безвинной, многораненной моей!.. Да стар, дряхл телом я... И руки дрожат и только ласкают, глядят медовую, лъстивую, атласную траву мою... утешительницу близкую... могильную мою... уйю!.. скоро, скоро уйду!.. претворюсь я тленный, грешный, горький в чистейшую, медовую, говорливую, шепчущую мать-траву.

42. ДУХИ, ТАБАК, ПОТ, КРОВЬ

Но потом дед набрался медовых сил от первозданных, первочистших трав и вновь яро сказал:

— От наших новоявленных властителей и бизнесменов пахнет ядовито, тошнотворно заморскими духами и табаком, и исконным потом путаных воров, и русской тайно и явно проливаемой, обильной кровью!..

И чем дольше простоит нынешняя власть — тем больше будет пахнуть, разить от них нашей русской, сладкой, неповинной кровью!

И никакие заморские, крикливые, попутайские духи и табаки не потопят, не покроют, не заглушат этот страшный, кровавый дух заживо удушенных русских людей!..

Господь, помилуй, пожалей!..

Дервиш сказал:

— Я был в священном Иране в дни аятоллы Хомейни. Там за пианство и разврат — смерть! Там за воровство, и содомский грех, и безбожную власть, и наркотики, и проституцию — смерть при народе. Сам народ творит смерть грешникам! Там врата греха наглухо закрыты для многогрastного человека!..

А на Руси с 1917 года — все лютые, повальные грешники вне земного наказания!.. вне божьего отмщенья! вне кары небесной... Хочешь безбожно, люто властвовать? и давить? и угнетать людей? и насиловать? и воровать? и любострастничать? и обнаженно творить содомский грех? и бездонно пианствовать всенародно, вселюдно? — приходи на Русь вольную, разбойничью!.. Тут воля! воля!.. Русь стала обителью, полигоном ядовитого греха. Грешное тело душу съело. Тело съели сласти, а душу — страсти. Со всего мира явились яро, страстно хлынули, собрались, сбежались сюда бесы всех народов, чтобы царить, гнило гулять в народе покорном, безмолвном русском чистом девственном!.. Тут неистовое торжество тая, тли! паука! крысы! змеи! гиены! волка! червя! палача! бесстыдника! содомита, растлителя! ушкунника! вора! Тут воинство бесов неоглядное!.. кишашее... окаянное!.. И!.. И никому нет возмездья и суда! О Боже! Русь! Где суды? витязи, воители Твои, чтоб остановить, пресечь рас-

тлителя, вора, убийца, тирана, кровоблуда, словоблуда, самодура, палача? Русь, где православные дружины отмстителей-святговитязей? Где православные «федаины»-смертники за русскую веру с зелеными лентами вокруг осиянного, дивного, жертвенного чела? Иль одни пьяные, безбожные, плакучие, усеченные человеки плакучие окрест меня? И Русский Крест пустынен, и там лишь дикая береза взялась, разрослась вместо воителя — заступника Русского Христа?... А? А, дед Стриж, может, из Ирана «федаинов» братьев-смертников на Русь кликнуть, позвать, чтоб это стойбище, капище, торжище всемирных бесов-грешников прервать? А? А?.. Чтоб не пахло русской, безвинной, удушенной кровью в русских замордованных градах, селеньях, полях, лесах?... А? Чтоб оборотней-бесов избить? изъять? изгнать? А?..

Но дед Стриж мудро дальновидно немотствовал, молчал... Как Святые Отцы Руси в монастырях, скитах знают, провидят, да таят... Пока...

43. ОБОРОТНИ

Но потом дед сказал:

— Оборотни! Люди эти должны понести двойную кару: за то, что они творили, когда были коммунистами, и за то, что творят нынче, став «демократами». Хотя — увы! — двум смертям не бывать... но эти стоят... Хотя я готов умереть, защищая мурья, но не этих...

Слово «демократ» в народе стало проклятым, клейменным, бранным как кат-опричник, иль чекист-палач, иль фашист-удав. Не дай Господь, но придет время, когда за это слово будут убивать... «Новые русские» — их 3 миллиона! Новые русские нищие — их 150 миллионов! И что ж это новоявленное, сумасшедшее, кривое коромысло на тысячетелнейшее Руси?... Коромысло, где в одном ведре — полным-полно воды, а в другом ведре — воды лишь на дне — такое коромысло долго ль будет качаться, плескаться, маяться, скитаться нашее Русикормилицы безвинной моей?... Изблует, извергнет Русь бесов, оборотней этих... Воистину!.. Как вечное море выносит на берег тленный мусор...

Но сколько животрепещущего, саднящего горя принесли они! сколько довременных гробов понесли и несут по Руси из-за них...

Смерть им!.. Две смерти им!..

Прости мя, Господи, прости...

И дед рванул всей дрожащей пятерней дикую траву непокорную, острую, как колючая проволока, и кровь выступила на кривых, мускулистых, крестьянских, кормильных пальцах его, но он не чувал...

...Прости мя, Господи, хотя мне жаль и сорванной, безвинной травы, а не пальцев обогранных моих...

44. СТРАНА СЫРЬЯ

Дед сказал:

— После разрушенья, паденья, обесцениванья русского рубля — а рубль стал как палая осенняя листва, — страна наша стала Страной Сырья. Сырьем стали дома, земля, лес, алмазы, нефть, металлы, тела красивых женщин, мозги талантливых инженеров, врачей, учителей, персты искусных музыкантов, голоса истинных замолкнувших певцов, мудрые руки рабочих, шахтеров, святые талые тельца новорожденных сирот младенцев, втайне продаваемых на Запад...

Был СССР — Союз Республик.

Стала ССР — Страна Сырья!..

Был глиняный кувшин — стала сырая, тусклая, тоскливая, бессловесная глина... Эй!..

...Кто ты, безымянный брат? откуда ты? из какой страны?

Он улыбается виновато, беззубо и шепчет: «Я из ССР... из Страны Сырья... Из сырой глины я...»

45. РУСЬ — ДОНОР

Дед сказал:

— В человеке струится, ходит, бьется шесть литров крови. Но вот взяли, отняли у него пять литров крови — и он лежит на траве родной с перевязанными венами питательными и умирает воочию, принародно... на миру и смерть красна? на миру и кровь взята?..

А по трубопроводам-кровапроводам кровь курчаваая, живая, желанная руда малиновая, бежит из вен за все рубежи русской земли, а они велики!.. И сколько же нам надобно крови излить, чтобы другие народы и племена напоить?

А кто на траве в беспамятстве малокровном, погибельном лежит? Кто она? донор вселенский?

Русь — имя ее...

Земля! Русич!.. не твоя ль мать кровотекучая, плакучая на траве уже бескровная, уже бесслезная лежит?..

А ты?..

Сын?..

46. АМЕРИКА — ДОЛЛАР

Дед сказал:

— Америка — вселенский доллар... Россия — вселенский донор... Гляди — бывлые охаянные, окаянные коммунисты преследовали доллар и сажали доллароторговцев в тюрьмы.

Гляди — нынешние оборотни-коммунисты (одни и те же люди, сменившие прозвища, — здравствуйте, господа товарищи!) впустили в Россию доллар хищный, погромный, как щуку в аквариум иль акулу в сельский пруд с карпами зеркальными... И опустел, вмиг притих аквариум и пруд... не плеснет волна, не играет вода, мертвая зыбь одна...

Выходит, старые коммунисты были прозорливые...

И дед вдруг засмеялся в травах:

— Ха-ха!.. Америка и Россия — две самые большие области, два кибуца необъятных Израйля... Два легких! два данника! два яйца, две ягодицы израилевых!.. Ха-ха!..

47. ДЕНЬГИ

Дед сказал:

— Деньги — пульсирующая кровь государства! Иль заветное водохранилище с питьевой водой. Отрави водохранилище — отравишь людей!..

Нынешние хозяева лихо, одурманенно, корыстолюбиво занимаются только деньгами, голыми деньгами. По сути дела, они начекали триллионы фальшивых денег и убили, утопили истинный рубль! Они сотворили в теле отечества искусственный рак крови — избыток белых кровяных ненужных телец!.. Вот и вся реформа!

Власти-фальшивомонетки! Белокровни-

ки!.. Оравители питьевого колодезя и хрустальных водохранилищ... Творители белой раковой крови!..

Но мы немом пьем из отравленной чаши, и кровь наша поражена...

48. ДЖИНСЫ

Дед Стриж улыбнулся в травах, увидев лазоревое шмеля, охватившего бледно-фиолетовый иванчай, что уже терял свой блаженный цвет в близкой ночи.

И сказал:

— Быть может, самый страшный удар по монолиту, надгробному граниту коммунизма нанесли... американские джинсы! Да! Воистину так!

Кто не мечтал из советских доверчивых людей надеть их на свои алчущие, томящиеся, скучные чресла?.. А за голубыми вожденными штанами мерещились нашему бедному, джинсообделенному, джинсолишенному человеку лазоревые, дымчаторайские дали недостижимой Америки!.. Вот надену, натяну джинсы — и стану вольным ковбоем-американцем-заокеанцем!..

Так хотелось быть золотым шмелем, вечно пьющим мед из лазоревых иванчаев... Джинсы победили КПСС!.. Ура!.. Ура! нам!.. И вот КПСС вся поголовно в джинсах! И вот мы все в джинсах... среди заснеженных, заморенных ледяных равнин русских!.. Аль не холодно нам?..

49. ПОМОЩЬ С ЗАПАДА

Дед сказал:

— Вот в доме хозяин умер, и близкие домочадцы в печали стоят окрест гроба свежего его. Тут дом загорелся, как часто это бывает без хозяина; завистливые гости да соседи незримо, тайно его подожгли. Тут являются соседи-поджигатели дальние и ближние с бутылками «пепси-колы» и говорят: «Мы поможем вашему горю и нищете вашей, и ваше имущество побережем, чтоб не расхитили воры его, пока вы пребудете в посмертной печали и пока дом горит без хозяина». И уносят из дома горящего все имущество его. А взамен поливают огонь водой из бутылок заморских, словно эта вода может унять пожар. А дом усопшего, а дом горящей Руси богат... да!..

Нынешние купцы, бизнесмены Руси говорят: мы вынуждены капиталы новоявленные держать за рубежами, ибо в стране смута, и хаос, и ссоры в доме Руси, где лишь недавно умер хозяин, и дом горит... Успокоится Русь, уймется огонь в доме — и мы вернем похищенное!.. да?

...Но смута и нищета в стране произошли оттого, что вы ограбили и зажгли дом усопшего и сделали нищими домочадцев печальных его!.. да!..

Не этот ли дом — Русь наша?.. А домочадцы-погорельцы — нынче все народы-сироты Руси... Воистину так!..

Сказано: не мети сор из избы... а мы вместе с сором вымели и тысячелетнее, нажитое в мозолистых трудах, добро наше... За рубежи вымели!..

Дед передохнул и сказал тихо:

— Если в доме беда, неустроенье, ссора мутная кипит — то мудрый хозяин не отворяет настежь, насмерть все окна и двери и не кличет всех соседей дальних и ближних на помощь, а своей могучей и любящей рукой мир в доме, в избе возвращает! восстанавливает!.. России нынче надо изгнать из за-

ветного сокровенного дома всех гостей непрошенных, некошенных, среди которых множество воров и ненавистников-завистников промозглых, крикливых! и закрыть все окна-двери, распахнутые для врагов-пришельцев!..

Русь — изба заветная, задумчивая, златостенная светелка веселая, а не зловонная, неогладная гостиница, караван-сарай цыганский для проходимцев...

Воистину так!

Так и упасемся!.. и сохранимся... и восстанем из погорельцев...

(Окончание в следующем номере)



Икуо КАМЕЯМА

ВОДНЫЙ ЛАБИРИНТ, ГОРОД СМЕШАННОЙ КРОВИ ХЛЕБНИКОВ И АСТРАХАНЬ



Со временем, когда Мы станет богом, речные русла всех мыслей будут течь с высот единой мысли.

Но мы не боги, а потому будем течь как реки в море общего будущего. Оттуда, где расположен опыт каждого, течь — то Волгой, то Тереком, то Яиком — в общее море единого будущего.

Будем избегать средневековых споров о числе волос на бороде бога.

В. Хлебников

Астрахань, расположенная в тылу дельты и устья Волги, известна с древних пор как один из узловых пунктов торговли Востока и Запада. Д. Мирский, критик 1920—30-х годов, назвал ее «самым голым, самым онтологическим из русских городов, караван-сараям, окруженным стихиями — пустыней и водой», и считал «одним из ключей к Хлебникову». Астрахань на самом деле не только занимает важное место в его биографии, как родина поэта, но и представляет собой символическое, иногда космическое значение в его мировоззрении. Его утопическая фантазия проявляется в тесной связи со стремлением к Астрахани. Своеобразный космополитизм, найденный, например, в уникальной идее «Правительства Земного Шара», не превратился в идею «неизвестного происхождения». Чтобы приблизиться к поэтическому миру Хлебникова, понять его, необходимо изучать историю и топографию Астрахани и ее окрестностей.

Не перечислишь народов, пришедших в эти «вороты из Азии в Европу»: проходили этим перекрестком скифы, аланы, угры, гунны, обры, мадьяры, болгары, хвалысы, половцы и татаро-монголы и т.д. Только в половине 10-го века появились русские в истории Астрахани, когда Астраханское ханство, построенное потомками Золотой Орды, было завоевано войсками Ивана IV. При Петре I была построена

верфь и этим заложен путь для дальнейшего развития города. Но весь город был окутан азиатской атмосферой.

Если можно считать Астрахань городом-символом, пространственно стгушающим свои исторические метаморфозы в мировоззрении Хлебникова, то Волга — метафизическая река, втекающая вне времени и истории в «общее море единого будущего». Метафора «времышы — камыши», появляющаяся в раннем Хлебникове, наверно, была навеяна ландшафтом дельты, где встречаются Волга и Каспийское море.

**Времышы — камыши
На озера береге,
Где камня временем
Где время камнем.**

В этой метафоре отражается идея вечного возвращения, которая охватывала поэта всю жизнь. Но красота природы в устьях Волги этим не исчерпывается. За зарослями камышей, как будто скрываясь, расцветают цветы лотоса. В январе 1915 года поэт приложил эту «каспийскую розу» к письму художнику М. Матюшину и писал так: «Хорошо бы летом из Перми на особой беляне устроить поход Аргонавтов за лотос в Астрахань».

По В. Топорову, исходное значение лотоса — животворная сила, связанная с женским началом. В Индии он олицетворяет богиню-мать и выступает как образ возникновения мира из космической воды, на которой покоится спящий Вишну. Вероятно, в поэтическом мировоззрении Хлебникова воде Каспийского моря придавалось глубокое значение, так же как космической воде в индийской мифологии.

Строго говоря, Астрахань — это вторая родина поэта. Как он сам пишет в одной автобиографической заметке, он родился «в стане монгольских исповедующих Будду кочевников». Это Малые Дербеты. Этот маленький улус, расположенный в окрестностях Волгограда, бывшего Царицына, был частью астраханской губернии до революции, а теперь принадлежит к Калмыцкой АССР. «Монгольские кочевники» — это калмыки, добравшиеся до Волги из западной Монголии в начале 17-го века.

**Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,
Кругообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно-худы...
Так дни текли, за ними годы.**

Его юность прошла в постоянных переездах: Вольный, Симбирск, Казань, Петербург... и, наконец, Астрахань в сентябре 1911 года. Тогда ему уже перевалило за 25 лет. С той поры Астрахань становится городом, непрестанно возбуждающим его утопическую фантазию о «прогулке в Индию».

Тоска по Астрахани была неудержной. Почти каждый год он возвращался в Астрахань, после того, как он был признан «королем русской поэзии», «королем времени» соратниками по русскому кубофутуризму. Нельзя сказать, что Хлебникову была чужда революционная восторженность. Его утопическая идея «Председателей Земного Шара», например, живо передает революционную атмосферу. Но его мечта стать часовщиком человечества была прищиплена в полной изолированности от «шума времени».

Астрахань для него превращается в какую-то открытую

книгу, куда вписаны удивительные исторические фантазии поэта. Рассмотрим их образы через поэму «Хаджи Тархан», заголовок которой происходит от татарского названия Астрахани. Поэма начинается описанием пейзажа дельты в устьях Волги и калмыцкой легендой о горе Богдо.

**Где Волга прятала стрелюю
На хохот моря молодого,
Гора Богдо своей чертою
Темнеет взору рыболова.**

Согласно калмыцкой легенде, гора Богдо принесена двумя подвижниками по велению далай-ламы с берегов Урала на Волгу. Мечети и минареты свидетельствуют о громадном влиянии исламской культуры на историю Астрахани.

**Ах, мусульмане, те же русские,
И русским может быть Ислам.**

В воображении Хлебникова полуразрушенная башня в пустыне вызывает фантазию Ассирии.

**Другую жизнь узнал тот угол,
Где смотрит Африкой Россия.
Изгиб бровей людей где кругол,
А отблеск лиц и чист и смугол,
Где дышит в башнях Ассирия.**

И в устьях Волги воскресает мифический мир древнего Египта.

**Но здесь когда-то был Озирис.
Тот город, он море стерег!**

К тому же он обращает внимание на тот факт, что Волга была названа древнегреческими учеными «Ра», что означает бога солнца в Египетской мифологии.

**Настала красная пора
В низовьях мчащегося Ра.**

Для Хлебникова Астрахань была колыбелью антигерманизма. Это тесно связано с его стремлением к Азии.

**И в звуках имени Хвалынского
Живет донныне смерть Волынского,
И скорбь безглавых похорон
Таится в песне тех сторон.**

Каспийское море было названо раньше Хвалынским морем в связи с именем племени хвалисов. Волынский, рифмующийся с этим словом, — государственный деятель, который потерпел поражение в борьбе с Бироном, пытавшимся укрепить германскую дисциплину при Анне Иановне, и был обезглавлен. В основе этой поэмы лежит конфликт между двумя культурами: Астраханью и Петербургом. Для Хлебникова Петербург, «окно в Европу», остается объектом осуждения.

Одной из главнейших тем Хлебникова является тема Степана Разина. Он был одержим образом этого народно-го героя. В «Хаджи Тархане» тихо звучит тема Разина.

**И Волги бег забыл привычку
Носить разбойников суда,
Священный клич «сарынь на кичку»
Здесь не услышать никогда.**

Тема Разина, разумеется, была и символом антипода европоцентризма и восхваления народной культуры, при-сущих русскому кубофутуризму. Но Хлебников, особенно в последние годы, отождествляет свою несчастную судьбу непризнанного пророка с трагической судьбой Степана Разина. В поэме «Разин», написанной приемом палиндрома, Разин становится портретом самого поэта.

Я Разин со знаменем Лобачевского логов.

Во головах свеча, боль: мене ман, заснн заря.

Но самый большой, самый существенный смысл для Хлебникова имела географическая близость Астрахани к Индии. Эта проблема не просто географическая. В «Хаджи Тархане» он пишет так:

**В зеркалах моря сиротей,
С селедкой плавают тюлени,
Сквозь русских в Индию, в окно
Возили ружья и зерно
Купца суда. Теперь их нет.**

Его попытка найти «закон времени», его стремление предвидеть будущее России — свидетельство большой внутренней работы националиста пересмотреть свое государственное сознание. Он оказался перед дилеммой: искренне молясь о возрождении России, он не может надеяться на будущее царской России. Где выход из этого тупика? Панславистская иллюзия рушится в 1916 году, когда он впервые служил в солдатах в Царицыне, хотя признаки крушения этой иллюзии наблюдались уже в 1911 году. В «Песни мне» он пишет:

**Земля гробниц старинных скифов,
Страна мечетей, снов халифов,
В ней Висла, море и Амур,
Перун, наука и амур.
Сей разноязычный кровей стан
Окуй, российский железо!**

Для Хлебникова обширность страны России является не только огромностью территории, но и гибридной культур, начиная с греческой, кончая азиатской. Поэт призывает к объединению всех народов, живущих в России.

**Пусть произойдет кровосмешение!
Братя, полюбите <нрзб> друг друга.
Судьбы железное решенье
Прочтешь я мог в часы досуга.
Так молодой когда-то ороchon
Любил коварную сестру
И после проклял, научен,
Ушел к близмечному костру.**

Хлебников в последний раз приехал в Астрахань летом 1918 года. Его пребывание продолжалось до весны 1919 года. И в этот период сильнее всех разгорелась его мечта о «прогулке в Индию». Когда он вместе с поэтом Р. Ивневичем предпринял маленькую поездку в дельту Волги в связи с проектом открытия заповедника, он был потрясен красотой лотоса и набросал на теплоходе «Почин» два манифеста — «Индорусский союз», «Азовсоюз». В «Индорусском союзе» он пишет: «В Астрахани, соединяющей три мира — арийский, индийский и каспийский, треугольника Христа, Будды и Магомета волею судьбы образован этот союз». Здесь он заново призвал к союзу азиатских народов: Китай, Индия, Персия, Россия, Сиам, Афганистан. В конце манифеста он заявил о своей утопической идее свободы земного шара, одним из председателей которого является сам Хлебников.

«Наш путь к единству звезды через единство Азии и через свободу материка к свободе земного шара. Мы идем по этому пути не как деятель смерти, а как молодые Вишну в рубахах рабочего».

Песни и слово — наше волшебное оружие...

Пусть татуировка государств будет смыва с тела Азии — волей арийца. Уделы Азии соединяются в остров... Великие мысли рождаются около великих озер. Здесь у самого большого озера в мире родилась мысль о самом большом острове мира».

**...Этот из меди верблюд
Чернильные струи
От Волги до Ганга
Нести обречен.
Не расплещи же,
Путник пустыни стола,
Бочонок с чернилами.**

«Испаганский верблюд» — медная чернильница, стоящая на столе Р. Абиha, известного ираниста, с которым познакомился поэт во время пребывания в Персии. В первых трех строках повторяется тот же мотив, который был в рассказе «Есир». Но с 4-й строки появляется новый мотив: «чернильные струи» — символическое сопоставление воды и чернил. Образ чернил считается одним из главных символов поэтического мышления Хлебникова. Здесь мы должны обратить внимание на то, что поэт в этот период очень часто употребляет образ чернил, который составляет

метонимию его попытки найти «закон времени». Приведу пример из записной книжки, написанный перед самым отъездом в Персию.

«Люди делали счет времени военной кровью, мечом. Отсюда войны прекратятся тогда, когда люди научатся делать счет времени чернилами.

Война обратила вселенную в чернильницу с кровью и хотела в ней утопить жалкого, смешного писателя. А писатель хочет войну утопить в своей чернильнице, самую войну.

Вер спор — звук воль.

Кто победит?»

На этот раз сопоставляются образы крови и чернил. «Жалкий» и «смешной писатель» — сам Хлебников. Чернила являются здесь символом премудрости «закона времени», написанного чернилами. Хлебников говорит, что испанский верблюд вместо воды, в обмен на воду бессмертия Ганга, вносит «закон времени», своего рода книгу бессмертия, в Индию.

Книга — излюбленный образ Хлебникова. Его творчество — сокровищница метафор о книгах. Незабываемо стихотворение «Азия», в котором он создал образ Азии в полном сопоставлении с образами книги. Но образы книги были проникнуты барочной идеей «мир как книга». Метафорическое отождествление микрокосмоса книги с макрокосмосом мира свидетельствует о неистребимом желании владеть всем светом, иметь его в ладонях самого поэта. Не следует забывать, что поэт здесь отождествляется с

богом («А на обложке — надпись творца, / Имя мое — письмена голубые») и творцом мира, как в барочном мировоззрении.

Мировоззрение Хлебникова обнаруживает стремление к единству через «смешение» множеств. Именно это является основным принципом Хлебникова. Исходным пунктом его утопической идеи мирового языка тоже является «смешение», по словам поэта, «найти волшебный камень превращения всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянское слово». Для Хлебникова все реки и связанные с ними религии всех народов — это только «морской прибой всеобщего единства». Все книги, по Хлебникову, должны «сложить костер», чтобы ускорить «приход единой книги». А что же такое «единая книга», которая приходит после того, как сгорели Веды, Коран, Евангелие, книга монголов и т.д.? Она, разумеется, полностью равна идее «единой мысли», о которой говорилось во вступительной цитате данной статьи.

Мир новой Азии? Искренняя вера в тоталитарность самого земного шара? Возможны разные выражения. Но мы хотим обратить внимание на существование книги «Доски судьбы» — свода «закона времени». Так как в них, и даже на самом слове «доска» наложено клеймо первоначального образа книги. Хлебников был одержим поисками образа пророков всю жизнь. Он сам искренне хотел быть часовщиком человечества. Так что его книга должна быть книгой религии самого Хлебникова.



Дорогие наши подписчики!

Спешим сообщить Вам, что с нового 1996 года на Ваш журнал «Юность» вводится льготная подписка для:

библиотек,

общеобразовательных школ,

воинских частей.

В помещении редакции пройдет индивидуальная льготная подписка для:

школьников,

пенсионеров,

инвалидов,

благотворительных фондов.

Причем, подписавшись в любое время, Вы можете приобрести весь комплект уже вышедших до момента Вашей подписки журналов.

И помните: льготная подписка гораздо дешевле обыкновенной!

Наш телефон: 251-31-22.

Художник ЧИСТОГО СЕРДЦА



Анри Руссо — стихийный бунтарь против обволакивающего мещанства жизни. Он проявил изумительную решимость совершить поступок и совершил его, проявив свой талант, столь противоречащий талантам общепризнанным и столь, казалось бы, неуместный. И притом он всегда был сам по себе. Без компании, или с минимальной; без школы, но несомненно — человек культуры. Буржуазное общество толкало его в спину, направляя к конторке, к послушанию, к предначертанному служению, не высовываясь. Это враки, что только социализм приветствует появление винтиков, капитализм весь состоит из винтиков. И Руссо как бы не отпирался — в армии был храбрым сержантом, на таможене хорошим таможенником. Так длилось довольно долго — до сорока лет. Но тут Руссо восстал из мертвых. Причиной ли тому некое мистическое начало, или, если кому удобнее — воображение, фантазия, накопление творческих сил. Храбрый сержант Руссо утверждал, что когда он стоял на часах — являлись духи, искушали и сманивали его.

Мещанский мир переваривал его в себе, превращая в одноклеточное существо, вел по строго организованным дорожкам, ставил на его пути однообразно-убаюкивающие декорации. Однажды Руссо очнулся, шагнул в сторону от дорожки и нырнул за декорацию. Он попал в страну своих грез, из мелкокошного обитателя Города и Государства превратился в маленького свободного человека, заблудившегося в недрах обычной поляны, олицетворявшей великую Природу. Вспомните сказки, в которых дети уменьшаются до размеров муравья и странствуют в преобразившемся мире, где прежде малое и неприметное становилось грандиозным и даже устрашающим. Джунгли Руссо являют упруго-дышащую зелено-стебельно-лиственную массу, в ко-

торой так ощутимо шевелятся огромные листья и ярчайше расцветают невиданные будто бы цветы. Руссо освобождается от обыденности, стряхивает принужденную маску и яв-

ляется миру таким, каким сумел себя определить. Мы ощущаем за его картинами восторг удивления радостного человека, сбросившего с плеч ношу условностей и отчуждений. Свобода — итог бунтарства, ее утверждение — проявление самобытности личности.

Цивилизация уверяла Руссо ты — царь природы, ее венец. Усевшись на свой паровоз, автомобиль, самолет и т. д. — всего достигнешь, все постигнешь. Но прежде надень нарукавники и изо дня в день тащи лямку у конторки, у станка и т. д. Иначе ты обречен. Руссо не устраивало ни первое, ни второе. Ему угрожали — и машина как таковая, и машина общественная, — обоим нужен был мир серьезных, аккуратно-исполнительных человечков, расцвеченных выпивкой, сексом, маскультурой и теми вещами, которые возможно приобрести или сейчас, или в отдаленном будущем. Машина и вещь — два цепных пса буржуазного общества, воровато лаяли вокруг Руссо — то ласлились, то злобно скалились. И однажды они надоели человеку, остро осознавшему, что наступает рубеж, когда его жизнь может круто измениться. Руссо срывает фальшивый венец царя природы и сбрасывает рабские нарукавники. Меняет голубой мундир таможенника на черный сюртук. Оставаясь художником чистого сердца, как именовали так называемых воскресных художников — любителей, рисовавших после трудовой недели по воскресеньям, — он тем не менее

не хочет оставаться в любителях. Он убегает в детство, потому что оно не имеет границ, прошлого и будущего. Но его творчество не сказка. Руссо никогда не решился бы показать мышку или паука в роли ящера-гиганта. Он хотел убедить зрителя: изображенное им существует в действительности. Поэтому в его сочно-стебельных джунглях живут настоящие тигры, львы, буйволы; пусть они экзотичны, пусть принимают романтические позы, но они подтверждают реальность происходящего. Действо показывается невообразимо ярко. До ядовитости насыщенные локальные цвета. Зеленая плоть упруго трепещет, жаждет навсегда «прижать к своей груди» всякое живое существо. Поль Элюар говорил, что Руссо «умел писать мечту». Художник настолько перевоплощался, что звери, им же написанные, пугали его, и он убегал от них на улицу или открывал окно, потому что у него кружилась голова от аромата нарисованных цветов. А когда в конце жизненного пути он закономерно очутился на койке больницы для бедных, то был уверен, что его искушали дикие звери. Пожалуй, так оно и было. Звери вырвались из пампы и отомстили своему создателю. Руссо освободил силу природы, чтобы заключить ее в раму картины. Что такое творчество, как не заповедник, имеющий свои границы и охранение. В нем свой диктат. Это очень заметно в портрете Аполлинера, где рядом с поэтом монументом воздвигается величавая муза (грозная, по определению Лорки) в тунике. Воздев руку, она повелевает, она рождает слово и звук, а Аполлинер с гусиным пером и свитком в руках прилежно внимает ей... Иногда, впрочем, Руссо рисковал и вторгался в свои джунгли, выступая там, как мне кажется, в роли чародея-заклинателя, играющего на волшебной флейте, зачаровывающей обнаженных женщин, возлежащих на диванах среди зарослей, и остепеняющей диких зверей.

Вино свободы всегда пьянит. Аполлинер назвал Руссо сентиментальным Иродом. Свобода сразу же предлагает человеку трон, который тот или украшает собой, или пачкает. На автопортрете мы видим Руссо в берете XVII века, с кистью и палитрой в руках, на фоне празднично убранного парусника, моста, набережной. Руссо освобожденный и взлетающий, вдали в голубом просторе знаком вольности парит шар. Мы видим фигуру человека, осознавшего свое предназначение: «Я сам был своим собственным учеником». Отбросив венец царя природы, Руссо сразу же дал понять о своем царственном происхождении в искусстве. Ни капли не сомневаясь, он написал Пикассо: «Мы с тобой два самых великих художника эпохи, ты в египетском жанре, а я в современном». Каково?! Он отнес Пикассо к художникам культуры, а себя к художникам самой жизни. Пикассо всегда мучила необъяснимость по-

явления Руссо, он полюбил его творчество с того момента, как в лавке старьевщика за пять су приобрел портрет его работы: «один из самых искренних среди всех французских психологических портретов». Но знаменитый Пикассо и ревновал Руссо, раздражался, когда в «Спящей цыганке» видели истоки кубизма, и говорил, что чувствует вокруг Руссо тайну и находит в нем нечто дьявольское. И это утверждал человек, симпатизирующий Таможеннику и натыкающийся в его творчестве на нечто непостижимое. Салонные живописцы попросту сравнивали Руссо с дикарями каменного века и называли варваром. Но художник не внимал им и уверенно следовал своим путем. Убеждение, что он «не сам пишет свои картины, только его рука», — ощущение миссионера, жаждущего открыть зрителю то, что Л. Арагон называл «магией действительности».

Хмель свободы не только раскрепощает. Творчество благодарно заключает творца в свои охраняющие объятия. Во взлетающей фигуре художника ощущается и озадаченность... Не найти скромнее человека, чем этот почти старичок в черном скюртуке, гордо вышагивающий со скрипичным футляром и ящичком для красок. По воскресеньям художник играет в оркестре сада Тюильри. Рождаются слухи-легенды, что ночами он блуждает по улицам Парижа и с упоением играет на скрипке для влюбленных.

Красива жестокая простота жизни. Есть то, что страшит художника и что вечно юно. Девуца-война на черном лошаке стремительно и разгульно несется над обнаженными трупами, она исполнена дикой веселости и ликования, факел ее чадит, меч кажется струйкой молнии. По существу перед нами аппликация. Статичны «вырезанные» фигуры — войны, лошади, черных воронов с белыми клювами, лакомящихся трупами; сами погибшие, сломанные деревья, багровые облака — остановленный ужас... А среди убитых лежит один с лицом Руссо, который никогда не отделял себя от происходящего — ни в жизни, ни в смерти.

Аполлинер написал художнику эпитафию:

*«Милый Руссо, ты слышишь нас,
мы приветствуем тебя — Делоне, его жена,
г-н Кеваль и я.*

*Пропусти наше имущество без пошлины
через небесные ворота:
Мы везем тебе кисти, краски, холсты,
чтобы свой священный досуг ты посвящал
животиси
и чтобы ты написал звездный лик —*

как ты сумел написать мой портрет».

Бенуа называл творчество Таможенника Руссо простым, как мычание; Вламинк глупо-гениальным; но никто не избежал его магического воздействия и многим хотелось бы жить в мире Руссо.

Юрий НАЗАРОВ

«Думай. Ищи. Твоя жизнь впереди...»

Очерк



Имя заслуженного артиста, актера МХАТ им. Горького Юрия Владимировича Назарова известно российскому зрителю. Артист снялся в 140 фильмах. Фильм «Маленькая Вера», где Юрий Владимирович играет одну из главных ролей, обошел экраны многих стран мира. Секрет популярности Назарова в том, что перед нами прежде всего — личность, равнодушная к судьбам народа, Родины.

Талантлив он и в литературном творчестве. Самобытное письмо, сочный язык, глубина мысли Юрия Владимировича ставят его литературное творчество в один ряд с талантливыми русскими эссеистами.

Кто-то из писавших обо мне рецензентов высказывался в таком духе, что Назаров, дескать, не весь на экране, что где-то что-то там у него остается недовысказанным, недоосуществленным... Было ли такое говорено, не было, показалось лишь мне или сам я потом это выдумал — мне почему-то это понравилось, как-то легло на душу, показалось где-то отвечающим истине.

С седьмого еще класса вел я дневник. Не регулярно, с большими пропусками в месяцы, годы и даже многолетия, но — вел. Потом записные книжки появились (и по сей день существуют!), в которых, тоже не регулярно, но — иногда, вдруг! — пришлось что-то на бумагу. Жалко, казалось, мелькнувшую мысль, наблюдение, впечатление не записать, не зафиксировать и тем обречь на забвение — а вдруг в этом, мелькнувшем, что-то есть, вдруг кому-нибудь да пригодится, самому себе хотя бы?.. Да и о писательстве мысль иногда возникала. Не шибко регулярно и настойчиво, но — возникала.

А сегодня, когда кино наше... ну, не то чтоб совсем уж умерло, но все-таки, по моему ощущению, как-то слегка (а может, и не «слегка!») замерло, приостановилось, растерялось... А может, и не замерло, может, само в себе копит силы для нового роста и взлета?.. Бог его ведает, может, и так... Только мне пока в сегодняшнем кинематографе нашем места как-то не находится. До того тридцать лет находилось, а нынче что-то нет. И даже представить себе не могу мое возможное место в сегодняшнем кинематографе.

И тут-то и вспомнил я про свои когда-тошние «писательские» поползновения. А что? Чем черт не шутит... Конечно, не полная смена профессии, или попытка «довысказать» себя в литературе, как вон, скажем, блестяще высказал себя в бардовской поэзии актер Владимир Высоцкий. Но хотя бы себя-то, историю своего развития, мук, сомнений, поисков, воспитания души...

Короче, взялся я писать-составлять «книгу». 41, вроде, первый вариант уже готов. Дополнять, расширять, шлифовать ее я собираюсь до конца жизни...

Конечно, ни о какой коммерции тут и речи быть не может, коммерция — это не для меня. Я ведь, как это ни печально, — коммунист. Хотя в партии сроку не состоял. Но — коммунист. В душе, в мозгах. А это еще безнадежнее, чем официальное членство (официальные-то вон как брызнули в разные стороны, как крысы с давшего течь корабля, или тараканы, когда внезапно ночью свет на кухне включишь). А если в душе «коммунизм» — то... От души-то от своей куда денешься? Не вынешь за хвостик, как красную книжечку, и не сожжешь всенародно. Душа только с жизнью из тела вынимается.

И у меня, по моему непросвещенному мнению и убеждению, как-то так получается, что все творцы и создатели (изобретатели, ученые, художники), да и производители всегда, во все времена жили по... коммунистическим законам. Ведь плодами их творчества человечество веками пользуется! И — за так, бесплатно! И подавляющее большинство из них, из создателей, если не все поголовно, — никогда не получили от человечества того, что они заслужили своими открытиями, изобретениями, созданиями: ни изобретатель колеса, ни пороха, ни Ньютоны, ни Моцарты... Да и возможно ли отплатить? Сколько может стоить одно хотя бы изобретение колеса? А сколько оно дало человечеству! А кто его изобрел,

колесо, — человечество даже и не помнит, не знает. Но — пользуется! И будет пользоваться до скончания века или жизни разумной на земле. И — бес-
платно! Платить-то некому. Их нету. Кого сто, полтора, пятьдесят, десять лет, кого около трех тысяч лет (Гомера, к примеру). И мы семьдесят лет пытались жить по совести, по разуму, по справедливости, то есть по-человечески, по-коммунистически. И у некоторых получалось! У государства — не получалось, а у индивидуумов отдельных получалось: у Вавилова, у Тарковского, у Шукшина...

Ужасно не хочется расставаться с заблуждением, что человек — это все-таки что-то творческое, продукт общества, всей его многовековой культуры, опыта, пользующийся всеми благами, которые культура общества накопила за тысячелетия, но и сам, по мере сил и возможностей, пытающийся свою лепту в эту всеобщую «копилку» вносить! А никак не стандартизированное быдло, не жрущий, под себя гребущий «квалифицированный» потребитель самых высококачественных продуктов, всего, что до него накопили, не этакий самовоспроизводящийся прида-ток к машине — и больше ничего...

Из всего этого вовсе не следует, что я вообще против коммерции. Тем более против коммерции цивилизованной, не криминогенной. Хотя у нас такой, цивилизованной и не криминогенной, вроде не густо, не на каждом шагу... Ну и сам я коммерции ни с какого боку не подхожу. Ничегошеньки в ней не смыслю. Не для меня она. Но если публикация глав моей «книги» послужит ей, книге, рекламой, и какой-нибудь (тоже «поперечный», вроде меня) меценат или спонсор вдруг загорится: мол, и хрен с ней, что не «коммерческая», а вот желаю ее, книгу Назарова, издать! финансировать издание! — я не откажусь.

Одним из эпиграфов к моей «книге» — у меня там много всяких выдержек и эпиграф не один — но одним, может, самым главным, как мне кажется, тему «книги» определяющим, я взял лермонтовское, из «Мцыри»:

«А душу можно ль рассказать?»

Вот пытаюсь. Что получится — Бог весть, но — пытаюсь. И где-то неплохо себя чувствую. И по кино не скучаю...

О ДРУЖБЕ

Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью.

Франческо Петрарка

Затеял я писать эту «книгу» не вчера. Не с первых записей заведенного еще в седьмом классе дневника, но поскольку поиски и строительство себя, самовоспитание не замыкались только на себе, а постоянно искали своего места в общей жизни, все отчетливей проявлялась мысль поделиться, предложить свой опыт людям. Вдруг в нем что-то может оказаться и полезным. Хотя бы детям собственным.

Прислал мне в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году мой школьный друг Лихоносов Виктор Иванович (член Союза писателей, лауреат Госпремии РСФСР) эту книгу «Книгу для черновой записи шариковой ручкой». Люблю его.

«И если я безбожно наврал, то простите меня, друзья, — вдруг обращается он к нам, друзьям, посреди своего романа «Когда же мы встретимся». — Я

не хотел, и как ни плохо, как ни далеко мною написанное от того, что было, оно все-таки похоже на нашу жизнь, которой у нас нет и никогда больше не будет...»

«Тетрадь» ее, действительно, не назовешь: страниц триста, а то более, истинно — книга! И, точно, только шариковой, жидкие чернила расплываются. И написал на титульном листе: «Капище моего сердца. Ю. Назаров» (так и написал с «ь»!).

По В. И. Далю, «капище» — идолище, жрище, кумирня, божница идолопоклонников. По С. И. Ожегову — просто: языческий храм. При чем тут «Ю. Назаров»? И его сердце? Ну да Бог с ним, с Лихоносовым, он — писатель, ему видней... «КАПИЩЕ» — звучит! А сопровождал он это свое (или мое уже?) «Капище» таким наставлением: «И благословили его не только друзья, но и сам Господь писать заметки о своей жизни — для детей своих и в назидание будущим поколениям».

Но я, с вечной моей поперечностью (как та поперечная жена в сказке, которая даже утопнув, поплыла не по течению, а супротив!) — конечно же, никаким «капищем» свои опыты именовать не собирался. При чем тут «божница идолопоклонников»? А что?..

Первые слова, написанные моей рукой в этой Книге: «Радость неразделенная». Потому что радости слишком много было. Переполюняла! И одна беда: постоянно не было рядом того, с кем данной радостью надо было поделиться. Не одинок был, нет, но вот: поделиться бы с детьми, а их сейчас нет под рукой, а потом — с детьми, а радость идет для друга, а его нет...

Солнце — Радость! Погода, природа, простор, вода, степь, снег, ливень, гроза, зелень, весна... А плавание? Лыжи?... А лошади? Это уже не просто радость, это — восторги! Ликование!! Неудержимое, неостановимое. Душа поет, жизнь — на крыльях! Ветер в ушах свистит! А море? А Прага? А Дальний Восток? А музыка? А поэзия? А живопись? А литература? Всего не перечислишь. Как мы с ним, с Виктором, с Лихоносовым, в молодости страницами друг другу из «Тихого Дона» шпарили! Наизусть! Взахлеб! Не уча специально. От восторга!

«Всякое учение имеет то свойство, что оно гораздо легче внедряется в душу слушателя любимым наставником!» — Франческо Петрарка, «Моя тайна». Другого подтверждения, кроме Петрарки, не оказалось, но он ведь подтверждает, что любимое «внедряется в душу гораздо легче». Вот так же у нас с Витей и с «Тихим Доном» было. Да только ли с Витей? И только ли с «Тихим Доном»?

А любовь? Бывало! Задевала. Касалась. И стишки пописывали. И песенки сочиняли. И не в муку, не в тягость сочинительство-то было. Само изливалось! Не могло не излиться, поскольку душевную расписание.

Вот тут я уже почти вплотную подошел, а может, где-то даже слегка и вклинился в тему данной главы: «О дружбе».

И этой радостью судьба меня не обнесла, не обделила.

Тысяча девятьсот сорок шестой год. Переехали мы с мамой из «города», с Колыванской, с правого на левый берег Оби, в Кривошеково. Перешла мать работать с ТЭЦ-1, что в «городе», у железнодорожного моста, построенного еще Н. Г. Гариным-Михайловским, — перешла на ТЭЦ-2, что за рекой, за Обью.

Переезжали в феврале. Полуторка с вещами по степи, по снеговалам к самым «этажам» не проби-

лась, застряла в снегу. Тут же в «степи» шофер выгрузил нас и уехал. Шкаф, кровать, диван, узлы мы с мамой... Мне не было девяти лет еще, учился я во втором классе, но кто же матери первый и единственный помощник? Пока она за саночками бегала, я в чистом поле вещи сторожил, потом вместе возили, на четвертый этаж таскали. Все свезли, снесли, и только до поздней ночи, как в каком-нибудь современном фильме абсурда, стояло в чистом поле на белом снегу наше черное полированное, со старинными подсвечниками пианино, пока уже к ночи не привела мама со своей ТЭЦ лошадь с розвальнями. Какие-то мужики подсобили, может, однокашники матери по Томскому политехническому институту, которые все тут же на ТЭЦ-2 и работали и в домах этих жили.

Первым делом, когда все труды, заботы и хлопоты по переезду были закончены, вышел я погулять: обнюхаться, ознакомиться с новым местом обитания. Справа, если выйти из нашего первого подъезда, углом, с торца четырехэтажки, было высокое деревянное крыльцо с лестницей, всдушей в ларек, где царствовала наша соседка по новой квартире — Муза. За крыльцом и лестницей получалась довольно высокая, круглая ледяная горка, с которой каталась ребятня. Катались кто на чем: кто на картонке, кто без. И только один мальчик, в какой-то не то курточке, не то пиджачке (когда все были по-сибирски всерьез, в зимних пальто) прибывал вниз, уже как-то извернувшись, на четвереньках, причем тем местом, на котором сидят, — вперед! И пока все поднимались, скользили, падали, вставали, чухались, этот, с четырех-то точек, моментально вскакивал и вперед всех снова оказывался на горке. Конечно, предположить, что передо мной в такой интересной позе съезжает будущий доктор химических наук, лауреат Ленинской премии Эрнест Георгиевич Малыгин, сразу такое было трудно. Хотя еще на той ледяной горке непредвзятому наблюдателю были ясны неординарность мышления и действия этого человека.

Через несколько дней повела меня мать в новую школу. Пришли мы в первой половине дня. Шли уроки. Пустота и тишина в коридоре. Мать пошла к директору, я остался ждаль. Дверь одного из классов была открыта, и был виден что-то отводящий у доски мальчик в украинской вышитой рубашке, стриженный наголо (как все мы тогда, в военное и послевоенное время), с маленькой головкой и острой макушкой, с очень заметно торчащими в стороны ушами. Я узнал в нем моего героя, летевшего с горки на четырех точках, и робко высказал подошедшей маме желание учиться с этим мальчишкой, а она, оказывается, меня туда и определила, во второй «А» класс.

После уроков, пока я возился с портфелем (маминим, институтским еще), с учебниками (не знаю, как сейчас, но тогда я был страшным копушей), пока одевался — мальчик исчез, ушел, значит. Я бросился догонять (это я умею — догонять), догнал своего «избранника» уже где-то переходящим трамвайную линию и довольно-таки шибко устремляющимся к саду Кирова и дальше.

— Мальчик, ты в четырехэтажке живешь?

— В четырехэтажке...

— И я! Будем друзьями?!

Уговорил!

И — началось. Больше этого мальчик вовремя из школы домой приходить не будет, благо — там волноваться было некому: его мама, Клавдия Алексеевна, была учительницей и вкалывала с утра до ночи, за Эриком приглядывали соседи. А у нас с ним началась новая жизнь.

Дорога от школы до дома, на которую должно было уходить не более пятнадцати минут, занимала у нас с Эриком при возвращении часа полтора-два, а то и больше.

Была такая замечательная сибирская игра «в корбочку». Инвентарь для игры — самый простой и неприхотливый: кусок смерзшегося конского навоза (который и считался «корбочкой»; ледышка хуже, она — тяжелей и больше ноги в валенках отбивала, навоз — то что надо!). Конная тяга широко распространена была тогда в стране и у нас в Кривошеково, естественно, — так что с инвентарем проблем не было. Кто-нибудь первым кричал: «В корбочку, чур, не мне водить!» — замешкавшийся становился «водилой». Его задачей было: пиная эту «корбочку», попасть ею в ногу кого-нибудь из играющих. На свежем, не загазованном еще воздухе эта простая игра, мне кажется, развивала ловкость и смекалку, укрепляла и закаляла.

Но не только «корбочка» была, и других «дел» хватало... Незадолго до поступления в школу я — был грех — как-то очень интенсивно, углубленно и с живой заинтересованностью освоил русский мат. Ну, не весь еще, естественно, но самые начала, краеугольную его основу. Эрик в этом вопросе к тому времени, казалось, не столь преуспел. Ну мог ли я по-жлобски отчужденно хранить в тайне богатства своих познаний и широко, по-русски, бескорыстно не поделиться с новообращенным другом? Конечно же, не мог. Клавдия Алексеевна, мама Эрика, кажется, приложила в то время немало усилий, чтобы как-то приостановить столь бурное «просвещение» сына в данной области. С третьего уже класса мы с Эриком никогда больше вместе не учились, я остался в «А», а его мать перевела в «Б», от меня подальше. Школу он закончил с серебряной медалью, может, действительно, какую-то роль сыграла частичная изоляция от «друга». Друг закончил школу без медали. Ну, правда, и без троек.

Потом у меня Шуйкинское училище с перерывами, у него — Химико-технологический им. Д. И. Менделеева (МХТИ). Потом я в Москве застрял, он вернулся на родину. Развела жизнь, растащила... Но мы как-то и по сей день остаемся веселыми кривошекинскими пацанами.

Все те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам...

— Кривошеково!

Да, в общем-то, и мир нам не «чужбина», просто у Александра Сергеевича... может, слова и не все к нам подходят, но — музыка! Общий настрой души, отношения, любви друг к другу — наши. Мои! Да какой же бы он классик был, если бы каждое последующее поколение не находило у него таких щемящих отзвуков, так поразительно точно соответствующих их, последующих поколений, позднейшим всплескам и разливам души? Конечно же, «все те же мы!» И «куда бы нас ни бросила судьбина и счастие куда б ни повело», — Кагана вон нашего не то под Бостон, не то в Канаду куда-то унесло — ну и что? Мы Валька как-то чаще по фамилии называли, причем по-русски склоняя и делая ударение на последнем слоге. Правильнее он был, конечно, Каган, а мы... не то передразнивали кого-то из наших не шибко грамотных военруков, повеличавших Вальку Кагана «Каганом», а потом и сами привыкли. Да так, по-русски-то склоняя, было и веселее, и теплее, и роднее... Валька никогда не возражал против такой интерпретации своего имени-фамилии в наших устах.

С Каганом мы в музыкальной школе вместе учились, в четыре руки играли на концертах по клубам

Кривошекова, в основном почему-то в «праздники» Выборов. Меня считали очень способным к музыке, Валек был работоспособным. Я закончил музшколу на тройки, он — на пятерки.

Каган наш — тоже доктор, только технических наук, какую-то штуковину изобрел, система «Секстет» называется (не в память его музыкального детства, а потому что шесть уловов эта штуковина имела). Вокруг этого «Секстета» японцы у него тогда с тысяча девятьсот семидесятого ходили, пропадали без этого «Секстета», ни дохнуть, ни охнуть не могли. Японцам надо, нам — нет. У нас и так свободно дышится, нам и без «Секстета» хорошо. По телевидению новосибирскому Кагана показали, похвалили, ну а «Секстет»...

Вот Каган и уехал. И дачу с баней в Каменке оставил, и «Секстет». Не мне его судить: там у него дочь с внуком — куда от них?

Но вот душа наша общая, изначальная... Что с ней-то будет у Кагана? И как бы кто сейчас снисходительно и криво ни ухмыльнулся по этому поводу, я-то знаю моего Валька: икнется ему. Не раз икнется. И не больно икнется — сладко! А оттого, может, еще больнее, что сладко-то... Ну кто, кто в Бостоне, в Канаде ли, даже если по какому-нибудь сорок девятому каналу ихнего суперчудодейственного телевидения и уловит он, допустим, «Приключения капитана Врунгеля», — кто там, в Канаде-Бостоне, знает, вспомнит, что в кривошековском Соцгородке, в «11/12» (так кагановский дом назывался) в тысяча девятьсот сорок шестом году Валька Кагана «Ломом» величали в честь славного старпома капитана Врунгеля, — а кривошековские помнят...

Владивосток — Сан-Франциско — острова Полинезии, Микронезии, Меланезии — Австралия — Сингапур — Владивосток... Пять месяцев в море... — пригласили моего Эрика... пардон, доктора химических наук Малыгина Э. Г., в кругосветное плавание на научном судне по такому маршруту. А стать моряками мы с ним мечтали чуть не с первых дней дружбы. А каждый самостоятельно и до знакомства. И сегодня, когда меня от родного кинематографа в дрожь и судороги бросает, так сладко вдруг возжелалось: эх, уйти бы в море... да с другом! Пусть всего на пять месяцев, но подальше от кино, от всего этого маразма бравого массового идиотизма...

Звоню другу (друзьям шестой десяток лупит!) в Новосибирск, ошарашиваю его этим... бредом? мечтой? фантазией? И что же друг? А вот...

«Юрочка! Сидел я, скреб в затылке и высидел эту «рыбу». Ты присмотришься, может быть, в этом есть рациональное зерно?»

Глубокоуважаемый... Рейсы Вашего научного судна скупно освещаются в печати, однако неофициальные сведения, которыми мы располагаем, позволяют судить о важном вкладе в развитие отечественной биологической науки, который вносят эти экспедиции.

В связи с этим у нас возникло возможно неожиданное для Вас предложение по участию в очередном рейсе Народного артиста РСФСР Юрия Владимировича Назарова, актера студии «Мосфильм»... — и так далее, в том же духе, за подписью какого-то киношного светила...

Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней. Но это ли не друг? Это ли не радость моя вечная, непреходящая и неиссякающая на протяжении уже сорока пяти лет?!

А Витя Лихонов? С Озерной улицы. Что за базаром, у Демьяновского болота...

Эрька, Каган, Витька... Мелькал где-то на слетах наших, районных и городских, пионерских, тоже с двумя лычками на рукаве (все мы вышли из школьной «партократии»!), в аккуратненьком кителечке с белым подшитым воротничком, лобастенький, стриженный, как все мы, а к концу шестого класса, когда нам милостиво было разрешено отпустить шевелюры, уже и закучерявившийся. К самому концу учебного года наш шестой «А» чего-то всем коллективом набедокурил и в качестве наказания приказом директора был вновь острижен под «ноль». Как же мы горевали горько — но не смертельно! — обижены и унижены, когда соседи, «бэшки», и Витька, и Эрька, и Каган в их числе, щеголяли уже отросшими, вьющимися чубами.

Не только на слетах мелькал Витя, и в спортивном зале, где к концу седьмого класса имел уже третий спортивный разряд по гимнастике (и на аккуратненьком кителечке рядом с комсомольским значком красовался крутенький с зеленым ободком значок третьего разряда!), на футбольном поле, куда меня и за класс-то играть только в самых безвыходных случаях и сильно, кисло скриворотившись брали, числился я в собственном классе, невзирая на все свои лычки, в самом бесперспективном «дубле». А Виктор блистал в школьной команде! В новеньких бутсах (откуда? или наградили где-то, или мать разбихалась — доставала), в нападениях! (Мне если и доверяли от безвыходности, то только защиту.) На левом краю! — предмет особой гордости: на правом-то и дурак сыграет... Как они с Вовкой Кирилловым «мотали» и «болтали» защиту всех противостоящих нам команд! На футбольном поле Витя был бог...

Где-то конец седьмого класса, тысяча девятьсот пятьдесят первый, наверно, год...

На каком-то не то «вечере» (у нас были не «дискоотеки», а «вечера»), не то празднике ставили у нас в школе пьесу, вроде, А. Симукова, «В начале мая». Может, не совсем так, но что-то там в названии с маем было связано. Что это была за пьеса? Кто в ней играл, участвовал — убей меня сейчас, распни — не вспомню. Навек врезалось в память лишь одно: где-то в середине пьесы — раз «В начале мая», стало быть, как же могла обойтись пьеса без грозы? — гроза и разразилась, естественно, не в школьном зале, где шел спектакль, а, так сказать, отраженно: выскакивал на сцену... опять же Витя! В закатанных брюках, босиком, в майке, с мокрыми кудряшками на голове, со спасенными от грозы и грязи спортивными белыми тапками в руках. Нынешней молодежи трудно все это представить и понять, каких героических трудов стоило нашим матерям «справить», как они говорили, сыну-дочери одену: пальто, костюмчик, обувь... Потому-то и берегли! Пес с ними, с ногами, «не сахарные, не растаем!», главное — обувь спасти! Другой не будет.

И вот выскочил этот пацан на сцену, и со сцены пахнуло в зал весенней грозой. Молодостью. Жизнью. Правдой. Простой, не высокопарной, а живой, понятной каждому, доступной и... радостной! И так захотелось — тоже, туда же — на сцену! Чтобы вот так же выскакивать и такое же с собой приносить! Ведь если у меня, сидящего и бездействующего в кресле, душа переполнялась восторгом только при созерцании этого скачущего на одной ноге, пытающегося вытряхнуть из ушей воду и смеющегося от счастья, что спас тапочки, — если мне, только глядя на это, становилось на душе так светло и хорошо, как, действительно, в промытом и очищенном грозой воздухе, — то каково же было ему, Вите?..

И вся моя дальнейшая судьба прямо тут же была

и решена; только туда! только за этим пацаном! Не все дальше в моей судьбе было гладко и несворотимо магистралью, метался туда-сюда, что-то бросал, чего-то искал, но из обширного русла ИСКУССТВА вывернуться так никогда уже и не смог. А первым, кто меня властно и могуче втянул, вовлек в это русло, — был Витя Лихоносков.

Учили меня музыке, пел у меня отец незадолго перед смертью в первом, открытом в конце войны Новосибирском театре оперы и балета, посещал я с детства театры и кино, и книжки у нас в доме читались, и романы пелись — но все это было как бы беспорядочным накоплением впечатлений, наряду со многими другими, не менее, а пожалуй, даже и более сильными: деревня, река, пароход, лошади, сенокос, мечты о море... Но вот когда я сам себе точно и определенно сказал — да, я хочу туда, на сцену, — это было на том самом школьном спектакле по пьесе А. Симукова. И последней каплей, переполнившей чашу, был Витя.

Ну, а дальше все пошло само собой: драмкружок — там Виктор был уже примой, соупутствие и содействие ему на этой стезе везде и во всем, не без доли здорового соперничества, но главным образом — соупутствие и содействие. Соперничество выражалось в основном в том, чтобы не слепо подражать и следовать за ним, а искать что-то свое и стараться достигнуть его уровня, пальму первенства я всегда безропотно и чистосердечно отдавал ему.

Ну а как мы дружили? Непростые были взаимоотношения. Разные... Так ведь и жизнь тоже не гладко катилась. Непростая была жизнь. И разная. И родители с нами маялись, и нам несладко приходилось. А кому когда легко было? Когда легко бывало молодой душе, входящей в мир, ищущей себя и свое место в мире?

В Москву, в театральное училище поступать — это его идея была, витькина. Он первый — узнал где-то? решил? придумал? — даже не знаю, — он сказал, а уж я — за ним. И Эрке Менделеевский Витя нашел и подсказал. И поступать в Москву мы поехали втроем. Только Витьку не приняли... Мы с Эркой поступили, а Витька не прошел ни в один (их ведь пять вузов в Москве было, где «учили на артиста»: Школа-студия МХАТ, ВГИК, ГИТИС, Щепкинское при Малом театре и наше, Щукинское, Вахтанговское; и мы, естественно, подавали и сдавали во все). Вся эта история легла в основу сюжета виковского романа «Когда же мы встретимся...»

Без него я тоже... полгодика поучился да и бросил. Театральное в Москве! Сам. То был тысяча девятьсот пятьдесят четвертый, а в пятьдесят пятом мы с Виктором в Новосибирский сельхозинститут поступали, на агрономический факультет. Поступили. Только учиться не стали. Я — сразу документы забрал, он маленько погодя. Вот тут меня тетя Таня, витькина мать, «залюбила» как когда-то Клавдия Алексеевна, когда я Эрку во втором классе «русскому» языку обучал. Дневниковая запись девятнадцатого октября пятьдесят пятого: «Меня уже ненавидит витькина мать за то, что я его с пути сбиваю. Хоть это и не так, но ответить мне нечего...»

А дружба-то продолжалась! А может, тут она как раз основную свою закалку и испытание на прочность и проходила? Мордобоев особенных между нами не вспомню, но ссоры, обиды, охлаждения были. Бывали. И не мелкие. К Кагану вон какие-то претензии были, а может, просто всплеск юношеского антисемитизма. А ведь это Валеку навел нас с Витькой на мысль — и на дело! — «Раз вы искусством собрались заниматься, значит, надо наблюдать жизнь!» Ис-

тина? Истина. И мы взялись. А кто больше всего расположен к откровенности? Конечно же, пьяный. Ни одного пьяного мы не пропускали! И им было хорошо, пьяни-то, — было кому душу излить, были благодарные слушатели; и нам полезно: как же это тренировалось! И наблюдательность, и память: попробуй-ка, запиши потом по памяти три-четыре разговора, рассказа, исповеди...

С детства еще решили и договорились: всегда упрекать друг друга на ошибки. Как бы тяжело и неприятно это ни было. Со стороны ведь видней. Все, вроде, просто, как учили, как заведывали... А почему нас плохо должны были учить?

«Угодливость родит приязнь, а правда — злость», — знал и писал в комедии «Андриния» Публий Теренций более чем за тысячу лет до введения еще письменности на Руси. Все это так и с классиком не споришь. И тем не менее! Когда правда не злая, а доброжелательная? Когда правда не в том, чтоб горбату напомнить о его уродстве, хотя это тоже правда, но правда злая и бесперспективная, исправить ее невозможно, эту горькую и досадную правду, — но вот лентяю или разгильдяю, который плачется на свою судьбу, указать причину его бед — его собственные недостатки, но которые МОЖНО ИСПРАВИТЬ, — вот эта правда действительна и благотворна. И научиться говорить такую правду и слушать ее — это ли не школа жизни? не школа ДРУЖБЫ?

А это ли не дружба? Все тот же тысяча девятьсот пятьдесят пятый год, восемнадцать лет, поиски, метания, неопределенность, самобичевания. Из дневника:

«31 июля 55. Валяюсь, выламываюсь дома, один, как сытый жеребец по весне в одиноком, запертом стойле. Кто запер? Лень и дурость — две мои верные, неотступные подружки, преданные до гроба...

В театр охота — знаний мало, таланту нету...» — «какого нужно?» — витиной рукой и подчеркнуто (мы время от времени давали друг другу свои дневники на проверку в порядке регулярной исповеди). «Какого нужно?» — и подчеркнуто!

«Витьку надо... В институт без Витьки не иду...» — и его «резюмация»: «Дуррак!!!!» (Так и написано: два «р» и четыре восклицательных знака.) Это ли не дружба?! Витя мой, сам в ту пору в раздрыге, в неустроенности, в неизвестности, а бьется, воюет за меня, за друга!.. Со мной, с «дураком», и — за меня!

В чем особенность того меня, восемнадцатилетнего? Щеняче-восторженное отношение к жизни, к окружающему и какая-то лютающая самокритичность, неостановимая, перехлестывающая... А может, только так и надо? Может, это и есть нормальный благотворный и верный путь для развития и становления семнадцати-восемнадцатилетнего индивидуума? А «щеняче-восторженное» отношение к окружающей жизни переносилось и на друзей — они ведь тоже были частью этой жизни!

Наверно, было бы ужасно, если б это мое самоуничижение, искреннее и истовое, точно и буквально воспринималось бы друзьями, если б и они считали меня ничтожеством, жалким, бесперспективным. Но в чем была прелесть наших отношений того времени, животворная действенность, жизнестроительство какое-то и небесперспективность для каждого из нас — так это в том, что искренне и беспощадно самокритикуясь, мы двигались, росли, на месте не застывались...

Монтень писал: каждый день «ворчу на себя, упрекая себя дерьмом. И все же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность». Но он, видимо, писал это в более позднем и спокойном воз-

расте, а в восемнадцать-девятнадцать лет и перегибы, гиперболизация (по крайней мере у меня) были абсолютно искренни, и переживания по этому поводу доводили порой чуть не до самоубийства — такая была убежденность в собственном ничтожестве.

Витя и Эрик, Каган и Пищик (был у нас еще друг Пичугин, которого мы почему-то звали «Пищик» — половина фамилии одного из героев «Вишневого сада» Симеонова-Пищика, а Юрку Пичугина кто-то окрестил «Саливон Пищик»). И Вовка Кириллов... То, что они сами себя обзывают «тупыми», «неспособными», «слабыми», «маленькими» — это все юмор. Блестящий юмор, которого мне, как я тогда считал, не дано. А они-то, ласточки-то мои! Точно так же были уверены, что это каждый из них туп и слаб, а друзья у них — ого-го, какие!.. Признание Виктора в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом уже году: «Ну да теперь не учить мне тебя в дневнике по-глупому. ЗАВИДУЮ ТОЛЬКО КАК ПРЕЖДЕ».

Чем вот такую главу закончить? Пока мы живы, эта тема в нашей судьбе и жизни, я верю в это, не может быть завершена. Разве после нашей жизни. Ну тогда кто-нибудь допишет, если это кому-то окажется нужным...

«КАПИЩЕ...»

*А душу можно ль рас-
сказать?..*

М.Лермонтов. «Мцыри»

«23 октября 89. г.Таллинн. Вылез вчера к нам на сцену прямо (выступали перед фильмом «В городе Сочи темные ночи») бо-ольшой человек («Ничем не занимался — во! — показал он на свой бицепс. — Сорок один сантиметр! — в обхвате, видимо. — У рэкётёров там у этих — тридцать три, тридцать пять, ну сорок... А у меня — 41!!!»), большой, значит, человек, крупный... В живом весе...

Несчастный — жена Дон Кихотом называет... И не только «называет»... и другие неприятности есть.

Неудачник — «кином» бредит, рвется в него, но: «Три тыщи надо, чтоб в Москву прорваться...»

Вроде, добрый и искренне несчастный — не повернулся язык послать его, поехал я к нему «на чашку чая».

Вырос он в Грозном, на Северном Кавказе, и хоть обстановка там в молодежной среде требовала постоянной готовности к самозащите, он — добрый, бесконечно добрый, это прекрасно! Но и не прав он. В чем? Скромности, самокритики, страсти к самоусовершенствованию почти нет. Говорил он много, бурно, несвязно, напористо, непонятно — говорил. Задавал вопросы, ответов не слушал... Добрый (вроде бескорыстно добрый), чистый (душой), по должности-то — бригадир асфальтоукладчиков), несчастный (жена, мечта...) и при всем том — эгоист: себя ему хочется выразить. Хорошего, замечательного, незаслуженно несчастного, но — себя!

Вот для чего «Капище»-то мне нужно бы: подделиться опытом самовоспитания. Хотя бы с этим асфальтоукладчиком Пашей... Тут все важно и необходимо: и взлеты, воспарения души в мечтах и самогорение, самоизничтожение в юношеском дневнике. Как и идеалов не предавал, и себя не щадил, не позволял себе конформизма. Может, не во все драки кидался безоглядно, но не позволял себе отступать. Изю всех сил старался не позволять...

Самовоспитание по двум рельсам должно катиться: растить в душе, лелеять прекрасные мечты, идеа-

лы — ну это не специально делается, само должно рождаться из культуры, классики прошлого, отечественного и мирового искусства, из философии, — и волю воспитывать! Которая помогала бы, гарантировала бы в трудные минуты неотступление, не-предательство, верность прекрасным своим идеалам. Вот они, два рельса-то! И по обоим двигаться надо равномерно, чтоб не скособоило, не свернуло ни в сторону бесплодного мечтательства, как героя «Белых ночей» Достоевского, ни в сторону сегодняшней бессовестной («рэкетерской», как выражается Паша) вседозволенности, когда цель только самоудовлетворение, и все силы — душевные, физические — на добывание средств, любой ценой и любыми путями, для этого самого удовлетворения... И скромности еще тут помощница: чтоб в идеалах шибко высоко не заноситься, чтоб хватило силенок верным им оставаться.

Спасибо Паше, что он такой «Дон Кихот» незлобивый среди нынешней прагматической молодежи получился (каково-то ему, русскоязычному, нынче в суверенной Эстонии?..), но и глубоко не прав он в своем спокойном, вполне удовлетворенном самим собой бескультурье... Учиться надо, Пашенька! Озверело учиться! Ненавидя, презирая и изничтожая себя за свое бескультурье.

Славная душа у тебя, Паша, есть она. Спасибо — кому? Богу? судьбе? тебе? маме? Северному Кавказу? — но есть, есть она, душа. У многих, у очень многих сегодня нет ее, у тебя — есть. Есть человеческая душа. И друг твой Володька с рижского парохода тому доказательство: друзья прилепляются все-таки к душе. Но слабенькая она, Паша! Укреплять ее надо. Воспитывать. Врагов и опасностей у нее — пропасть: эгоизм примитивный, младенческий, страсть самовыразиться, «доказать», показать себя, прославиться. И хвастовство... И водка...

И бескультурье, бескультурье, бескультурье...

Был задан мне одним очень милым редактором вопрос: «Как преподавать литературу в школе?» Была задана такая тема. Для статьи, для размышления...

А меня, действительно, давным-давно мучает этот вопрос. Почему — Бог весть... Может, потому, что я всегда как-то очень серьезно относился к воспитанию детей?..

Не знаю, кому какие радости кажутся слаще, надежнее, вернее, долговременнее, — по моему разумению, самое надежное — это дети. Тут тебе и продолжение твое, надежда на вечность, неиссякаемость твоя и вечная радость. Мое скромное, но твердое, не побоюсь сказать, непоколебимое убеждение, что счастье и надежность — только в детях. Причем, в детях *воспитанных*. Себя самого, по крайней мере, я убедил в этом однозначно. Вопрос — как их воспитывать? В общем-то все это давным-давно известно: Монтень еще в XVI веке, следуя Платону (а это V—IV века до н.э.), советовал воспитывать «не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя членить его надвое... нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней». Но поскольку никакой статье, даже самой пронизательной и гениальной, не дано добраться до тела, это уж удел практического воспитания, — стало быть, нам остается заниматься только душой, только поразмышлять, только порассуждать.

Уж не помню, вычитал ли я где, или вымучил сам в своих давным-давнишних раздумьях и поисках, что художественная культура — а литература в первую голову! — это ведь та же религия, то есть идеология,

нравственный кодекс, символ веры, только — со свободным выбором. Старые религии не очень-то позволяли выбирать, там все четко было. А если кто-то, к примеру, будучи рожден правоверным христианином, вдруг возлюбил бы Падшего Ангела, проникся к нему симпатией да еще, не дай Бог, воспел бы его где, да вслух — за это в свое время недолго было и на костер угодить. У праведных, Богу верных, свято чтивших заповедь Христову: «Не убий!» — убивали. Привязывали, поджигали... И Жанну д'Арк спалили, спасительницу Франции, и Яна Гуса, спасителя Чехии, и Томаса Мора, который при всем своем уме и образованности никак не мог понять, чем и почему протестантизм лучше и правильнее католицизма, и Мигеля Сервета, открывшего кровообращение, и Джордано Бруно... И еще бо-ольшую армию других, самых вредных для Земли, для Человечества людей. Леонардо да Винчи и Микеланджело чудом избежали этой участи. Только Запад занимался этим раньше, Гитлер попозже, да и мы немного задержались.

В поисках опоры для своих раздумий и рассуждений к чему приходится обращаться? Только к опыту. И в основном, к своему, ибо опыт других — он тебе и не столь всеохватно известен, как собственный, и не столь ощутимо, пронизывающе тобой прочувствован.

Почему я благодарен своему времени взросления и образования? Многие не благодарны, порицают. И время, и школу. И не только глупые. «Выйдя из школы... и окончив... курс наук, — писал тот же Монтень, — не вынес отсюда ничего...» А вот Пушкин благодарил: «Чему, чему свидетели мы были!», «Наставникам, хранившим юность нашу... не помня зла, за благо воздадим». И я благодарен. И школе, и наставникам, и времени. Интересное было время. Всякое...

Время моего взросления... Осознания себя в мире и мира вокруг себя. Всего, что происходило в тот момент и когда-то. Прикосновение к Истории! Причем, не как к отвлеченной науке, а к истории *моей* страны, *моего* народа, *моей* истории, не поняв, не вникнув в которую, мне самому невозможно дальше ни жить, ни развиваться, ни двигаться куда-то... Восприятие и ощущение нашей истории как неотъемлемой части меня самого, моей души, моей сути, моей личности.

Школу я закончил в 1954-м году, училище Щукинское — в 1960-м, немножко что-то соображать... ну, не *понимание* еще, конечно, а начинающееся только-только осмысление, попытка осмысления, потребность понять самого себя и все, что вокруг, вблизи и подальше, во времени и пространстве, — все это зачиналось, начинало пробуждаться где-то в восьмом, в девятом классе. По календарю, стало быть, тюленька в тюленьку, пятидесятые годы.

50-е годы... Начало их вытекает из последней, может быть, самой жуткой по бессмысленности, по идиотизму волны сталинских репрессий, потом смерть Сталина, потом крах Берии и первый могучий удар по, казалось, навечно бесконтрольному уже всесилью КГБ, потом XX и XXII съезды с первыми разоблачениями, еще робкими, ничего не объяснившими (оно и до сих пор, по-моему, толком не объяснено, только треск, только — эмоции...), но всколыхнувшими, раскрывшими... да нет, не раскрывшими, но давшими возможность пусть не раскрыть еще как следует, но хотя бы *приоткрыть* наконец глаза. С разоблачениями, пробудившими умы и души. Очень непрыстыми были 50-е... А какие были простыми?

А в родном моем новосибирском «Красном Факеле» — в те же самые пятидесятые — ренессанс!.. Почему? Непонятно, нелогично, но — ренессанс. Чеховская «Чайка», изумившая, восхитившая и покорившая Москву во время гастролей 1953-го года. А «Зыковы» Горького?! Это аж из 1943-го года еще спектакль, но я-то увидел его в 50-е. А позднее: «Сирано де Бержерак» Ростана, «Бесприданница» Островского, «Село Степанчиково» Достоевского, «Живой труп» Толстого! А до того — «Вей, ветерок!» Яна Райниса, «Песнь о черноморцах» Б. Лавренева, «Свадьба с приданым» Дьяконова, «Женихи» Токаева, да сколько еще не названо. Классика! Мировая и отечественная. И национальная. И современная.

Люблю я время моей молодости... Мне даже неловко перед современной молодежью за то, какими в их возрасте мы были счастливыми...

Хорошее было время. Голодное, холодное, бесштанное, но... замечательное!

Давно утих, улегся оголтелый разгул свободы 20-х годов, когда «освободившиеся» от всего, и от совести и разума в том числе, наглые и нахальные псевдоинтеллектуалы и авангардисты «сбрасывали Пушкина с корабля современности», «Рафаэля с Растрелли расстреливали». В школьные программы давно и прочно вернулась классика. Не вся еще, но вернулась! Жаль, что не навсегда... В театрах и на экранах не ставились не чернуха, не абсурд, не порнография с защитой свободы интересов «сексуальных меньшинств» (гомосексов, зоофилов, некрофилов и тому подобных искателей радости), а классика. И Шекспир, и Лопе де Вега, и Гольдони, и Эдмон Ростан, и Шеридан... А наши? И «Недоросль», и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Маскарад». И Островский, и Сухо-во-Кобылин, и Глеб Успенский, и Чехов, и Горький.

Нет, были, конечно, и «Незабываемый 1919-й» с панегириками вождю всех времен и народов, и неискоренимый Корнейчук с топорными иллюстрациями к передовицам того времени, и иже с ним, не столь громкие и заметные, как он, но не менее вредные и антихудожественные. Ну, может, вредные — менее, поскольку вот сходу не приходят на ум, слава Богу, забылись, а Корнейчук крепко засел в памяти... Но вместе с тем советские экран и сцена просто-таки кишели классикой. Русской, советской, мировой, национальной. И американская киноклассика «золотого века» их кинематографа тоже добралась до нас «в качестве трофея» из отбитой у Гитлера Европы. И французы с англичанами, и немцы. А тут и итальянский неореализм подоспел...

И опять же: свобода выбора была! Кто наслаждался Кочетовым, Бабаевским, «Белой березой» Бубеннова и «Алитетом, уходящим в горы» Семушкина, а кто с жадностью, вседушевным приятием и восторгом ловил проблески интеллигентности в пьесах Симонова («Так и будет!», Погодина («Сонет Петrarки», «Маленькая студентка»), Крона («Второе дыхание»), в прозе Виктора Некрасова — я говорю только о 50-х и о том, что было разрешено, было доступно всем.

И ведь не бесплодными оказались пятидесятые. Для моего поколения — как время взросления и осмысления себя в мире и мира вокруг. Мое поколение дало, на мой взгляд, абсолютно бесспорные ценности в области духа: тут и Распутин с Вампиловым, однокурсники Иркутского университета в пятидесятые годы, и Щукин с Тарковским, однокурсники ВГИКа (мастерская М. И. Ромма) в то же время, и еще, поди-ка, найдутся...

Была у нас свобода выбора, была! И Достоевский

не был сожжен, как (судя, правда, только по кинохронике) в Германии фашисты сжигали Маркса, Гегеля, Гете и прочую гордость немецкого народа. Не переиздавался тогда Достоевский — это было, но в библиотеках и у букинистов был вполне доступен. И Бунин был доступен, и Есенин. В школе их очень «проходили», но упоминать — упоминали. А тут к концу 50-х пошел один за другим Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон, уже в публикациях и переизданиях, не только то, что уцелело от изданного в тридцатые годы. Да, кстати, и Достоевского начали переиздавать, и других потихонечку.

Была у нас свобода. Пусть не разумно предоставленная, не мудро и предусмотрительно дозированная, пусть случайная, разгильдяйская, но — была. Я вон, к примеру, позволял себе в трагическом пятидесяти третьем, — пятьдесят четвертом учебном году, заканчивая десятый класс, когда «оттепель» еще и не начиналась, особенно у нас в Сибири, только-только Сталина похоронили да Берию «разоблачили» — в общем, до плюрализма далеко еще было, — а я как-то позволял себе не ненавидеть «утешителя» Луку в «На дне» у Горького (чуть не написал «Нижнего Новгорода»...) и кулака Якова Лукича Островнова в «Поднятой целине» Шолохова. Вроде велено было и ненавидеть и осуждать, а я вот не ненавидел. И не осуждал. Целиком не осуждал: конечно, сцена убийства Хопрова, на которое Яков Лукич со страху и вынудил Половцева, и организовал, а сам и трясся при этом, и блевал, — эта сцена никаких хороших чувств к Якову Лукичу не вызывала. Но как он к агрономам прислушивался да культурным хозяином стал — в этом-то что же плохого? Погоревать только, что «жизнь так повернулась», что вместо развития своих культурно-хозяйственных способностей пришлось Лукичу убийствами и прочей античеловеческой пакостью заниматься.

А Луку из «На дне» и вовсе осуждать вроде не за что было, хотя к тому настойчиво призывал автор, «основоположник» соцреализма. Правда, попозже призывал, не когда писал на рубеже веков свою гениальную, прогремевшую на весь мир и покорившую мир пьесу, а уже в тридцатые годы. Сам основоположник, самого соцреализма призывает осуждать и ненавидеть «утешителя», а в моей душе что-то упрямо противится этому. Потом, уже в Москве, учась в театральном училище им. Б. В. Шукина, я вдруг узнал, что не я один не доверял позднейшим призывам «основоположника». Первый исполнитель и полноправный соавтор Горького в деле создания образа Луки, народный артист СССР Иван Михайлович Москвин тоже, оказывается, не верил этим позднейшим «осуждениям». Не верил и не скрывал этого: «Как мне было горько, — признается он в статье «Мой Лука» в декабре тысяча девятьсот сорокового года в связи с выступлением на тысячном спектакле «На дне», — когда Алексей Максимович в 1932 году стал отказываться от своего Луки. Писал, что такие «утешители» «утешают только для того, чтобы им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души». «Утешители этого рода — самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэту и самые вредоносные... таким утешителем должен был быть Лука, но я, видимо, не сумел сделать его таким». Вот с последними словами я с Алексеем Максимовичем согласен и прибавлю еще от себя, что когда он писал Луку, то он не то что не сумел сделать его вредоносным утешителем, но и не хотел. Иначе, чем объяснить то его огромное волнение во время чтения «На дне» у нас в театре, когда в сцене Луки с умирающей

Анной он остановился в середине монолога Луки от мешавших ему слез и, вытирая смущенно глаза, сказал: «Здорово написано».

И И. М. Москвин никак не поплатился за свое несогласие с основоположником, и я — мыслил себе «инако» и мыслил. Можно было. Никто не грозил мне ни Голгофой, ни эшафотом, ни даже проработкой на комсомольском собрании. Никто не преследовал меня, не распинал и не порывался. Судя по нынешней прессе, это в наше время никак не допускалось! Допускалось. Никаких ни эксцессов, ни притеснений, ни «репрессий», все тихо было. Надо сознаться, Яков Лукич и Лука не завладели целиком моей душой, как в свое время — каждый в свое — д'Артаньян с компанией, Павлик Корчагин, Лопухов, Кирсанов и Рахметов, Печорин, Кола Брюньон, Григорий Мелехов и др. Лука и Яков Лукич нравились мне не целиком и безоговорочно, а местами. Не было могучего внутреннего позыва, потребности бросаться в бой за них, отстаивать, защищать. Да в общем-то никто на них особенно (на Луку с Лукичом) и не нападал.

А вот в тысяча девятьсот шестидесятом году в Школе-студии МХАТ я видел дипломный спектакль «На дне», где Лука был специально (режиссерски, постановочно) дискредитирован, смешан с грязью, раздавлен (морально), как таракан, и уничтожен в полном соответствии с позднейшими заветами автора и основоположника. В третьем действии, после того, как Василиса обварила Наталью, а Пепел убил Костылева, в дополнение к ремаркам Горького — у Горького третье действие кончается общей суматохой, скандалом, а только в четвертом выясняется, что во время этой суматохи Лука куда-то исчез... А как ему было не исчезнуть? Тут убийство, значит, будет полиция, а полиция — это неизбежная проверка документов, а у него их нет, а на Руси, еще Герцен это отмечал, всегда было страшно не наказание, а судопроизводство, и все обитатели ночлежки это понимали, и никто Луку не осуждал. А здесь, в студенческом спектакле, по опустевшей после суматохи в конце третьего действия сцене долго и непривлекательно мечется Лука, не зная в какую сторону кинуться бежать. Долго мечется, демонстрируя страх и трясение за собственную шкуру, и чтобы зритель успел сообразить, какой он нехороший эгоист и себлюб, тут трагедия, а он только ко себе печется, а прикидывался таким проникновенным христианским альтруистом, страдальцем за всех и вся, помощником, утешителем, спасателем...

«Завет» был исполнен, утешитель заклеен, но все ведь видно было! Все можно было уже разделить: вот на потребу моменту... да не моменту, а недалекому направлению ума начальства на тот момент, вот холуйская, рабски исполнительная, профессиональная режиссура, раз «ложь — религия рабов и хозяев», значит, это плохо, значит, и носитель этой философии должен быть мелким себлюбом, пакостным обманщиком, лишь бы запудрить всем мозги своей якобы добротой, а запудрив и охмутив всех — и попользоваться этим, погреть на этом руки. Хотя чего уж там шибко жирно «нагревал» для себя Лука? Ну, переночевать пустят, хоть в грязи, да в тепле, не под открытым небом.

А ведь это замечательный пример четкой работы примитивной «командно-административной» философии, которая свято убеждена была, что народ — было, что мы — страна безнадежных идиотов, которым надо все разжевывать и в рот класть, сами мы никогда ни в чем не разберемся, не поймем, что такое хорошо, а что такое плохо. И Горький к тридца-

тым годам своими «заветами» погрешил в пользу этой философии. А кто у нас без греха?

А в девятисотые годы молодой и «анафемски» талантливый писатель создавал свою великую пьесу не для баранов, не для идиотов. Для умных. Для просвещенных.

Для свободного человека, человека с истинно свободным выбором, пожалуйста: вот Лука, очень добрый, очень хороший, милосердный, замечательный, кому какое дело, с паспортом или без? Пьеса для людей писалась, для Человека. Не для могучей армии позднейших, добровольно обездушивших, обезмозгивших, что ли, себя, добровольно доведших свои мозги и души до полной атрофии, ампутировавших свои души и мозги за полной их ненадобностью и даже какой-то досадно мешающей «подногамиболтающестью». Пьеса писалась когда-то не для этих, а для нормальных, живых еще, разумных, сарпиens которых по науке когда-то называли. Которые могут понять и разделить: вот — Лука, а вот это — его философия. И сам по себе, как человек, он может быть очень милым, добрым, хорошим, но философия его, утешительство, ложь его — пусть святая! во спасение! но ложь — для слабых, для маленьких. Сладкая ложь во спасение — она ненадолго, не навсегда. Правда страшней, жестче, а то и жесточе, но надежнее. Она не рухнет, как ложь. Закалил себя, взрастил в себе силы, способные выдерживать горькую и страшную правду, — зачем тебе сладкая недолговечная ложь? Ложь — религия рабов и хозяев, правда — вот Бог свободного человека! Сатин не вяжется с новейшими «заветами» основоположника: «Много он врет... и без всякой пользы для себя», — какой тут хитрый утешитель, греющий руки на людской доверчивости? При всем том, чисто по-человечески Лука гораздо милей и симпатичней Сатина, но! Философия — мне лично — дороже и предпочтительнее сатинская: «Правда — вот Бог свободного человека!» Не нужна мне ложь, религия рабов и хозяев.

Зачем в школе, по позднейшим и не самым праведным заветам Горького вколачивали в юные мозги, что Лука и его философия — это плохо, отвратительно? Зачем было наталкивать Человека? Навязывать ему — Человеку! — какие-то мысли и выводы? Почему было не довериться Человеку? Не поверить в Него? Как доверял Ему и верил в Него на заре века молодой Горький?

Зачем по поводу Ленского в «Евгении Онегине» вдальблывалась только половина гениальной пушкинской антитезы:

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчитесь гимн времен,
Благословенне племен.
А может быть и то: поэт
Обыкновенный ждал удел.

Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постели
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и врачей.

Почему нам вдальблывали только то, что Ленский «носил бы стеганный халат», «пил, ел, скучал, толстел, хирел»? Когда у Пушкина с той же долей вероятности — только в первую очередь! — предположено, что Ленский мог быть рожден «для блага мира»? А у нас...

Как вот преподавать литературу в школе... Иду я сегодня, четырнадцатого декабря, и радуюсь: наконец-то над Москвой, которая до середины декабря простояла... черная какая-то, нет, не слякотная, не противная, но какая-то... не русская. Среднеевропейская какая-то... И даже не декабрьская среднеевропейская, а скорее октябрьская. И вот наконец-то: «Белый снег пушистый в воздухе кружится...», «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе...», «В полдень дождь перестал, и, что белый пушок, на осеннюю грязь начал падать снежок...», «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях...», «...только крыши, снег и, кроме крыш и снега, — ничего...»

Господи! Да сколько же их у нас! Да каких! Это только первое, что наугад посыпалось из памяти. А сколько еще?! Если порыться!.. В памяти, на книжной полке... И подумалось опять о преподавании: а что, если не настырно: «Зима! Крестьянин» — и только! И — всем наизусть. Как штык, как один!..

А если на выбор? Хочешь — Пушкина, а хочешь — Пастернака, Бунина, Заболоцкого, Блока, Есенина, Рубцова... — и опять — как снега!.. Всех не перечислишь...

Ну, сегодня в школе у нас совсем-совсем иные проблемы...

Когда-то Пушкин не выказывал больших восторгов по поводу того, как у нас было поставлено образование: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Это в его-то время — «понемногу», «чему-нибудь и как-нибудь». Не выдал он нашего... (времени). Я знавал (и не одного!) работников «интеллектуального» труда, вполне достойных, конечно, по меркам нашего времени, этого определения, да еще и творческих работников, художников, которых передергивала судорога отвращения при упоминании имени... Пушкина! И я не могу их винить. Это не вина их, это — беда. Я им только соболезную. Они несчастные жертвы нашей системы воспитания и образования. Лично меня моя школа (семьдесят третья мужская средняя школа г. Новосибирска) так Пушкиным не запугала, но любовь-то к нему, всеохватную, всепронизывающую, не остывающую, — «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», а мое сердце — чего же малюсенькая частичка, как не того самого, тютчевского, «сердца России»? — так мою любовь к Пушкину заронила, возбудила во мне, воспламенила и разожгла не школа.

Был у нас, опять же в Щукинском (не только у нас, и в Школе-студии МХАТ он читал, и в ГИТИСе, а может, и еще где), был у нас замечательный лектор по зарубежной литературе Александр Сергеевич Польш. Эрудированнейший, остроумнейший, очаровательнейший Александр Сергеевич Польш. И чи-

тал он нам свою *зарубежную* литературу. Но что бы он нам ни читал: древних ли греков, римлян ли, средневековый роман, вагантов и миннезингеров, Ренессанс в Италии, Франции, Испании, Англии или английский роман восемнадцатого века, — не было, по-моему, темы и лекции, в которой он не помянул бы, не вставил, не зацепил Пушкина. Еще Петрарка шестьсот с небольшим лет назад очень точно подметил, что «всякое учение гораздо легче внедряется в душу слушателя *любимым* наставником». Тоже ответ на вопрос, как преподавать литературу в школе: любимые слушателями наставники очень не помещали бы делу. Ну а у нас, поскольку наш Александр Сергеевич (Поль) был всеми нами, студентами, и мной в том числе, горячо и восторженно любим, вот я и призадумался: уж если такой бесспорный для нас тогда и истинный авторитет, как А. С. Поль, шагу не может ступить без Пушкина, стало быть, что-то тут, наверное, неспроста! А уж дальше само пошло-поехало: заново раскрывались — открывались мне! как впервые! — и «Евгений Онегин», и «Капитанская дочка», и «Борис Годунов», и критические статьи, и исторические заметки, и письма, и лирика, — и везде блеск ума, чувства, слова, искренности, остроумия! И еще не всего я прочел его — стало быть, сколько впереди радости! До конца жизни не исчерпать!

А вот обременять нежные отроческие мозги «Евгением Онегиным»... Не знаю, как сейчас, а мы-то «проходили» «Онегина» в восьмом классе, то есть в четырнадцать-пятнадцать лет. Ну куда же? Что там можно понять в четырнадцать лет? И чем больше вдалбливать — тем большую идиосинкразию вызывать и к Пушкину, и ко всей литературе вообще. То же самое по поводу «Войны и мира» Толстого, по поводу Достоевского. Ну, разве что «Бедные люди». Да и «Севастопольских рассказов» в школьной программе я что-то не помню.

Мой дед, из крестьян Пензенской губернии, бывший на год моложе Сталина, то есть родившийся в тысячу восемьсот восьмидесятом году, на экзамене по русскому и литературе в железнодорожном училище (считай, наше ПТУ) писал о Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче. Стало быть, в программе были «Старосветские помещики». А у нас их даже не поминали. А чему они учат... Тыфу, слово приевшееся, осточертевшее... И неточное! «Учат»... Не «учат», научить никого ничему невозможно. Учит — человек сам. Если захочет. А не захочет... Так о чем они, «Помещики»? На что они настойчиво и неотвратно обращают наше внимание? К чему они, к какой мысли, теме могуче и властно приковывают наши души? Да к милосердию! А чего в наших душах сегодня такой невосполнимый дефицит? Да его же, милосердия! А сколько его умной щедрой рукой и сердцем разлит по нашей классике?! Неиссякающие родники! Животворные, изобильные! Черпай — не хочу... не хотим! Из программ убираем. Не возвращаем в них, в программы... По-че-му? Почему в школьной программе нет П. П. Бажова? Почему о Б.В.Шергине у нас вообще единицы слыхали, даже среди интеллигенции? О них человек со школы должен знать! Там и юмор, и язык, и нравственность, и милосердие, и мудрость...

Как преподавать литературу? Наверно, не должно, не вкалчивать такие «мысли», чтоб получалось, как в известной песенке:

Раскольников попал в тюрьму,
Базаров — сложная натура,
(Вариант: Онегин — лишняя фигура.)
Герасим утопил Муму —
Вот вам и вся литература...

Наверно, как-то бы рассыпать, разворачивать перед юношеством в неохватное богатство весь калейдоскоп, всю мозаику великой русской и мировой классики. В теснейшем взаимодействии с уроками истории. С уроками эстетического воспитания, музыки. Как воспринимать пушкинских «Бориса Годунова» и «Капитанскую дочку» без знания истории? И какое знание истории «смутного времени» или «пугачевщины» без Пушкина? Какое знание междоусобиц предтатарского периода русской истории без «Слова о полку Игореве» и какое знание «Слова» без знания истории того времени? А Бородин с Мусоргским разве при этом помешают? А Суриков, Репин, Рерих, Ге?

А чего бы и кино давно не взять на вооружение. Тыфу, опять «вооружение». Въелись термины. Не на «вооружение», на службу, на помощь. «Александр Невский» Эйзенштейновский — разве не помощь, не подспорье в изучении истории тринадцатого века? По личному своему опыту могу сказать: начало семнадцатого века во Франции, наверно, не самое славное и судьбоносное время во французской истории, но мое внимание навсегда приковано к истории Франции именно этого периода, и виной тому — искрометные, неувядающие, вечные, животворные «Три мушкетера» А. Дюма-отца. А сколько блестящих исторических фильмов сняли в свое время американцы! Даже не столько строго «исторических», сколь по-дюмовски, по-мушкетерски заразных, неотразимо притягательных, завлекательных, которые властно притягивают твоё внимание, не отпускают его, заставляют лезть в эту историю, копаться, ковыряться в ней. И какие-нибудь «300 спартанцев», и «Королевские пираты» с божественным Эрролом Флинном, и «Мария Антуанетта», и... и... и... Почему все это не привлекать? Почему этим всем не завлекать? Не слепо. Разбираясь. Разбирая: где история, где выдумка, где правда, где «завлекалочка». А где *идеология* снимающих в свое время и в своем месте...

Учитель (и программа!), наверно, должны рассылать, развертывать перед учеником, учениками все богатство, все разнообразие того, что имеется в данной, освещаемой им, учителем, области на сегодня, а уж ученик пусть свободненько выбирает Сам. Что его душе ближе, соответственнее, понятнее, приемлемей. Я вон тоже, на Корнейчука обрушился, а может, я и не прав.

Да и со свободой расквохтался. Свобода хороша не всякая, не абсолютная. Дай-ка полную свободу ребенку — он и дом спалит, и себя угробит. Свобода хороша разумная, про-све-щен-на-я. Как Е. Р. Дашкова говаривала («Екатерина Малая», подруга и наперсница юности Екатерины Великой): «Свобода без просвещения породила бы только анархию и беспорядок». Что мы сегодня и имеем, в полном соответствии с предостережениями первого президента российской Академии наук. Южная Корея, вон, нынешний свой скачок в экономике и жизненном уровне начала не со свободы или каких-то чудодейственных заклинаний, а с того, что все силы, все средства (или весомую их часть) бросила на *просвещение*.

В общем-то... Все наши российские страдалцы и великомученики, гордость и опора наша, чьими работами и стараниями мы до сих пор еще живы и образ человеческий не напрочь еще потеряли (хотя близки к тому), все они, любя Россию, жизнь и силы ей до конца, до капли отдавая, все силы свои недюжинные несли на алтарь российского просвещения. И уж какие титаны были! Богатыри! Ильи Муромцы! И Сергей Радонежский с Андреем Рублевым, и Ми-

хайло Ломоносов, и Пушкин со всем своим феерическим девятнадцатым веком... Да и Ленин... Хотя его сегодня наша «легкоязычная и празднословная Русь» (как когда-то величал Б. В. Савинков не всю Русь, часть ее, вот эту самую, «легкоязычную и празднословную»), записала уже «с легкостью необыкновенной» Владимира Ульянова в «главные преступления XX века».

Как вот тут литературу преподавать? Кабы я знал... Не скрыл бы.

К ШОЛОХОВУ — ЗА СМЫСЛОМ ЖИЗНИ

Как-то попросили меня написать о моей встрече с Шолоховым. Попросить попросили, а востребовать написанное позабыли. Ну да Бог с ними!

Была такая встреча. Очень-очень давно, очень кратковременная, но была. Длилась она минуты две-три, от силы пять, не больше. И что можно узнать за это время, да такого, о чем имело бы смысл поведать миру?.. Эти две-три или пять минут явились фактом, событием моей биографии, но никак не Шолохова. Но может, именно в этом и есть смысл: рассказать, чем был Шолохов в моей судьбе и судьбе моих друзей? А может, и в судьбе нашего поколения. Не всего, конечно, но и далеко не незначительной его части.

Было мне семнадцать лет, шел тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. Только что отрыдал я вместе со всем народом на траурных митингах по поводу кончины И. В. Сталина; только что отужасался с народом же: как же мы дальше будем, когда мы так «внезапно осиротели» — по выражению того же Шолохова. Ну, не совсем «только что», все то было в марте пятьдесят третьего, а тут кончался пятьдесят четвертый. За это время я успел закончить десятый класс в далеком родном Новосибирске и приехать в Москву, поступить в театральное училище им. Щукина «учиться на артиста».

Мы были очень искренними комсомольцами — я говорю о самых близких школьных еще друзьях, — очень серьезно и истово относились к жизни, к идее коммунизма, к искусству — как к составной и необходимой части жизни народа и движения его к светлому будущему. В школе никаких сомнений ни в чем у нас не возникало. Кроме как в собственных силах, в правильности выбора будущей своей деятельности на благо общества (иной деятельности, не на благо общества, мы и представить себе — для себя — не могли). Сомнения и вопросы вне собственной персоны стали появляться уже потом, после семнадцати-восемнадцати, после школы, при первом самостоятельном столкновении с жизнью — вот тут пошли первые сомнения, первые общественно-политические вопросы: кто мы? что с нами? куда идем? И так ли все гладко у нас, как мы привыкли верить в школе... И дело было, конечно же, не в нашей какой-то особой «недюжинной» общественно-политической вьедливости и проницательности, просто тут подоспели первые хрущевские «вскрытия», без особых, правда, осмыслений, но уже вскрытия наших язв и изъянов.

А может, это как раз и нормально? Нет, не вскрытия язв без осмысления, а нормально и благоговорно для развивающегося семнадцатилетнего индивидуума: сомневаться только в собственных

силах и истово, непоколебимо верить в справедливость, правомерность и неукоснительность общего поступательного движения, течения жизни?

Как бы там ни было, в старом моем дневнике в записи от двадцать четвертого декабря тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года вот что: «Завтра с Эрькой («мой первый друг, мой друг бесценный») идем искать Шолохова. О-бя-за-тель-но!»

Почему вдруг Шолохова? И — «о-бя-за-тель-но!»? Вероятно, вяло от него, от его произведений какой-то могучей, нелегкопринятой правдой. Самой бесстрашной, самой беспощадной из всего того, что было нам доступно тогда. А доступно тогда было не все: Горький, Маяковский, Фадеев, Шолохов, ну, «Василий Теркин» еще. Об Андрее Платонове мы даже и не слыхивали. Ни о каких Булгаковых, Цветаевых, Пастернаках, Ахматовых и не подозревали. Бунина, Блока, Есенина не издавали, их можно было за бешеные деньги «ухватить» у букинистов, а классик ли Достоевский — у меня до сих пор не безоговорочная уверенность, так как с детства впаяно в мозги: всех русских классиков у нас «проходили» в школе, а Достоевского даже не упоминали. А Бажова и Шергина мы и сегодня не шибко-то чтим, во всяком случае детей на них не учим, не воспитываем...

Кроме Шолохова верил я тогда еще Николаю Островскому, А. С. Макаренку, но их уже не было, а Шолохов — был.

Я собирался в те поры бросать училище и уезжать. Работать! Куда-нибудь на целину! Узнавать жизнь! Правду! И испытывать самого себя. Что потом и сделал.

Дневник: «24 декабря 54. Эх, гадство! А ить жалко будет училище-то бросать... И театр — замечательнейшая таки штука!.. Но уйду, уйду. Надо. Надо без помощи фантазии, ВЗАПРАВДУ — девчонку поцеловать, подраться, сделать, сотворить что-нибудь... Приключений надо, смелых, веселых! Того, чего сердце требует. Ведь требует же! И чему мешаешь подленький трусоватый умишко. Ближе к делу! К живому, быющему... К такому, чтоб захлестывало, толкало, не давая времени на «рассуждения». И там — или уж вылезти в ЛЮДИ, в ЧЕЛОВЕКИ, или... черт с ним, пусть забьют, затолкают в самый темный дальний уголочек... Лучше там (вероятно, в «темном дальнем уголочке») подохнуть, чем ползать на поверхности и портить воздух... Хотя незаметно, но верно и навсегда портить. Витьку бы забрать (Лихоносова). И — в степь! на целину, на стройку, к черту в лапы, но чтоб весело и беспокойно было! Вот еще что-то Шолохов скажет, послезавтра к нему идти...»

«26 декабря 54. Ох, как охота, как охота ЧЕЛОВЕКОМ стать! Неужели не выйдет ничего... Ладно. Завтра ищем Шолохова! Еще от него что-то узнаем. А дальше видно будет. Но Шолохова увидеть во что бы то ни стало!»

Во как надо было... Стало быть, для меня-то не случайной была встреча.

Как я до него добрался, доцарапался? Убей, не помню. Не назначил же он мне ни приема, ни аудиенции. Где-то у кого-то как-то вызнал адрес, узнал, как разыскать квартиру. Настырный, видно, был. Целеустремленный.

«Ведь 29-го я... до Шолохова(!!!) дошел...»

Дошел. Почему-то один, без друга. Почему? Не помню. Где-то в Старокопюшенном переулке, недалеко от училища как раз. Помню подъезд, лестницу вокруг лифта. Открыл мне какой-то здоровенный, гладкомордый, неприветливый. Кто? Родственник? Охранник? Бог его ведает, верно, все-таки охранник. Конечно же, никуда он меня не пускал, спасибо, «в грудки» не толкал. И тут, пока я объяснял этому мужику, зачем мне нужен Шолохов, — я и себе-то этого отчетливо объяснить не смог бы... Ну, наверно, потолковать. По душам!.. Успокоиться, утвердиться в пошатнувшейся вере. Нет, не в Сталина, в справедливость. В разумность всего, нужность, не «зряшность». В смысл жизни. Что не бессмысленна жизнь! И что жить — стоит. И людей любить стоит. И жить ради них стоит.

И вот тут откуда-то из темных недр квартиры возник он сам. Случайно ли перемещался внутри квартиры по своим надобностям или специально к нам на шум вышел — не ведаю. Вот что в дневнике: «Пока трепался (я) с мужиком в передней, вышел он, добрый казак донской, в гимнастерке на широкой, крепкой, как выструганной, вытесанной рубанком груди, косопалый, с жидкими, закрутившимися в разные стороны седыми волосами («шевелюра, как у поросенка»*), с обросшими седой щетиной щеками и белыми же жесткими усами. Рука маленькая, узкая, с вывернутым наружу, от ладони, мизинцем** и грубоватой, не интеллигентской кожей. Но сжал мою руку — будь здоров! Другой рукой обнял и усами в щеку мне потыкался, губами не достал. Вроде, показалось, был немного «выпимши». Но нет. Не пахло ведь.

А так — свой, жутко свой (лучше, чем «жутко», не мог найти слова). И я, уродина, разулыбался, вроде и неудобно было его надолго отрывать, и мужики мешали, вякали что-то. Да и неопределенно знал я опять, о чем говорить!.. Так и высочил от него. Сказал он только, что глаза у меня хорошие, крепкие (чем потом до-олго друзья меня подкалывали, «крепкими»-то глазами). Да ведь это опять только внешнее, только КАЖЕТСЯ! Два раза поцеловал на прощанье и «будь здоров» сжал руку. Эх, встретиться бы, встретиться бы еще с ним, но уже самому будучи ЧЕЛОВЕКОМ. Встретиться бы по делу, по определенному, большому делу».

Вот и все. Все, что сохранилось в дневнике. А в памяти? Было на мне темно-синее длиннополое (драповое? суконное? Бог его ведает!) пальто — самое главное мое достоинство и обеспечение, самое большое, что могла сделать и дать мама, чем могла она защитить непутевого сына от всех возможных предстоящих бедствий за три тысячи верст от дома. А за пазухой этого пальто, как всегда, была очеред-

* Это из тех «перлов» народной мудрости и острословия, которые мы с Лихоносовым, по наставлению Кагана, истово и неукоснительно собирали, а частенько и пользовались ими в общении между собой.

** Не памятка ли, как в юности в «атариках» служил? Ведь эпизод службы в отариках Михаила Кошова в «Тихом Доне» подарен герою книги автором из собственной биографии. И все сходится! Когда напуганный и взволнованный грозой косяк лошадей сбил, чуть не загоглат пылавшего их ободришь и успокоишь отарика, «одна...» матка вдавливает ему копытом правую руку в грязь». И тут: на правой руке мизинец вывернут наружу.

ная книжка. В тот раз книжка журнала «Новый мир».

— Твое тут? — ткнул пальцем или взглядом в голубенький «Новый мир» у меня за пазухой Михаил Александрович.

— Н-нет, — замотал головой я, не сразу сообразив, о чем он.

— Ну, слава Богу!..

Вроде, спросил он: «Ну, чего тебе, сынок? Зачем пришел?..» Не то я, не то мужики эти (один мне открывал, другой, вероятно, с самим вышел — в дневнике почему-то сперва «мужик», а дальше — «мужики»), не пускавшие меня и вызнавшие тоже о цели моего посещения, коротенько и не очень всерьез объяснили: «Да вот не знает, учиться ему дальше или бросить?»

— Учись, сынок, учись! Это тебе говорит человек, который никогда ничему не учился...

Тут уж за точность цитирования не ручаюсь, но что-то в этом духе, все шуткой, все смехом. И при этом — «жутко» родной и свой! Когда школьный мой друг Витя Лихоносов через год или полтора (то есть в том же примерно возрасте и известности) тоже добрался до Шолохова, приехал в Вешки, увидел его на крыльце и обратился:

— Я к вам, Михаил Александрович.

В ответ тут же услышал:

— Давно жду!

Вот и все. В общем-то, все, вся «встреча», все «общение»...

«Эту незабываемую встречу я запечатлел в своей книге «Я и Горький», — ехидно вставила, впервые услышавши эту историю из дневника, незадолго перед тем избранная в спутницы жизни... Грамотная. Хотя и язва, конечно. Но не всегда и с самыми близкими получается у нас безоблачное взаимоприятие и понимание...

И все-таки ответил мне тогда Михаил Александрович! На все мои вопросы. Ответил. Хотя ничего существенного, достойного запоминания больше не произошло. Я ничего не скрыл, ничего самого важного не забыл и не упустил. Вот этим юмором, и «свойскостью», и усталостью — ответил! А может, это я сам себе попозже ответил? Может быть... Но не без него, не без его участия! Он мне ответил, он. И тем, что глаза мои «крепкими» назвал. Видимо, не суегились глаза, не заискивали.

Ну, пришел человек к человеку, не проситель, не искатель благ и выгод, просто — младший к старшему. Может, действительно, сын к отцу. На исповедь. Отца я в двенадцать лет потерял. Ну, не получилась исповедь, не случилась. Обстоятельства не сложились. Но ласку отеческую, веру спокойную в меня — сопливого, но с «крепкими» глазами, все это я получил. А дальше? Думай сам, сынок. Мое время уходит, настает... Вырулил из-под мамина крыла, так давай, ходи самостоятельно! Думай. Ищи. Твоя жизнь впереди, тебе и разбираться в ней. И в личной своей, и в общей нашей жизни, вокруг тебя... Ты — мужик и должен жизнь в свои руки брать. И нести ее аккуратно. И расти помогать. И беречь, защищать ее. Отвечать за нее.

Ничего. Все нормально. Не дрейфы! Глаза у тебя — крепкие! Все нормально. Будь здоров!

И обласкал, и приободрил. Чего ж еще? Нормально. Ответил.

Упаковка

Узнав, что художник по имени Христо «упаковал» берлинский рейхстаг и в таком виде выставил на обозрение, как объект искусства, я подумал, что с этой акцией он опоздал лет на шестьдесят.

Лекарство, прописанное не вовремя, в лучшем случае бесполезно, а в худшем способно и навредить. Дорога ложка к обеду. Вот если бы — представим на минуту — рейхстаг «упаковали» году в 35-ом, возможно, это изменило бы ход истории.

Конечно, долго держать огромное здание в центре города наглухо задраенным — немислимое дело. Рано или поздно его пришлось бы вернуть в первобытное состояние. Но у людей, собравшихся поглазеть на такую глупость, покрутить пальцем у виска, посмеяться, уменьшилась бы агрессивность, снизился уровень адреналина в крови, и, глядишь, не состоялась бы мировая война.

Ведь «не дано предугадать», как сказал поэт.

Художественным критикам, приверженцам имперской римской классики, предполагаемое событие не может пойти на пользу. Допустим, кто-то из них не на шутку возбудится, кто-то, напротив, впадет в депрессию. Допустим также, не понравится оно и депутатам рейхстага, лишенным трибуны, где они «разряжаются». Их душевное состояние ухудшится, станет еще более неадекватным. Но на нормальных людей, а их большинство, смелое это мероприятие оказало бы положительное, терапевтическое воздействие.

Что-то ведь художник имел в виду, выбрав именно рейхстаг. А вдруг не случайно его зовут Христо? Может, мы уже дождались Второго Пришествия? Пришел человек «не от мира сего», принес новый кардинальный способ разрешения проблем. Показывает его наглядно, на макетах. Но мы, как всегда, не готовы принять благую весть.

А что, если опыт перенести из Германии на нашу почву? Взять и упаковать, скажем, на месяц, несколько административных зданий в центре столицы. Да не пустыми, а вместе с администраторами,

секретаршами, обслуживающим персоналом, снабдив каждую и каждого всем необходимым для совместного проживания в замкнутом пространстве. Создать максимум удобств, чтобы люди не чувствовали себя заложниками, и устроить им законный отпуск прямо на рабочем месте. То есть, перевести эксперимент из чисто художественной сферы в социальную. И посмотреть, что выйдет.

Предвижу, что акция станет, как выражаются журналисты, судьбоносной.

Однако Христо, хоть и «не от мира сего», все же человек западный. Наверняка он запатентовал свой «упаковочный метод», защитил от пиратства. Если без его ведома повторить все в точности, один к одному, придется платить штраф. Мы наконец-то присоединились к международной конвенции по защите авторских прав, и Христо, палец ему не клади, чего доброго потянет в суд, устроит скандал, денег, может, и немного отсудит, но душу отведет.

Но можно устроиться так, чтобы и скандала не было, и денег не платить. Да и откуда их взять, с каких шишей?

Надо внести в его технологию несколько изменений, придать местный колорит и запатентовать уже как свое. Именно так регистрируется большинство патентов. Один изобретет, а другой посмотрит и усовершенствует. Перенесет пусковую кнопку слева направо, правой рукой ведь включать удобнее. Или расширит область применения. Что-нибудь из оборонной промышленности приспособит в быту, в гражданской жизни, ту же саперную лопатку. Для нас важно, что это способствует конверсии и технического прогрессу. Хорошая идея не может быть достоянием одного человека. Она носится в воздухе, буквально над головой, и в равной мере принадлежит всем.

Так вот, зачем занавешивать дома пластиком, когда их можно оборачивать экологически чистыми ивановскими ситцами, 100-процентными хлопковыми, льняными, шелковыми тканями, целыми рулонами, а поверху обвязывать цветными ленточками, какими продавцы украшают подарочные коробки конфет. Вдобавок, из тех же ленточек можно сделать какую-нибудь розу или бант, что-нибудь приятное глазу.

Здание, обернутое естественным материалом, будет дышать. В нем не скопится сырость, не заведется грибок в каменных стенах, не появится плесень на мебели и документах. И если оно оборудовано кондиционерами, проще будет поддерживать внутри комфортный тепловлажностный режим.

Мне возразят, что бездействие большого числа чиновников нанесет государству материальный ущерб. Но ведь будет доход от туристов, они съедутся со всего мира, как на олимпиаду или кинофестиваль. Почему бы не наладить торговлю открытками, значками? Можно пустить на мелкий лоскут и продавать в качестве сувенира ткань, которой дома обернуты, постепенно их заголяя, снизу вверх, до полного разоблачения. Как знать, может быть, доход от подобных зрелищ перекроет временный ущерб. А чиновники выйдут отдохнувшими и с новыми силами быстро все наверстают. Причем, с лихвой.

Хорошо бы применить индийский, подобрав министерствам расцветки и фасон, соответственно их образу и роду деятельности.

Например, МИД обернуть светлой однотонной материей, что идет на хорошие мужские сорочки. А на шпиль прикрепить строгую бабочку.

Военные ведомства обмотать пятнистым х/б — из него теперь шьют костюмы для десанта, для спец-

наза — а поверху обшить аксельбантом и галуном.

Комплекс зданий на Лубянской площади, разные там секретные спецслужбы — не знаю, как они сейчас правильно называются, — задрапировать шелками воинственных леопардовых расцветок. Еще недавно такие ткани пользовались большой популярностью у женщин.

Благородные эти животные, я имею в виду леопардов, коварны и грациозны. Томно, расслабленно нежится леопард в своем логове, до поры до времени не устаивая внимания будущую жертву, как бы игнорируя, не замечая. Хотя на самом деле краем глаза следит, боковым зрением фиксирует каждое ее движение. И вдруг кидается на зазевавшуюся зверушку и раздирает в клочки.

Белый дом должен выглядеть демократично. Быть, так сказать, ближе к народу, соответствовать общепринятым вкусам. Тут подойдет ситец в горошек, а поскольку в этом здании часто сосредотачиваются лучшие умы, следует выбирать горошек моз-

известно, кто как поступит, что скажет, короче говоря, они жутко надоедают друг другу. Обо всем, что произойдет внутри, как сложатся отношения, какие разыграются страсти, возникнут симпатии-антипатии — обо всем этом можно снять захватывающий фильм. Да что фильм! — целый сериал, гораздо интереснее и жизненнее латиноамериканских. И это будет первый сериал, который я смогу досмотреть до конца.

Во внешнем мире УПАКОВКА тоже не останется без внимания. И ближние, и в особенности дальние вдумчиво прочтут сообщение, внимательно посмотрят телехронику. Скорее всего, они решат, что перед ними очередной этап перестройки, новый виток давно начавшихся реформ.

Именно их от нас почему-то ждут новые наши друзья. Реформ, реформ и реформ. Готовы даже при виде их выделять кредиты. Ну так покажем им, на что мы способны!

Представим себе влиятельного финансиста из Международного валютного фонда.

Отложив «Таймс» или «Монд», он возьмет со столика бокал с безалкогольным кок-

тейлем (привычка к крепким напиткам и толстым сигарам а-ля Чер-

чилль закончилась вместе с «холодной войной») и подумает: «Значит, они действительно сильны. Значит, есть у них в запасе кое-что, если позволяют подобную критику и не очень заботятся о реакции окружающих. Только по-настоящему уверенный в себе субъект допускает иронию в свой адрес и благодушно к ней относится».

Примерно так он подумает. И это обязательно скажется на финансовой политике. Хотя трудно, конечно, ручаться за ход мыслей человека, которого, что называется, в глаза ни разу не видел...

Ну а внутри страны, по крайней мере за этот месяц, ничего, абсолютно ничего не изменится. Ни великих потрясений, ни великих достижений не будет. Семена, посеянные УПАКОВКОЙ в умах и в душах, взойдут не сразу. Потому что искусство, которое с большой буквы, хоть и влияет на жизнь, но не сразу, не сию минуту, а медленно и незаметно. И не прямо, а опосредованно, не в лоб, а как бы исподволь, не всегда понятно, каким образом, и часто совсем не так, как ожидалось.

говых сортов.

Ну а зданию Госдумы подойдет льняное полотно в мелких цветочках, из такого шьют комплекты постельного белья.

А внутрь на все время акции запустить корреспондентов, желательно, инкогнито. Они ведь любят броские заголовки. Пусть их резвятся. Например, так: «Хроника обмотанного генштаба», «Письма из завернутого Комитета»; или так: «Сорок коммат арестантов», «Без окон, без дверей полна горница сельдей».

Каждое из зданий можно рассматривать как подводную лодку, эдакий «Наутилус», ушедший на месяц в автономное плавание. Говорят, экипаж судна, зимовщики на льдине, проводя долгое время вместе, начинают друг другом тяготиться. Заранее уже



НЕВИДИМЫЕ ПОХОРОНЫ «НЕВИДИМОЙ РУКИ РЫНКА»



Российская экономика с завидным постоянством отвергает все предлагаемые ей «рыночные» методы лечения. Не получилось с «либерализацией» цен. Цены как росли, так и растут. Потом не вышло с инфляцией. Инфляция не уничтожила лишнюю денежную массу, а перешла в так называемую стагфляцию, то есть наихудшую свою разновидность, связанную со всесторонним кризисом как всех промышленно-экономических, так и финансово-банковских институтов. Инфляция, несмотря на все старания правительства, продолжает тлеть, как подземный пожар в торфянике. Взлетел и опустился доллар, похоже, наконец-то превратившийся в то,

чем был всегда, — всего лишь валюту другой страны, а не универсальное средство накопления и удержания сбережений для миллионов российских граждан. Таких средств, как окончательно выяснилось, в России не существует.

Чем дальше, тем все более странным кажется российский капитализм. Умные люди у нас и за рубежом начинают поговаривать, что никакой это не капитализм. При феодализме, как известно, было весьма развито право собственности. Капитализм модернизировал и усовершенствовал это право. Класс пролетариев, которым «нечего терять, кроме своих цепей», был востребован индустриальной революцией, крупным машинным производством. В России капитализм востребовал «класс бандитов», выразился в присвоении (перераспределении) огромного массива государственной собственности между старой номенклатурой и «новыми русскими» — зачастую выходцами из криминального мира. «Народная ваучерная приватизация» — последняя

«священная корова» нынешнего режима. Вопли об этом вселенском обмане заглушаются так же тщательно и эффективно, как некогда вопли о невозможности построения коммунизма к двухтысячному году.

Итак, сохранить сбережения нельзя. Собственность не создается умными головами и умелыми руками, а уничтожается бездарными и корыстными, завладевшими ею в результате обмана. Третьей отличительной чертой российского капитализма является массивный вывоз капиталов за границу. В печати и с думских трибун совершенно справедливо мечут громы и молнии в адрес нехороших бизнесменов — то грозят поставить «вывозителей» к стенке, то сулят им амнистию, если они вернут свои денюжки в Отечество. Между тем никто почему-то не заостряет внимание на том, что российскими законами не предусмотрена возможность хранения значительных сумм в банках физическими лицами. Не гарантируется ни анонимность, ни страховая защита, ни, естественно, тайна вклада. Призывы хранить деньги в России по их результату можно уподобить призывам к владельцам дорогих иномарок держать свои машины исключительно в темных дворах под окнами и непременно с незапертыми дверями. У нас угонщиков нет!

Еще более любопытна четвертая — совершенно парадоксальная — черта российского капитализма, а именно: отсутствие конкуренции не только как реальности, но и как понятия. Здесь представляются важными два момента. Во-первых, криминальная психология, утвердившаяся в нашем бизнесе, изначально предполагает не какую-то там конкуренцию, а строжайшую уголовную иерархию. В «зоне» должен быть один пахан. Остальные должны покорно сдавать деньги в «общак». Поэтому в российском деловом мире совершенно невинные с точ-

ки зрения нормального бизнеса действия трактуются держателями «крыш» как наглое попрание законов «зоны». Отсюда превосходящее разум число кровавых «разборок» и насильственных смертей среди российских бизнесменов. Вторая причина невозможности конкуренции в России заключается в том, что в роли верховного пахана, то есть «большого папы», пахана над паханами выступает само бюрократическое по своей сути государство, не готовое и не собирающееся, как и раньше, терпеть какую бы то ни было конкуренцию с кем бы то ни было. Внезапные и не всегда мотивированные «наезды» то на «Мост», то на «Олби», то на «Столичный банк сбережений», одним словом, на чужие «общаки» подтверждают это.

Писать на эту тему почему-то не принято, но чем дальше, тем прочнее и основательнее отношение народ — власть становится на криминальные рельсы. Власть держит народ уже не за «мужика», как при «развитом» социализме, а за полуопущенного «чушкаря», с которым проходят любые фокусы, будь то «народная приватизация», выборы-невыборы, война-невойна, воровская реклама на телевидении, установление невиданных «минимальных» зарплат аж в 55 тысяч рублей, любое увеличение цен на проезд в метро, железнодорожные и авиабилеты, квартплату и так далее. Грубо говоря, народ уже «спит в параше», и странное согласие нашего народа спать в параше изрядно занимает зарубежных наблюдателей, уже и не обещающих, как раньше, никаких социальных взрывов.

Взять хотя бы историю с долларом.

Примерно до середины мая народ как «фраер» «разогревался» на доллар, который ему на всех углах охотно «впаривали» по весьма завышенной цене. Пылесос работал в одном режиме: всасывал рубли и выплевывал доллары. Когда же долларов было выплюнуто достаточно, да и рублей всосано немало, одновременно и вразной заговорили, что к осени «зеленый» будет стоить тысяч шесть-семь; что красная цена ему две триста, что к осени он вообще никому будет не нужен. Это очень важная часть сценария — дезориентация фраера.

После чего доллар слегка «уронили», а затем ввели в некий коридор. И пылесос заработал в другую сторону. Теперь он всасывал доллары, но по куда более низкой цене, чем несколько месяцев назад выплевывал. И что любопытно, в условиях не останавливающегося ни на мгновение роста цен!

Для того, чтобы привести народ в бодрость, был предпринят ряд мер. Во-первых, как бы сам собой создался дефицит рублевой наличности. То есть хочешь, не хочешь, а носи «зеленые» в обменный пункт. В ряде регионов (подавляющее большинство от беспокойной столицы) и вовсе придерживали зарплату. Прошла симпатичная информация о том, что пенсионеры не получают летом причитающиеся пенсии. Да и сам Центробанк все время играл на понижение курса доллара, как раньше на понижение курса рубля.

Таким образом, мы имеем классическую ситуацию «лох-наперсточник». Независимо от своих дей-

ствий в этой игре лох (народ) проигрывает. В нашем случае, ограничивая себя во всем, не важно, покупая или продавая доллары, лох-народ и в том, и в другом случае финансирует дефицит государственного бюджета.

Лето 1995 года войдет в «историю реформ в России» как время, когда внутренние цены, «наплевав» на качество как отечественной, так и иностранной продукции, окончательно и, похоже, навсегда оторвались от доллара (мировых цен), естественно, в сторону повышения. В пересчете на доллары летом 1995 года оцинкованное ведро в Псковской области стоило примерно 5 долларов, ведро чуть большего размера — более 10, дрянной женский фланелевый халат местной фабрики — более 17 долларов. И все это в условиях усиливающегося дефицита продовольствия. Есть все основания предполагать, что в недалеком будущем цены на основные продукты питания и ширпотреб в России значительно превысят мировые. Чем-то это напоминает воюющую Югославию (вязанка дров — 250 марок), за исключением того, что Россия (если Чеченская война не перерастет в гражданскую) не воюет.

Не обещает нам больших радостей и проект бюджета-96. В бюджет заложен дефицит в 85 триллионов рублей. Увеличение же расходов на социальные нужды планируется обеспечить исключительно фискальными методами. Так, собираются увеличить налоги на имущество граждан и даже начать «стричь» выплаты, получаемые в виде ежемесячных и прочих процентов по срочным вкладам.

Иностранцев советников российского правительства искренне восхищает бронебойный запас прочности советской экономики. Российская экономика хоть и не производит ничего капитального — авианосцев, АЭС, новых железных дорог, крупных заводов и фабрик — каким-то образом продолжает существовать, подобно ящерице, сбрасывая одну конечность-отрасль за другой.

За счет чего она существует?

Думается, ответ прост и в общем-то известен. Российская экономика — это нефтегазовый комплекс минус советская экономика. Россия сегодня — это своего рода Кувейт с поправкой на то, что «умом Россию не понять». Кувейт — не в смысле богатства народных масс, а в том смысле, что первичные потребности народа будут худо или бедно (и худо, и бедно) удовлетворяться до тех пор, пока в недрах страны будет оставаться нефть, которую можно будет добывать и качать по трубам за границу. До тех пор, соответственно, и будет продолжаться то, что называется «российскими экономическими реформами».

В следующий — 1996 — год Россия, видимо, войдет без отечественного сельского хозяйства, окончательно разрушенного на одиннадцатый год «реформ». Страна приближается к черте, когда курс рубля по отношению к доллару, да и вообще все финансовые игры медленно, но верно теряют смысл.

Но это уже другая тема.



Алексей БУРЫКИН

ОСЕНЬ В ПРОВИНЦИИ

Линялый флаг походит на майку футбольного клуба.
Линялый флаг на шпиле купеческого особняка, а ныне,
видимо, мэрии, напоминает о времени, впрочем, прошедшем.
У местного дурака улыбка беззуба,
его встретишь везде: у церкви, на площади, в магазине —
ищущим двух других или уже нашедшим.

Одеваются поголовно броско, во что подешевле —
Джанни Версаче или Хамдамов умерли здесь бы.
По мостовой шаркают тапками, как мусульмане.
При этом недорого выставлены шедевры —
дивной каплей плетения, росписи, резьбы,
но не для того шелестит в кармане.

Зато библиотека — нате-ка! — имени Пушкина.
Глядя окрест, вспоминаются басни Крылова
о петухе, откопавшем жемчужину.
Закаты да звезды для музы отдушина,
но улов слов без особого клева:
разговорчивые старухи не приглашают по бедности к ужину.

И вместо Гоголя, кстати, — истукан на площади.
Герани в окнах больны гигантизмом, оттого — кривы.
Во дворы ни-ни, ни ногой — облают
разномастные шавки размером с полено. Лошади,
как и коровы, редки, зато пруд пруди кошек, ибо
тут мыши не только ползают, но и летают.

Канализации нет; водопровод римлянами не достроен:
видимо, взбунтовались, заломив непомерную цену,
их и выгнали — сами с усами — пинками,
свыклись так. Громяхая, в баках таскают воду.
Благодаря стекольному заводу,
свинец сей земле скалит час, что неровен,
река прытко взбивает амонную пену.
Я качу велосипед между двумя веками.

Когда видишь на плечах старика коромысло,
хочется теремка: сушки, бублики, самовар.
Белый хлеб величают булкой.
И закладка здешнего смысла,
собственно, в культе солений: о, это дар!
а не просто грибная прогулка.

У местной публики нравы под стать столичным:
тошнотворные ритмы мозолят ухо,
кое-кто балуется и стишками...
но, пойманные с поличным,
обнаруживают не бездну, а пропасть духа,
хотя все измеряется ведрами, реже — мешками.

Выезжая за город, опасайся собственных действий —
стайками в бенеттоновых свитерах
жмутся к обочине ветвью игривые дивы:
зазевавшись — ах! трехколесное детство
пронеслось, обогнав, и дорога в буграх.
Это все. Дальше нет перспективы.

* * *

Всеволоду Гаршину

В алый маковый цвет
упадем без труда мы,
сторож ночи вослед
отлучит телеграммы...

А больничная сырь,
а решетка, как невод,
окунают пустырь
в ярко-маковый вермут.

Дотянуться... спасти!
Но пределом возможным —
окровавленный стих
из-под маковой кожи...

Хруст ступней и ресниц,
и шагающих лестниц,
как предвестников птиц,
круга верных наследниц.

Сердце горлом вразлет
от нахлынувших песен, —
даже этот полет
для летящего тесен!

* * *

Набоков, надменный памятник,
вырос на дне небес.
Остановившийся маятник,
Набоков, нерусский лес.

Набоков, бестселлер греющий
на своем мотельном боку.
Набоков, шепнуть имеющий
кое-что дураку.

Набоков, Владимир Ладимыч,
леску кусающий бог,
непредугаданный имидж,
в общем — переполох.

Набоков, в себе таящий
страсть горячей беды.
Набоков, коварный ящик,
захлопнувший все следы...

* * *

В тюрьме не страшней, чем в привычной среде,
ибо смерть — цветок, растущий везде.
Не устанет время, идущее вспять,
отраженья твои повторять

в зеркалах, в вагонном стекле, в пруду,
в фарфоровой чашке, в тени на льду,

в складках гостиничных покрывал,
в женщинах, с кем бывал.

Смерть не сорняк, не сор,
не наказание, не приговор;
смерть — это жест, и чем он длинней,
тем меньше остаток дней...

* * *

*И в пути мне совсем не страшно,
что вдогонку засвищут: хам.*

В. Александровский. 1919

Хама махом —
и хама нет!
Только страхом
и был воспет.

Без крика — тихим
глухим словом —
наотмашь! Пикнет
и в грязь лицом!

Хама махом!
А стыд его
катится с плахи,
как вещество.

И сухи песни,
когда поет.
Тычинка, пестик
и плод — гнилье.

И вянет ухо,
а на губах —
пух. Нет духа,
а страх раба...

Хама — махом!
А хам в ответ
крикливым матом —
крикливей нет —

все сеет разум,
все мечет свет —
ползет зараза
по гребню лет.

* * *

Скажи мне, мой друг-ровесник,
подкожная белая мышь,
какие горланишь ты песни,
о чем вместе с веком шумишь?

Куда? Что? Но невозможно
расслышать сквозь яростный визг
твой голос страстей придорожных,
язык этих уличных брызг...

Ты рядом, далекий ровесник,
но в месиве бытия
другие мне слышатся песни,
иное наследую я.



ТАЙНЫЙ СОЮЗ УБИЙЦ

Основателем союза убийц — ассасинов был фанатик-шиит из Хорассана, Гассан. Посвященный одним миссионером в мистерию исмаилитов, он был избран, благодаря своим необычайным способностям, учителем и проповедником. Знакомый с высшими тайнами мистерию ислама, он ясно видел лежащие в основе их политические цели, а именно — разрушение калифата аббасидов и утверждение на его обломках нового трона. Действуя якобы от имени египетского имама и прикрываясь покровом строжайшего благочестия, Гассан стремился завербовать приверженцев для самого себя.

Чтобы приобрести твердый оплот для своего могущества, Гассан в 1190 г. хитростью завладел крепостью Аламут в Персии, послав туда предварительно несколько самых ловких своих эмиссаров, которые подготовили в желательном для него смысле обитателей Аламута и его окрестностей. Таким образом был заложен фундамент для дальнейших действий. Теперь господство его стало уже возможным. Но, во всяком случае, он рассчитывал основать это господство не на светской власти, а на сильном тайном братстве.

До этого времени исмаилиты знали лишь глав общины, миссионеров, посвященных во все детали тайного учения, и тех членов, которые постепенно ознакомились с этим учением и составляли обширную группу учеников.

Гассан своим здравым смыслом скоро постиг, что для осуществления его больших замыслов союз исмаилитов нуждается в коренной реформе, что необходимо создать еще один класс, члены которого не посвящались бы в тайны союза, но были лишь слепыми орудиями в руках высших классов.

Глава из книги «Тайные общества, союзы и ордена», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1905 году.

5. «Юность» № 11

Наряду со светской братией, с представителями высшего класса и с подчиненными членами союза, обязанными точно выполнять все заветы Магомета, теперь была установлена еще вторая степень братьев. Члены ее получили название *федави*, то есть жертвующих собою, название, обозначававшее их преданность святому делу.

Молодых людей, достаточно доказавших свою силу и решимость и казавшихся достаточно подготовленными для вступления в этот разряд, опаивали одурманивающими напитками из наркотических растений¹, в особенности из семейства конопляных. В этом состоянии их переносили в настоящий волшебный сад, где весело журчащие ручьи расprostраляли приятную прохладу, где благоухания беседки из роз, тенистые залы и киоски, украшенные драгоценнейшими тканями, сулили безмятежный покой, где обаятельные черноокие девы — прелестные обительницы рая — предлагали дивное вино в золотых и хрустальных кубках, где мелодические звуки струн смешивались с веселым пением птиц, где нежные напевы прелестных певиц сливались с тихим журчанием ручьев, где все дышало беспечной радостью и весельем.

Очнувшись от опьянения, ученики полагали, что побывали в раю, который Магомет нарисовал своим последователям со свойственной Востоку роскошью красок, и испытывали в течение некоторого времени райское блаженство. Затем их вторично усыпляли заранее приготовленным напитком. Пробудившись, они видели возле себя своего учителя. Последний разъяснял им, что телом они все время оставались подле него, что лишь дух их уносился в рай и там предвкушал все блаженство, ожидающее праведных, которые радостно отдают свою жизнь на служение священной вере, во всем повинуются своим начальникам.

Так одуроченные юноши превращались в слепое орудие убийства и с жадностью искали всякой возможности пожертвовать своей земной жизнью, чтобы удостоиться вечного небесного блаженства.

Внешним отличительным знаком их принадлежности к данному разряду служили белая одежда, красные шапки и пояс — цвета невинности и крови; они были вооружены кинжалами, которые обнажали по первому указанию своего наставника. Они составляли отряд его телохранителей и беспрекословно выполняли его приказания убить то или другое лицо.

К третьему разряду принадлежали рефики (товарищи); постепенно ознакомляясь с тайным учением, они надеялись достигнуть высшего разряда. Затем следовал разряд даи (миссионеров, или проповедников) и разряд дайлькебир (великих пророков), бывших наместниками в тех областях, где утвердился союз.

Во главе этого ужасного общества стоял начальник его, называвшийся Сидна, т.е. наш господин, или же Шейх-уль-Джебал, — наименование, которое западные народы переводили словами: *Vetulus de montanis*, т.е. «Старик с горы», ибо союз овладел возвышенными частями Сирии и Персии.

Сам «Старик с горы» принадлежал к шестому разряду, а как узурпатор имамата — даже к седьмому. Внутреннее спокойствие союза обеспечивалось строгим соблюдением положительных религиозных предписаний, а внешняя безопасность — при помощи крепких затворов и вечно обнаженных кинжалов *федави*.

Собственно тайное учение союза излагалось в особой книге законов; она была составлена Гассаном, состояла из семи глав и предназначалась исключительно для миссионеров и высших разрядов союза.

Первая глава заключала в себе основные положе-

ния важнейших человеческих познаний, необходимых миссионерам в их стремлениях завербовать в союз новых членов. Сюда же принадлежали тайные изречения, истинный смысл которых был понятен лишь членам одного и того же разряда. Например, изречение «Не сейте на бесплодной почве, не говорите в доме, где зажжена лампа!» означало: не тратьте напрасно слов перед неспособными понять их и не осмеливайтесь говорить перед знающими закон; ибо опасно зачислять в члены как глупцов, так и людей, обладающих познаниями и испытанными убеждениями; первых — потому, что они совершенно не понимают сообщаемого им учения или же понимают его ложно, вторых — потому, что они легко поймут истинный смысл учения и могут стать опасными для провозвестников его.

Во второй главе содержались указания относительно пропаганды и правила поведения по отношению к ищущим истины, которых легче всего было склонить в пользу союза, льстя их склонностям и потакая их страстям.

Третья часть касалась обучения прозелитов, которое заключалось главным образом в дьявольски коварной задаче — путем всевозможных вопросов, относившихся к религиозным заветам Корана, сокращать веру новых учеников, смущать их ум, наполнять их сердце развещающим душу сомнением.

Четвертая глава касалась клятвенной формулы и способа ее применения. Новые члены, оказавшиеся пригодными для вступления в союз, давали обет строжайшего повиновения и ненарушимого молчания.

Пятая предписывала объяснять новичкам, проникнутым религиозными сомнениями, что учение и взгляды союза по существу вполне согласуются с взглядами известнейших теологов и государственных людей. Можно было надеяться, что, успокоив таким путем свою совесть, они еще ревностнее будут охранять интересы союза.

Шестая глава ограничивалась лишь кратким повторением перечисленных предписаний и правил, чтобы миссионеры, твердо запомнив их, сумели при всяких обстоятельствах поступить надлежащим образом. Наконец, книга заканчивалась седьмой главой об аллегорических поучениях. Избранным руководителям разъяснялось здесь в сухих словах, что все вероучение и все религиозные предписания представляют собою не что иное, как аллегории, выполнение или невыполнение которых совершенно не имеет значения.

Эта тайная книга напоминает отчасти мрачный дух иезуитства, предшественниками которого с полным правом могут быть названы Гассан и его убийцы. Никогда, кажется, тайное учение, стремившееся к достижению преступной цели, не было так строго продумано и не проводилось с таким упорным постоянством, как учение этого религиозно-политического союза. Чертой глубокой государственной мудрости, которая могла бы сделать честь какому-нибудь Макиавелли, является тот факт, что Гассан, в своей царственной гордости презирая требования человеческого ума и сердца, предназначал учение неверия и безнравственности не для управляемых, но для управляющих, что первым он предписывал безусловное повиновение слепой власти последних, что, склоняя первых к полному самоотречению и потакая страстям последних, он умел воспользоваться и теми, и другими в целях своего властолюбия.

Союз убийц насчитывал уже 60 000 членов. Безуспешно пытался султан сельджуков Меликшах (1172—1192) противодействовать распространению опасной секты. Прекрасный государь нашел в этой борьбе

преждевременную смерть; это была, как кажется, первая значительная жертва учения убийц. После его смерти его могущественное государство распалось вследствие свирепых междоусобиц между его братьями и сыновьями. Наконец, султанат над восточными провинциями утвердился за сыновьями Меликшаха Баркияроком и Магометом.

После гибели Меликшаха, возбудившей понятное волнение во всей Азии, наступила ужасная эпоха убийств и мести. Магометанское духовенство осыпало проклятиями диких фанатиков. А калифы и их наместники, сознавая опасность, которая неперестанно угрожала их жизни и трону, преследовали Гассана и его приверженцев с чисто восточной свирепостью; последние же, взбравшись на свои неприступные скалы, не страшились никаких преследований и жестоко мстили дерзкими разбойничьими набегами и кровавыми убийствами.

Во время междоусобной войны убийцы завладели в Персии наиболее сильными укреплениями и прочнее утвердились в Сирии, где им принадлежали многие города и крепости, служившие для них безопасным убежищем.

Это было время крестовых походов — та достопамятная эпоха, когда по одному слову духовного главы христиан толпы воинов отправлялись на великую мировую борьбу в неведомые страны. Эмир города Алеппо, Ридвал, постоянно воевавший и с крестоносцами, и со своим братом Докаком, властителем Дамаска, содействовал переселению убийц в Сирию, рассчитывая с их помощью расширить и утвердить свое владычество. И союз убийц, действительно, проявил здесь свою ужасную деятельность, широко распространив там свое учение и преследуя с религиозным фанатизмом своим смертоносным кинжалом как сельджуков и аббасидов, так и христиан и иудеев.

Так как власть была высшей целью стремлений союза и для достижения ее считались дозволенными все средства, то убийцы, подвергшиеся после ранней смерти своего союзника жестоким преследованиям, пытались вступить в соглашение с крестоносцами, влияние которых в Сирии все усиливалось. Даи-эль-Кебир-Абу-Вафа заключил тайный договор с царем иерусалимским Балдуином II; в силу этого договора он обязался передать в руки христиан город Дамаск, а Балдуин II обещал уступить ему город Тир. Но изменнический замысел был обнаружен, и над всеми находившимися в Дамаске убийцами, а их было около 6 000 человек, свершилась кровавая расправа.

Но могущество фанатиков отнюдь не было этим сломлено. Они не переставали действовать своими кинжалами среди наместников и знати, и страх перед ними дошел вскоре и в Сирии, и в Персии до того, что некоторые властители, желавшие избавиться от вечно угрожавшей им смертельной опасности, сочли за лучшее войти в тайное соглашение с предводителями ужасной банды, уступили им важные пункты в своих владениях, освободили их от податей и налогов и даже предоставили им в виде контрибуции пользование доходами с целых областей.

Так братство убийц приобретало все большие и большие владения, и увеличивало свою власть и влияние.

Позже, когда убийцы постигли различные серьезные неудачи, они принуждены были уплачивать тамплиерам ежегодную дань. Чтобы избавиться от этого тяжелого обязательства, они отправили к тамплиерам депутацию с предложением принять христианство в случае отмены установленной контрибуции. Но тамплиеры не поверили искренности этого предложения и в 1272 году умертвили послов убийц — насилие, за

которое им пришлось дорого заплатить впоследствии. С этого момента фанатические посланцы тяжело оскорбленного «Старика с горы» стали с невероятной свирепостью преследовать не только членов ордена, но и всех христиан, живших в Сирии и Палестине. Они умели проникнуть в какой угодно город, в какой угодно дом. Никто не мог избежать своей участи, раз его имя попало в список приговоренных к смерти союзом. Давшие смертную клятву убийцы неутомимо преследовали свою жертву и с радостью бросались в самые ужасные опасности, воодушевленные обманчивой надеждой на вечное блаженство. Страх и ужас внушало их имя даже и в Европе: были слухи, что феодалы посланы и против европейских властителей, например, против Людовика Святого Французского.

Гассан пережил самых преданных своих учеников и ближайших своих родственников. Своих сыновей он принес в жертву своей ужасной политике: одного за то, что, совершив убийство без его приказа, он нарушил тем верховные права своего отца, другого за то, что употреблением вина он нарушил завет, строжайше предписанный союзом простому народу. Смерть его обоих сыновей должна была служить кровавым предостережением для посвященных на случай неповиновения предписаниям культа и правилам внутренней дисциплины.

Когда Гассан почувствовал близость смерти, он созвал своих приближенных, даев Кеах-Бузур-Умейда и Абу-Алу в замок Аламут, которого он никогда не покидал, и назначил их своими преемниками, разделив между ними свою власть таким образом, что первый стал представителем светской власти и государственного управления, второй же взял на себя высшую духовную власть и руководство союзом.

Гассан умер в 1224 году в престарелом возрасте, после 35-летнего жестокого правления; его владычество было одним из самых ужасных бедствий для рода человеческого.

После 14-летнего управления Кеах-Бузур-Умейда, представлявшего собою непрерывный ряд самых ужасных кровавых деяний, верховная власть перешла к его сыну Магомету. Подобно отцу, и он начал свой жизненный путь с убийства властителя. Тихо и незаметно рассеялись готовые на все феодалы по всей Азии, и неисчислимы были несчастные жертвы, павшие под ударами их кинжалов. Они утвердились на прежних укрепленных позициях и приобрели новые. Массы непосвященных видели лишь страшные последствия их ужасного могущества, не зная ни причин его, ни инициаторов, ни исполнителей их воли. В убийтах они видели лишь павших врагов союза и религии, которых постигла небесная кара, свершившаяся чрез посредство тайного судилища. Безнравственное же учение союза оставалось обремененным в глубочайшую тайну; все его члены представлялись лишь ревностными последователями ислама; глава же союза и его посланцы возвещали лишь владычество невидимого имама, который завещал им бороться за веру и престол и который в конце концов явится сам и как победитель предъявит свои права на мировое владычество.

Но Магомет не обладал ни умом, ни познаниями своих предшественников. И потому члены союза с большей надеждой смотрели на его сына Гассана, который, пользуясь славой великого ученого, сделался учителем и просветителем народа и усердно поддерживал распространившийся слух о том, что он-то и есть ожидаемый имам. Когда Магомет узнал об угрожающей ему опасности, он казнил 250 человек из числа приверженцев своего сына. Сам Гассан избег той же участи лишь тем, что он лицемерно предал проклятию и свое учение, и своих приверженцев.

Но вскоре, когда после смерти отца Гассан II стал главой союза, он возобновил свою прежнюю деятельность. Он отменил в 1263 г. закон ислама, объявил себя столь долго ожидаемым имамом, открыл также и непосвященным несовершенство всех положительных религий и объявил им, что все дозволено и нет ничего запретного.

Границы долга и нравственности были разрушены. Порок и преступление безбоязненно шествовали по обломкам религии и законного порядка. Кровавые инстинкты, которые под личиной слепого повиновения приводили членов союза к убийству назначенных тайным несовершенством жертв, свирепствовали теперь на просторе, не сдерживаемые никакою уздой.

Уже на четвертом году своего нечестивого владычества Гассан стал жертвой своего безнравственного учения, сраженный кинжалом одного из своих родичей. Но пламя кровавых страстей, которые он зажег, открыв массам тайное учение своего союза, не было потушено его кровью. При его преемниках оно страшным пожаром охватило всю Азию.

Последствия невероятного изуверства обнаружались скоро. Непосвященные стали толпами покидать ужасный союз, и, лишившись своих главных оплотов, он пал, пробыв в продолжение двух веков страшным ужасом для всего магометанского и христианского мира.

Сначала в 1256 г. убийцам пришлось испытать грозное могущество монгольского хана Гулагу, который положил предел их опустошительной деятельности в Персии, разрушив их укрепления — около 40 изобилующих несметными сокровищами крепостей. «Старец с горы» был привезен пленником в Каракорум в северной Азии и здесь, при дворе Великого хана, казнен. Фанатические приверженцы союза убийц тысячами падали под мечами все разрушавших монголов. Последние остатки ужасного союза были уничтожены в 1394 г. отважным мировым завоевателем Тимуром, после того, как несколько феодалов осмелились поднять на него свои кинжалы; они погибли в страшном резне. С тех пор фанатические человеко-ненавистники эти совершенно исчезли в Персии.

В Сирии убийцы просуществовали еще до 1270 г. и погибли от непобедимого оружия египетского султана Бибара. Приверженцы союза убийц были убиты или рассеяны, их учение подверглось преследованию.

Но союз все же не исчез с лица земли. Еще и теперь он тайно существует среди диких ущелий Ливана, питая надежду когда-нибудь при благоприятных обстоятельствах восстановить свое владычество. Но от беспокойной политики прежнего тайного учения и от ужасной тактики убийств, практиковавшейся союзом убийц, они отказались. Внешним образом члены этого союза добросовестно выполняют закон Магомета, но в глубине души они тем ревностнее поклоняются Богу Али — «несотворенному огню как основному началу всех созданных вещей».

¹ Этот опьяняющий напиток называется гашиш; от этого напитка союз получил название «Гашишим», которое западные народы переделали в ассасин (т.е. убийца).

² Сельджуки, турецкое племя из Бухары, около 1000 г. обращенное в ислам, господствовали при Меликшахе над всей Передней Азией, от Эгейского моря до Инда, от Персидского залива до Яксарта.

ЖИЗНЬ ПЧЕЛ



Рисунки Нинель Оселко

МОЛОДЫЕ ЦАРИЦЫ

Оставим наш молодой улей, который будет расти, развиваться и свершать жизненный круговорот до полноты силы и счастья, и бросим последний взгляд на старую пчелиную обитель, дабы узнать, что происходит там после вылета из нее роя.

Смятение, вызванное вылетом роя, затихло; две трети недавних жителей обители покинули ее без мысли о возвращении, и злополучная обитель похожа на тело, из которого выпустили кровь. На нем лежит печать утомления, безмолвия, почти смерти. Но вот несколько тысяч оставшихся в обители верных ей пчел принимаются за работу, стараются заместить наилучшим образом отсутствующих, заглаживать все следы происшествия, привести в порядок избегнувшие опустошения запасы. Они летают к

цветам, хлопочут о будущем, словом — верные своему долгу, исполняют определенное им непреклонною судьбою предназначение.

Но если сущее кажется мрачным, то все, куда только может проникнуть взор, дышит надеждою на будущее. Мы находимся в одном из тех немецких легендарных замков, стены которых построены из сосудов с душами еще не родившихся людей. Здесь еще не жизнь, но преддверие жизни. В закрытых колыбельках, расположенных среди бесконечных, чудно устроенных шестигранных ячеек, мириады белоснежных нимф, со сложенными лапками и опущенными на грудь головками, ожидают часа пробуждения их к жизни. Наблюдая погребенные в бесчисленных и почти прозрачных ячейках существа, видишь перед собою как будто погруженных в глубокую думу, покрытых седым инеем гномов или легионы дев, закутанных в складки савана и погребенных в шестигранных призмах, размноженных до бесконечности непреклонным в исполнении своего намерения геометром.

На всем пространстве, заключенном среди перпендикулярных стен мира, — мира, который растет, преобразуется, проникается самим собою, перемещает четыре или пять раз свое облачение и тклет

Окончание. Начало см. в № 10.

во мраке собственный саван, машут крылышками и пляшут сотни пчел-работниц. Делают они это, по-видимому, для поддержания необходимой теплоты и для какой-то еще более таинственной цели, ибо в их пляске наблюдаются такие необычайные и методические движения, которые должны отвечать не изъясненным, я полагаю, ни одним еще наблюдателем намерениям.

Через несколько дней крышечки этих мириад урн (в хорошем улье их бывает от шестидесяти до восьмидесяти тысяч) дают трещины, и в каждой из них обнаруживается существо с огромными черными глазами, с выступающими вперед щупальцами, которыми новорожденные уже осязают вокруг себя биение жизни, и деятельными челюстями, которыми они расширяют отверстие своей колыбели. В ту же минуту к новорожденным сбегаются няньки. Они помогают молодым пчелкам освободиться из их темниц, поддерживают их первые шаги, чистят, гладят и предлагают им на кончике своих языков первый мед новой жизни. Молодая пчела, которая только что явилась из другого мира, еще смущена, слаба и бледна. Она напоминает своим внешним видом избежавшего могилы старичка; она подобна путнице, покрытой пушистой пылью тех неведомых стезей, которые ведут к бытию. Тем не менее, она уже совершенна с головы до ног — она знает сразу же все, что ей знать надлежит, и — подобно тем детям из народа, которым известно, так сказать, от рождения, что у них не будет времени ни на игры, ни на смех, — тут же направляется к еще закрытым ячейкам, начинает, в свою очередь, бить крылышками и делать ритмические движения, дабы вызвать к жизни своих еще погребенных в ячейках сестер; она не задумывается при этом ни на секунду над разрешением изумительной загадки ее рода и ее назначения.

Прошло уже около недели со времени отлета старой царицы. Царственные нимфы, покоящиеся в капсулах, не все одного и того же возраста, ибо последовательное их появление из ячеек, после того, как вылетели из их улья первый, второй и третий, а может быть, и четвертый рой, находится в интересах самих же пчел. В течение нескольких часов они постепенно утончают стенки самой зрелой капсулы, и вскоре молодая царица, содействовавшая со своей стороны своему освобождению, прогрызая продолговатую крышку изнутри, показывает головку, полувыходит, поддерживаемая сбежавшими прислужницами, тут же начинающими ее чистить, гладить, ласкать. Наконец она освобождается совершенно и предпринимает первые шаги по своим владениям. Подобно новорожденным работницам, она в этот момент бледна, слаба, но через какие-нибудь четверть часа ее ножки крепнут, и, уже испытывая беспокойство оттого, что она здесь не одна, что ей предстоит еще завоевать свое царство, что претендентки на то же находятся скрытыми где-то в том же улье, она нервно обегает восковые стены в поисках соперниц. Но тут вмешивается мудрость, таинственные указания инстинкта, духа улья или коллективности рабочих пчел. Когда следишь сквозь стеклянный улей за течением совершающихся там событий, то поражаешься более всего отсутстви-

ем в деятельности пчел какой бы то ни было неуверенности, малейшего несогласия. Нет и следа разноречия или несогласия. Предустановленное единство проникает всю атмосферу города, и каждая пчела будто знает наперед, что думают все остальные. Между тем для них наступает один из серьезнейших моментов. Собственно говоря, это-то и есть самая важная минута в жизни пчел. Им приходится делать выбор между тремя или четырьмя выходами, отдаленные последствия которых совершенно различны между собою; ничтожнейшее обстоятельство может сделать эти последствия гибельными. Им предстоит согласить врожденную страсть и обязанность размножаться с сохранением основы их рода и его отпрысков. Иногда они ошибаются в выборе, выпуская один за другим три или четыре роя. Такое положение совершенно обессиливает обитель, и оставшиеся в ней пчелы, будучи слишком слабы, чтобы устроить собственными силами в короткий срок всю необходимую организацию, застаются врасплох чуждым им климатом, столь непохожим на их родной, воспоминание о котором они хранят, невзирая ни на что, и погибают с наступлением зимы. Они становятся тогда жертвами так называемых «роевых горячек», являющихся, подобно обыкновенным горячкам, как бы реакцией против слишком большого напряжения жизни, — напряжения, которое переходит за пределы своей цели, замыкает круг и встречается со смертью.

Эти меры обуславливают собою и судьбы цариц, которые еще лежат погребенными в своих восковых темницах. Предположим, что пчелы рассуждают настолько мудро, что решат не выбрасывать второго роя. Все же осталось еще два решения: позволить ли перворожденной из царственных дев, той, при рождении которой мы уже присутствовали, уничтожить ее сестер-врагов или дожидаться совершения опасной церемонии «брачного полета», от которого зависит вся будущность улья? Часто улей уполномочивает цариц приступить к непосредственному убийству, но так же часто он этому и противодействует. Трудно решать, в предвидении ли выпуска второго роя или в виду опасностей «брачного полета», но не раз наблюдали, что, решив выпустить второй рой, пчелы вдруг отказывались от своего решения и уничтожали все с такими заботами сохранявшееся царственное потомство. Потому ли действовали они так, что наступило менее благоприятное время года, или по другим скрытым от нас причинам — остается загадкой. Предположим, что пчелы решили отклонить выпуск второго роя и принять риск «брачного полета». Побуждаемая желанием убийства, молодая царица приближается к месту нахождения царских колыбелек. В этом случае стража при ее приближении расступается.

Влекомая своею ревнивою яростью, царица набрасывается на первую попавшуюся ей капсулу и напрягает все силы своих лап и челюстей, чтобы сорвать с нее воск. Когда ей это удастся, она грубо срывает окутывающий личинку кокон, обнажает спящую принцессу и, если эта принцесса-соперница находится уже в сознании, то оборачивается к ней, вонзает жало в головку и продолжает бешено

колоть ее до тех пор, пока жертва не падет под ударами ядовитого оружия. Тогда, удовлетворенная смертью, кладущая свой таинственный предел ненависти всех живых существ, она успокаивается, втягивает обратно жало, нападает на другую капсулу, открывает ее и проделывает то же, что с первой, если в ней находится личинка или еще не совсем сформировавшаяся нимфа; свое воинственное шествие она продолжает до тех пор, пока ее лапки и челюсти не отказываются окончательно служить ей; тогда, задыхаясь, она останавливается в полном изнеможении.

Окружающие царицу пчелы созерцают безучастно проявления ее гнева. Они расступаются и очищают ей поле действий. Как только разрушается каждая отдельная царская ячейка, они сбегаются к ней, вынимают из ячейки и выбрасывают из улья тело убитой принцессы, еще живую личинку или изуродованную нимфу и жадно пьют драгоценную влагу, струящуюся по стенам царских ячеек. Когда же утомленная царица насытит свою злобу, то пчелы-работницы сами доканчивают избиевание невинных, и таким образом исчезают суверенные дома и их роды.

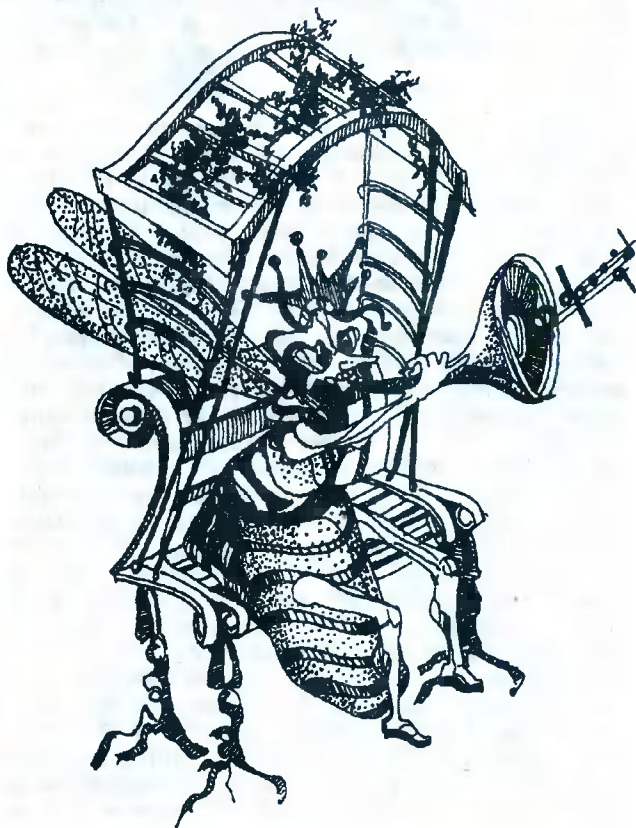
Кроме процесса истребления трутней — жестокости, впрочем, гораздо более извинительной, чем вышеописанная, — это время жизни улья является единственным, когда работницы позволяют беспорядку и убийству водвориться в их обществе. И, как это часто происходит в природе, навлекают на себя необычные громы жестокой смерти именно привлеченные обладатели счастья любви. Случается, хотя редко — так как пчелы принимают против этого меры предосторожности, — что две царицы рождаются одновременно. Это вызывает между ними борьбу за жизнь и на смерть, удивительные подробности которой изобразил первым Huber: «Всякий раз, когда при движении по улью облаченные в хитиновые кирасы девы встречаются между собою, они становятся в такую позицию, что, выпустив одно жало, и каждая из них получит одновременно смертельный удар; картина напоминает сражения, изображенные в «Илиаде», и, глядя на нее, можно сказать, что это становится в боевую позицию бог или богиня, которые действительно являются богом или богиней племени. Но через секунду охваченные не покидающим их страхом воины-женщины разбегаются вне себя в разные стороны. Встретившись вскоре после того, они снова разбегаются, если смерть их обеих грозит будущности их народа; так продолжается до тех пор, пока одной из цариц не удастся захватить врасплох свою менее осторожную и менее ловкую соперницу и убить ее без всякой для себя опасности. Принцип рода требует только одной жертвы».

После разрушения молодой царицей колыбелей или убийства ею соперницы она принимается своим народом. Но, дабы стать истинною царицей и видеть к себе отношение как к матери, ей остается еще совершить «брачный полет», ибо пчелы мало ею занимаются и мало оказывают ей почтения, пока она не будет оплодотворена. Но редко ее история бывает столь проста, так как пчелы неохотно отказываются от желания роиться вторично.

В этом случае, как и в первом, руководимая тем же намерением, царица приближается к царским ячейкам, но уж, вместо покорных и одобряющих ее решение служанок, встречается теперь с многочисленной и враждебно настроенной к ней стражей, которая заграждает ей путь. Разгневанная и преследуемая своей идеей фикс царица хочет пробиться сквозь стражу силою или обойти ее с фланга, но везде наталкивается на охраняющих почивающих принцесс часовых. Она настаивает на своем, возобновляет атаку, но ее отстраняют все более и более неучтиво; ее даже оскорбляют, и это продолжается до тех пор, пока она наконец не поймет, что эти маленькие, непреклонные в своем решении пчелы блюдают такой закон, пред которым должен смириться возбуждающий ее к действию другой закон.

В конце концов она удаляется, ползая с сотов на соты с своим неутоленным гневом и испуская тот военный клич или ту грозную жалобу, которые хорошо известны всем пчеловодам. Эти звуки похожи на отдельные звуки серебряной трубы и настолько сильно выражают гневную слабость царицы, что их слышно, особенно вечером, на расстоянии трех-четырех метров от улья, несмотря на его двойные и герметически закрытые стенки.

Этот звук царского голоса производит на работниц магическое действие. Он их как бы терроризирует или доводит до почтительного отупения, и когда царица издает такие звуки около запретных ячеек, то окружающая и защищающая последние стража внезапно останавливается, опускает голову и неподвижно дожидается их прекращения. Полагают, что благодаря именно производимому на пчел влиянию



этих звуков умеющей им подражать сумеречной бабочке Sphinx Atropos удается проникнуть в улей, где она пьет мед, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны пчел.

Два, три, а иногда и пять дней царица испускает эти недовольные звуки и зовет на борьбу покровительствуемых стражею соперниц. Тем временем соперницы созревают, желают, в свою очередь, увидеть свет и начинают прогрызать крышки своих ячеек. Великая смута угрожает государству. Но гений улья, принимая свои решения, предвидел и все их последствия; знающим свое дело стражникам известно, что должны они делать ежедневно, дабы устранить проявление враждебных инстинктов и направить к общей пользе противоположные силы. Они знают, что если новорожденным царицам удастся ускользнуть от их наблюдения, то они попадут в лапы уже непобедимой для них старшей сестры, и она убьет их одну за другой. Поэтому, по мере того, как наиболее созревшие царицы утончаю изнутри стены своей башни, работницы утолщают их извне новыми слоями воска; заключенная царица выходит из себя за работою, не догадываясь, что она грызет заколдованное препятствие, которое возрождается от разрушения. Одновременно до нее уже доходит боевой клич ее соперницы, и, зная ожидающую ее будущность и свои царские обязанности раньше еще, чем она успела бросить взгляд на жизнь и узнать, что такое улей, она уже героически отвечает на вызов царицы-сестры из недр своей тюрьмы. Но так как эти ответные звуки должны пройти сквозь стены темницы, то они очень непохожи на звуки, издаваемые царицей; они сдавлены, замогильны, и когда затихает деревенский шум и наступает вечерняя тишина, то приходящий к улью пчеловод с целью узнать, что происходит в таинственной обители, сразу понимает значение диалога между девою, бродящей на свободе, и девами-пленницами.

Это продолжительное тюремное заключение влияет, впрочем, благотворно на пленниц, которые выходят из него более зрелыми, более сильными и способными воспринять свободу. С другой стороны, долгое ожидание укрепило и силы царицы и подготовило ее к перенесению опасности путешествия. Второй рой, или «вторак», покидает тогда улей, имея во главе перворожденную из цариц. Вслед за этим отлетом оставшиеся в улье работницы освобождают одну из пленниц, которая уже сразу начинает обнаруживать те же смертоносные наклонности, испускает те же гневные звуки и, в свою очередь, покидает через три дня улей во главе третьего роя. Так продолжается и далее, и в случае «роевой горячки» дело доходит до полного истощения обители-матери.

Сваммердам рассказывает об улье, который путем роения и затем роения роев произвел тридцать колоний в течение одного лета.

Такое обыкновенное роение наблюдается особенно после суровых зим, как будто пчелам доступны тайные намерения природы, сообразуясь с которыми, они и принимают меры против опасностей, угрожающих их роду. Но такая лихорадочная деятельность в нормальное время составляет в хороших и благоустроенных ульях редкое явление.

Многие ульи роятся всего один раз, а некоторые даже не роятся вовсе. Обыкновенно после второго роения, потому ли, что пчелы замечают чрезвычайное ослабление своей обители, или потому, что состояние погоды указывает им на необходимость быть благоразумнее, но они отказываются от дальнейшего разделения. Они позволяют тогда третьей царице убивать пленниц, и обычная жизнь начинается с тем большим пылом, что почти все работницы очень молоды, что улей обеднел, обезлюдел и что до наступления зимы предстоит пополнить образовавшиеся большие жизненные пробелы.

Для упрощения рассказа вернемся к тому моменту жизни улья, когда пчелы уполномочивают царицу на убийство сестер. Я уже упоминал, что пчелы часто противятся убийству даже и тогда, когда они, по-видимому, не имеют намерения выпустить второго роя, но столь же часто они разрешают убийство, ибо политический дух одного и того же пчельника не менее разнообразен, чем дух различных национальностей людей одного и того же континента. Но те пчелы, которые дают согласие на убийство, поступают, видимо, неосторожно: умри или заблудись царица во время брачного полета, и потеря для улья невознаградима, ибо личинки рабочих пчел становятся тогда уже старше того возраста, который необходим для вывода цариц. Рассмотрим, тем не менее, тот случай, когда указанная неосторожность стала совершившимся фактом: перворожденная царица признана единой государыней ее народом, но она еще девственница. Для исполнения же роли той царицы-матери, которую она замещает, ей необходимо встретиться с самцом в течение первых же двадцати дней ее жизни. Если по каким бы то ни было причинам этот срок будет пропущен, то девственность царицы остается при ней навеки. Однако ж, как это мы уже видели, несмотря на свое девство, царица не вполне бесплодна. Тут встречаемся мы с той великой аномалией, с тем поразительным предостережением или капризом природы, который известен в науке под названием партеногенеза. Это явление свойственно некоторым насекомым из породы чешуйчатокрылых, перепончатокрылых и других. Царица-дева, оставшаяся неоплодотворенной, кладет и в большие и в малые ячейки яички, но из всех их без исключения выведутся только трутни: но так как трутни живут лишь трудами работниц, не только не внося ничего в общую работу, но даже не будучи способны поддерживать собственное существование, то через несколько недель после смерти последней работницы неизбежно наступает разорение и гибель всей колонии. Из положенных царицей яичек выйдут тысячи трутней, обладающих миллионами сперматозоидов, из которых ни один не может проникнуть в ее организм. Это явление не более, если хотите, поразительно, чем многие другие, ему подобные, ибо в очень скором времени после приступления к изучению проблем жизни и в особенности тайн зарождения — где таинственное и неожиданное попадают на каждом шагу, чаще даже и в гораздо менее туманном виде, чем в самых волшебных сказках, — они становятся настолько обычными, что наблюдатель теряет представление об их полном загадоч-

ности содержания. Но данное явление не становится от этого менее заслуживающим нашего внимания. Как прозреть ту цель природы, во имя которой она покровительствует бесполезным трутням в ущерб столь полезным работницам? Опасается ли она, чтобы сознание самок не толкнуло их на сверхмерное уничтожение столь разорительных для улья, но необходимых для поддержания пчелиного рода паразитов? Или мы имеем тут дело с крайней реакцией неоплодотворенного организма царицы на ее девство? Или это одно из тех слишком страшных или слишком слепых предупредительных деяний, когда совершающие их, не видя причин зла, не видят и истинных лекарств для него и, желая предупредить частное бедствие, доводят дело до катастрофы? В действительности же — хотя, употребляя это слово, мы не должны забывать, что естественная, свойственная предкам современных пчел действительность отличалась от условий, в которых живут пчелы в настоящее время, и что в первобытном лесу колонии пчел могли быть поэтому еще более разбросаны, чем теперь, — в действительности бесплодие царицы почти никогда не зависит от недостатка самцов, которые в большом количестве налетают отовсюду; это зависит скорее от дождей и холодов, удерживающих царицу слишком продолжительное время в улье и — что случается еще чаще, — от несовершенства ее крыльев, препятствующего ей стремительно подниматься ввысь, а необходимость именно такого полета обусловлена устройством организма самца. И однако природа, не принимая в расчет более существенных условий, чрезвычайно озабочена задачей размножения именно самцов. Для достижения этой цели она доходит до нарушения своих других законов. На пчельниках иногда встречаются ульи-сироты, в которых, влекомые непреодолимым желанием сохранить свой род, две-три пчелы-работницы берутся за несвойственную им функцию и, невзирая на свои атрофированные половые органы, до того проникаются желанием положить яички, что достигают своей цели; под влиянием страстного напряжения всего организма пчелы к одной цели их половые органы до такой степени развиваются, что становятся способными произвести несколько яичек. Но из таких яичек, так же, как из яичек девственной царицы-матери, выходят только самцы.

Мы встречаемся здесь с фактом проявления в природе высшего, хотя, быть может, и неблагоприятного начала, находящегося в прямом противоречии с сознательным принципом жизни. Вмешательство такого начала — явление довольно частое в жизни насекомых, и изучение его полно огромного интереса. Мир насекомых, более многочисленный и более сложный, чем другие миры, представляет и больше возможности уловить некоторые намерения природы и вывести их среди опытов, результаты которых нельзя еще считать за окончательные. Природа имеет, например, повсеместно одно общее намерение, которое можно формулировать так: усовершенствование каждого вида путем торжества сильнейшего в его борьбе за существование. И эта борьба обыкновенно хорошо организована. Количество слабых, и потому побежденных, несмет-

но, — что за важность! — была бы награда победителя прочна и действительна. Но бывают случаи, когда так и кажется, что природа не успела еще разобраться в своих планах, так как победа не только не влечет за собою награды, но, наоборот, победителя ожидает такая же мрачная судьба, как и побежденного. Если даже ограничиться только миром пчел, то и тут я не знаю ничего более поразительного, чем факты из жизни майки, относящейся к роду *Sitaris Colletis*. Такие факты некоторыми деталями своего проявления далеко не так чужды и миру людей, как это может казаться.

Майками называются первоначальные личинки паразита, сосуществующего с дикой, отшельнической, строящей свои гнезда в подземных галереях пчелой, которая называется *Collète*. Эти паразиты подстерегают обыкновенно пчелу при входе в галереи и в числе трех, четырех, пяти, а часто даже и более, цепляются за ее волоски и вскакивают ей на спину. Если бы здесь имела место борьба сильнейшего со слабейшим, то и разговаривать было бы не о чем, ибо все совершалось бы согласно универсальному закону природы. Но в том-то и дело, что, в силу неведомого и, очевидно, санкционированного природою инстинкта этих личинок, они остаются в совершенно спокойном состоянии все время, пока пчела летает к цветам, строит свои ячейки и снабжает их всем необходимым для ее потомства. И только в момент, когда пчела положит свое яичко, все паразиты устремляются в ячейку, а несчастная, ни о чем не догадывающаяся *Collète* заботливо заделывает отверстие снабженной всем необходимым для развития ее яичка ячейки. Ей и в голову не приходит, что она заделывает там же и смертельных врагов ее потомства. Но вот ячейка заделана. Тут из-за единственного находящегося в ней яйца начинается между майками неизбежная и благотворительная для вида борьба за существование. Самая сильная и самая ловкая из маек хватается своего противника за незащищенную панцирем часть тела, подымает его над головой и держит в челюстях в таком положении в течение целых часов, до тех пор, пока враг не испустит духа. Но пока происходит такое сражение, другая, оставшаяся без соперника или его уже победившая майка завладевает яйцом пчелы и начинает его раскусывать. Видя это, последний победитель набрасывается на нового врага и торжествует над ним тем более легкую победу, что удовлетворяющий свой роковой голод этот прилепившийся вплотную к яйцу враг и не думает о защите.

Совершилось новое убийство, побежден последний враг, и победитель остается наконец один со своею драгоценною и с таким трудом завоеванною добычею. Он жадно погружает голову в пробитое уже его предшественником отверстие яйца, и здесь начинается тот пир, результатом которого должно явиться превращение личинки в совершенное насекомое и снабжение его средствами для выхода из заделанных со всех сторон стен его тюрьмы. Но подвергшая победителя всем случайностям борьбы природа исчислила награду за его победу с такою точностью, что малейшая неполнота ее уже равносильна гибели для победителя. Дело в том, что лишь поглощение содержимого *целого* яйца, а никак не

менее того, является безусловной необходимостью для полного развития майки. «Таким образом, — говорит Майз, из сочинений которого мы заимствуем эти данные, — у победителя не хватает ровно столько пищи, сколько ее потребил, прежде чем умереть, его последний враг, и благодаря этому неспособный совершить даже первую стадию превращения победитель умирает, в свою очередь, или держась за скорлупу яйца, или увеличивая своим трудом количество утопленников, уже лежащих в сладкой жидкости, находящейся на дне ячеи».

Имеем ли мы право заключить из опасного для пчел явления партеногенеза, что природа не всегда умеет сообразовывать свои средства с намеченною ею целью, что подлежащее сохранению сохраняется иногда лишь благодаря иным *предосторожностям*, принимаемым ею именно против этих *предосторожностей*, а часто и вследствие обстоятельств, ею совсем не предвиденных? Но предвидит ли природа вообще что бы то ни было, думает ли она о сохранении чего бы то ни было? Природа, скажут многие, это лишь слово, которым мы прикрываем все неведомое, и немного найдется веских фактов, которые давали бы нам право признать в ее недрах присутствие сознательной и стремящейся к определенной цели деятельности. Это правда. Мы касаемся здесь такой герметически закрытой вазы, о содержании которой мы судим сообразно нашему представлению о вселенной. Чтобы не читать на этой вазе неизменно обескураживающую и налагающую на уста наши печать молчания надпись: «Неведомое», мы заменяем ее, в зависимости от величины вазы, словами: «Природа», «Жизнь», «Смерть», «Бесконечное», «Подбор», «Гений вида» и многими другими, совершенно так же, как делали в подобных случаях наши предки. Разница лишь в том, что они употребляли для той же цели другие выражения, говоря: «Бог», «Провидение», «Рок», «Возмездие» и т.п. Пусть так, если это нравится больше. Если внутри вас и до сих пор царствует мрак, все же мы ушли от наших предков, по крайней мере, в том, что заменили грозные слова менее страшными, а это дает нам возможность подойти поближе к вазам, прикоснуться нашими руками и, приложив ухо, прислушаться к происходящему в вазах с благотворною любознательностью. Каковы бы ни были названия этих ваз, мы знаем, по крайней мере, что одна из них, и притом самая большая, та именно, на которой написано слово «Природа», заключает в себе очень реальную силу. Эта сила, реальнейшая из всех сил, в состоянии поддерживать на нашей планете в огромном количестве и в несметном качественном разнообразии жизнь. Притом без преувеличения можно сказать, что употребляемые природою для этой цели средства превосходят все, что только мог бы создать человеческий гений. Могло ли бы это количество и качество жизни сохраняться иными средствами? Не мы ли заблуждаемся, полагая, что имеем дело с принимаемыми природою предосторожностями там, где, может быть, и нет ничего другого, кроме счастливой случайности, приходящейся в количестве одной на миллион несчастных?

Посмотрим теперь на способ, которым совершается оплодотворение пчелы-царицы. Мы увидим здесь опять необычные меры, которые принимает природа с целью благоприятствовать браку вылетевших из различных ульев самцов и самок. Ничто, кажется, не побуждало природу предписать тот странный способ его совершения, подробности которого мы увидим ниже. Это явилось результатом как бы каприза или первоначального промаха природы, для исправления которого она пускает в ход все свои наиболее чудесные силы.

Если бы природа употребила для упрочения жизни, уменьшения страданий, облегчения смерти и устранения роковых случайностей только половину того гения, который обнаружила она в явлениях перекрестного оплодотворения и некоторых других ее капризах, то, вероятно, вселенная представлялась бы нам менее загадочной, менее непроницаемой и менее безжалостной. Но не в том, что могло бы быть, а в том, что есть, надлежит разбираться нашему сознанию, и в этом состоит для нас интерес ко всему сущему.

Вокруг царицы-девственницы волнуются сотни живущих с ней в одном и том же улье самцов. Они постоянно упоены медом, и единственный смысл их существования состоит в совершении один раз в жизни акта любви. Но невзирая на такое беспрестанное соприкосновение между собою разнополых существ одной и той же породы, то есть на обстоятельство, при наличии которого повсеместно были бы опрокинуты все препятствия для удовлетворения страсти, в улье никогда не происходит брачного акта, и все опыты с оплодотворением находящейся не на воле царицы остались без результата. Окружающие царицу в улье самцы игнорируют ее пол до тех пор, пока она живет среди них. Не догадываясь, что они только что покинули самку, спали с нею на одних сотах, прикасались, может быть, к ней при стремительном вылете из улья, самцы отправляются искать ее в синеве пространства, в самых уединенных частях небосклона. Можно подумывать, что удивительные глаза самцов, покрывающие, как сияющим шлемом, всю их голову, узнают самку и возгораются к ней страстью только тогда, когда она парит среди лазури. Каждый день между одиннадцатью и тремя часами дня, то есть в пору, когда свет сияет во всем его блеске, и в особенности в тот момент, когда полдень взмахивает своими голубыми крыльями до самых границ небосклона и тем еще больше раскаляет солнечный зной, целая ватага разукрашенных самцов устремляется из ульев на поиски супруги.

Эта супруга более царственна и труднее достижима, чем самые недоступные принцессы легенд, ибо в момент ее появления к ней слетаются поклонники из двадцати-тридцати соседних пчельников, составляя тем ее кортеж в десять и более тысяч кавалеров.

И среди этого десятка тысяч претендентов всего один лишь явится избранником царицы, но и то какою ценою! Единственный, продолжающийся одно мгновение поцелуй обвенчает избранника одновременно со счастьем и смертью... Все же осталь-

ные самцы тщетно будут летать вокруг обнявшейся пары и скоро погибнут, не узрев больше величественного и в то же время фатального видения.

Я не преувеличиваю этой удивительной и безрасходной расточительности природы. В наилучших ульях находится, обыкновенно, от четырех до пяти сотен трутней. В более слабых или вырождающихся их насчитывают от четырех до пяти тысяч, ибо, чем ближе улей клонится к упадку, тем больше он производит трутней. Можно сказать, что, из пчельника в десять ульев вылетает, в среднем, в описанный момент до десяти тысяч самцов, из которых только десяти, много пятнадцати удастся совершить тот единственный акт, для которого они рождены на свет.

В то же время трутни страшно истощают запасы улья, ибо каждый из этих паразитов, умеющий работать только челюстями, требует для поддержания своего праздного и разорительного существования неустанного труда по меньшей мере пяти или шести работниц. Но природа всегда роскошничает, когда дело идет о функциях и привилегиях любви. Она скупа только на инструменты и орудия труда. Она относится особенно сурово к тому, что люди называют добродетелью, и, наоборот, расточает в изобилии свои дары и милости самым, казалось бы, несимпатичным любовникам. Она везде твердит одно и то же: «Соединяйтесь, размножайтесь, нет иного закона, нет иной цели в жизни, кроме любви», — но прибавляет тут же вполголоса: «А что с вами дальше будет, смотрите сами, меня это более не касается». Ищите, желайте другого, но в природе вы найдете только такую, столь резко отличающуюся от нашей нравственности. Обратите внимание также на скупость и несправедливость — с одной стороны, и безумную роскошь — с другой, которые обнаруживает природа в рассматриваемом нами маленьком мире.

Со дня рождения и до самой смерти добродетельная труженица — пчела должна летать вдаль, в самые густые чащи, на поиски скрывающихся там цветов. Ей нужно отыскивать укрытый среди нектарных лабиринтов и в самых потаенных проходах пыльников медовый сок и цветень. А между тем ее зрительные и обонятельные органы относятся к соответствующим органам трутней как глаза больного к глазам здорового человека. Будь трутни почти совсем слепы и лишены окончательно обоняния, они ничего от этого не потеряли бы и едва ли бы даже заметили такие недостатки. Им делать нечего, искать добычи не приходится. Им приносят уже совсем готовую пищу, и их существование среди мрака улья протекает в поглощении меда из сотов. Но это агенты любви, и поэтому самые богатые и производительные дары бросаются щедрою рукою природы в бездну будущего. Одному из тысячи самцов придется столкнуться однажды в жизни в лазурных высотах с царственной девой. Одному из тысячи удастся приблизиться на одно мгновение к самке, которая и не старается избежать его ласк. И этого довольно для того, чтобы пристрастная сила природы осыпала трутней до излишества своими неслыханно-роскошными дарами. Каждого из этих проблематических любовников, из которых девяносто девять будут умерщвлены через не-

сколько дней после рокового бракосочетания тысячного, она наделила тринадцатью тысячами глаз с обеих сторон головы, тогда как у работницы их всего шесть тысяч. Она снабдила их щупальцами, в которых, по исчислению Чешайра, находится тридцать семь тысяч восемьсот обонятельных полостей, тогда как у работниц таких полостей имеется не более пяти тысяч. Вот пример той наблюдающейся почти повсеместно непропорциональности, с которою природа распределяет свои дары между носителями любви и представителями труда. Она осыпает щедротами того, кто предназначен ею среди наслаждения давать импульс жизни, и относится весьма равнодушно к терпеливо влачащим в трудах свое существование. Если бы кто подумал нарисовать истинный портрет природы на основании указанных здесь ее свойств, то у него получилось бы нечто необычайное, не имеющее ничего общего с нашим идеалом, но проистекающее тем не менее из того же источника. Но человек не ведает слишком многого, чтобы взяться за изображение портрета природы. Ему пришлось бы на огромном черном фоне бросить два-три неуверенных штриха.

Очень немногие, я думаю, проникли в тайну брака царицы-пчелы, совершающегося в беспредельных сферах ослепительно сияющего неба. Гораздо легче проследить за неуверенным вылетом из улья невесты и за возвращением оставившей за собою труп возлюбленного новобрачной.



Невзирая на овладевающее ею нетерпение, царица сама выбирает день и час отлета, ожидая в тени летка мгновения, когда чудное утро вольется в брачное пространство из глубины лазурных урн. Она любит вылетать из улья в тот момент, когда роса еще не совсем сошла с листьев и цветов, когда последняя свежесть угасающей утренней зари борется с наступающим жарким днем, подобно обнаженной деве с объятиями грубого воина, когда тишина приближающегося дня еще нарушается то здесь, то там звуками, наполняющими воздух при наступлении зари, а полуденный аромат роз смешивается с утренним благоуханием фиалок. Тогда-то появляется она на порог улья среди толпы либо равнодушных, занимающихся своими делами, либо обуйных страхом за свою царицу пчел-работниц. Такое отношение работниц находится в зависимости от того, остаются ли в улье у царицы сестры, могущие, в случае надобности, ее заменить, или нет. Она вылетает из улья с головою, обращенною назад, возвращается два или три раза к летку и лишь после того, как хорошо запомнит внешний вид и точное местоположение своего, до того дня ни разу не виденного ею извне царства, поднимается стрелою прямо к лазурному зениту. Тут достигает она тех лучезарных высей, которых остальные пчелы не видят в течение всей своей жизни. Но вот где-то далеко нежащиеся на цветах самцы почуяли особо притягательный для них аромат, который все приближается и распространяется по всем соседним пчельникам. Немедленно собираются целые толпы трутней и стремительно кидаются в ясное море света, берега которого отодвигаются все дальше и дальше. А она, царица, упоенная полетом, покорная чудесному закону ее вида, который независимо от нее избирает ей возлюбленного и требует, чтобы ею овладел в уединении эфира лишь самый сильный, — она летит все выше и выше; голубой воздух утра врывается в первый раз в ее дыхательные пути и клокочет, будто небесная кровь, в многочисленных трубочках, соединяющихся с двумя занимающими заднюю половину ее тела пустыми мешочками. Она летит вверх. Ей нужно достигнуть той пустынной области, куда не залетают даже птицы, которые могли бы нарушить таинство. Она несется все выше и выше. Ее свита редет, уменьшается.

Слабые, немощные, старые, голодные, налетевшие из обедневших и вырождающихся пчельников, отказываются от преследования и исчезают в пространстве. Среди опалового моря упорствует в своей цели лишь небольшая кучка неутомимых. Царица делает еще усилие лететь дальше в одиночестве, но избранник высшей непостижимой силы ее догоняет, схватывает — и ускоренная двойным порывом восходящая спираль их совместного полета кружится одно мгновение от импульса, враждебного чарам любви.

Большинство живых существ смутно чувствует, что лишь нечто крайне непрочное, нечто вроде тонкой прозрачной перепонки отделяет область смерти от области любви и что глубокий закон природы требует смерти всякого живого существа именно в момент зарождения им новой жизни. По всей вероятности, этот наследственный страх и придает та-

кое серьезное значение любви. Но в описываемом случае реализуется во всей своей первобытной простоте именно то роковое явление, воспоминание о котором носится и до сих пор над поцелуем человека. Как только оканчивается брачный акт, брюшко самца полураскрывается, масса внутренностей его остается при самке, а сам он с опущенными крыльшками, лишенным внутренностей брюшком, как бы пораженный брачным блаженством, стремительно падает в бездну.

Та самая идея, во имя которой при партеногенезе будущность улья приносится в жертву чрезмерному размножению самцов, имеет место и при брачном полете; только здесь во имя будущности улья приносится в жертву самец.

Это явление поражает нас беспрестанно, и чем глубже в него вникаешь, тем менее оно становится понятным. Дарвин, например, который изучал его с наибольшим усердием и методичностью, почти сам того не сознавая, теряется на каждом шагу; неожиданные и не укладывающиеся в теорию явления его сбивают с толку. Если вы желаете присутствовать при благородном и оскорбительном в одно и то же время зрелище борьбы человеческого гения с бесконечною мощью природы, то следите за Дарвином в его попытках раскрыть странные, окутанные непонимаемой тайной и не укладывающиеся ни в какие формулы законы плодovitости и бесплодия гибридов или законы изменчивости родовых и видовых признаков.

Едва успеет он сформулировать какой-нибудь принцип, как его начинают осаждать бесчисленные исключения, и счастлив еще принцип, если он успеет, заняв место где-либо в уголке, сохранить собственное существование под видом «исключения».

В явлениях гибридизма, отклонениях вида от определенного типа, в проявлениях инстинкта, в борьбе за существование, в естественном подборе, в геологической последовательности живых существ, их географическом распределении и взаимном родстве — везде и всюду замечается следующее: в одном и том же случае, в одно и то же время природа отличается и мелочностью, и неглижерством, и скупостью, и расточительностью, и невнимательностью, и предусмотрительностью, и непостоянством, и непреклонностью, и единством, и бесконечным разнообразием, и ничтожностью, и величием. Когда перед ней расстилается неизмеримое действительное поле для производства простых вещей, она наполняет его мелкими ошибками, незначительными и противоречивыми законами, трудно разрешимыми проблемами, которые бродят среди бытия, как слепые стада. Разумеется, это верно лишь по отношению к нашему субъективному зрению, отражающему реальность лишь приблизительным образом, на деле же ничто не позволяет думать, чтобы, действуя таким образом, природа теряла из вида свои намерения и их отдаленные последствия. И, во всяком случае, природа в чрезвычайно редких случаях позволяет себе идти по неверному пути или входить в опасные области. У нее всегда в запасе две силы, располагая которыми, она исправляет ошибки. Эти две силы — жизнь и смерть. Когда какое-либо явление переходит известные пределы, она дает знак жизни или смерти, и, являясь на ее зов, они уста-

навливают порядок и прокладывают путь для новых явлений с полным индифферентизмом. Действия природы ускользают от нас во все стороны. Она отрицает большинство наших законов, уничтожает все наши масштабы. С одной стороны, она ниже нашей мысли, с другой — она возвышается над нею, как какая-то громада. Нам кажется, будто она ошибается на каждом шагу, как в первых стадиях развития всего сущего, так и в последних областях творения, под чем я разумею мир человека. Здесь она санкционирует инстинкты темной толпы, бессознательную несправедливость массы, дефекты разума и добродетели, далеко не возвышенную мораль, руководящую великим стремлением сохранения вида. А между тем эта мораль, видимо, ниже той, которую может постигнуть и пожелать человеческий дух, присоединяющий к мутной реке такой морали свой более чистый приток.

Виноват ли однако разум в том, что он задает себе вопрос такого рода: не должен ли он искать все истины, а стало быть, и истины моральные, скорее в этом хаосе, чем в себе самом, где они являются относительно яснее и определеннее?

Здесь дело идет не об отрицании смысла и достоинства идеала разума, освященного деяниями стольких мудрецов и героев, а о том, чтобы решить вопрос: не создан ли этот идеал слишком независимо от того огромного большинства людей, положительные, хотя и растворенные в массах качества которого он должен представлять? Человек имел до сих пор основание бояться, как бы попытка согласования его морали с моралью природы не уничтожила того, что ему казалось *chef d'oeuvre* самой природы; но теперь, когда он узнал природу немного лучше и когда ее ответы на некоторые вопросы обнаружили, хотя и не вполне ясно, такую неожиданную для него полноту, показали ему такую закономерность и интеллект, о которых он не смел и мечтать, замыкаясь в самом себе, — он стал менее боязливым; он уже не чувствует так властно ему повелевавшей прежней нужды укрываться от природы под сень собственного разума и собственной добродетели. Он рассуждает так: все то, что возвышенно, не может научить его ничему низменному; и он думает: не пришла ли пора для основательной проверки его собственных принципов, убеждений и грез?

Повторяю, дело вовсе не идет о том, чтобы отвергнуть человеческий идеал. Напротив, даже то, что сначала отвлекает его от идеала, учит его снова возвратиться к нему. Природа не могла бы давать плохих советов уму, который отказывается принять какую бы то ни было истину за абсолютную и достойную великого плана, предназначенного им для осуществления, если истина эта не будет, по меньшей мере, столь же возвышенна, как субъективные о том же предмете пожелания. Ничто не изменяет своего места в его жизни иначе, как для того, чтобы идти дальше вместе с ним; и долго будет он говорить, что движется вперед, когда на деле он только приближается к своим старым понятиям о благе. Но в области мысли все изменяется с гораздо большею легкостью. Тут человек в своем пристрастном созерцании вещей опускается безнаказанно до обожания наравне с добродетелью самых ужасных и самых без-

нравственных в мире противоречий, ибо он предвидит, что целым рядом низин он дойдет до искомой им горы. Это созерцание и это обожание не мешают ему в поисках истины даже тогда, когда эти поиски приводят его в области диаметрально противоположные тому, к чему он расположен, — основывать свое поведение на самых человечески прекрасных истинах и держать себя в этом временном состоянии на самой высокой ступени. Все то, что усиливает благо и добродетель, входит непосредственно в его жизнь. Все то, что уменьшает эти качества, находится в состоянии бездейственного, подобно тем нерастворимым солям, которые изменяют свои свойства лишь при специальной обстановке. Человек может принять умом истину низменную, но действовать согласно этой истине он подождет, может быть, целые века, если это понадобится, до того времени, пока не решит вопроса, какое отношение имеет данная истина к истине бесконечным и в чем ее шансы объять и превзойти все остальные.

Словом, человек разделяет нравственный миропорядок от миропорядка интеллектуального и в области первого допускает изменения лишь в сторону более великого и более прекрасного. Если это разделение двух миропорядков достойно порицания, то в том лишь часто имеющем место в жизни случае, когда во имя его действуют хуже, чем можно бы действовать по указаниям одной мысли, но не наоборот. Видеть дурные для себя последствия и действовать все-таки по указаниям морали, ставить нравственную оценку своего поведения выше оценки логической — дело всегда разумное и благодетельное, так как человеческий опыт заставляет нас с каждым днем убеждаться все более и более, что самые гениальные мысли еще долго будут находиться ниже уровня той таинственной истины, которой мы алчем.

Впрочем, если бы все прошлое представление о природе оказалось неверным, то и тогда оставался бы человеку простой и естественный резон не покидать человеческого идеала. Чем более придает он значения таким законам, которые, по-видимому, выставляют перед ним эгоизм, несправедливость и жестокость в качестве образцов для подражания, тем рельефнее выступают перед его глазами в то же время другие законы, указывающие на необходимость для него великодушия, справедливости и сострадания. И это потому, что в тот момент, когда он начинает отделять более точно качества, принадлежащие природе, от качеств, принадлежащих ему лично, он тотчас же видит, что последние так же естественны и так же глубоко внедрены в нем, как и первые.

Возвратимся однако к трагическому браку царицы. В рассматриваемом нами примере природа требует, в интересах перекрестного оплодотворения, чтобы союз самца и самки мог произойти только под открытым небом. Но намерения природы переплетаются между собою наподобие сети, и самые важные ее законы сталкиваются ежеминутно с другими законами, изменяющимися, в свою очередь, под влиянием первых.

Обставив царицу при ее небесном путешествии

бесчисленными опасностями в виде холодных ветров, бурь и покорных непреложным законам дождей, возможностями головокружения, встречи с враждебными ей птицами и насекомыми, природа должна была позаботиться, чтобы брачный акт продолжался сколь только возможно короткое время. И, действительно, этот акт страшно короток вследствие моментальной смерти самца. Одного прикосновения достаточно, а все остальное совершится уже в недрах супруги.

Из далекой синевы небес возвращается царица к своему улью, влача за собою, подобно знамени, развевающиеся внутренности своего возлюбленного. Некоторые пчеловоды утверждают, что работницы выражают большую радость при виде царицы, возвратившейся из путешествия с такими данными для надежд на будущее. Бюхнер, равно как и некоторые другие натуралисты, описывает эту картину с большими деталями, но что касается меня, то, наблюдая сцену возвращения царицы из ее брачного путешествия много раз, я не замечал среди работниц никакого необычайного волнения; исключения составляют те случаи, когда дело шло о вылете молодой, стоящей во главе роя царицы, являющейся единственной надеждой недавно основанной и еще не населенной обители. Тогда все пчелы бьются, действительно, крайне возбуждены и летят стремительно навстречу царице. Обыкновенно же, несмотря на то, что опасность для роя с отлетом царицы весьма значительна, работницы как будто забывают об ее существовании.

У них все прекрасно предусмотрено до того момента, когда они допускают убийство цариц-соперниц, но тут их инстинкт им изменяет: в их осторожности является как бы некоторый изъян. Поэтому, вообще говоря, они относятся к вопросу о браке царицы довольно равнодушно. Они обращают головки в сторону возвратившейся из путешествия царицы, замечают, быть может, стоившие жизни самцу признаки совершившегося оплодотворения, но, не исполненные окончательного доверия, они не обнаруживают той радости, которую готово видеть здесь наше воображение. Положительные и не увлекающиеся, они, вероятно, прежде чем ликовать, ждут других доказательств того, что оплодотворение совершилось. Совершенно неправильно мерить логическою меркою человека, доводя ее до крайности, чувства этих столь отличающихся от нас маленьких существ. Наблюдая жизнь пчел и других существ, носящих в себе искру нашего интеллекта, очень редко достигаем тех результатов, о которых говорится в книжках. Слишком много обстоятельств остается еще для этого непроницаемыми. Зачем изображать эти существа более совершенными, нежели они есть на самом деле, говоря то, чего в действительности нет? Если исследователь жизни этих существ думает, что они станут интереснее от большего сходства с нами, то он этим лишь докажет отсутствие в нем истинно научного духа исследования.

Целью исследователя должно быть не желание поразить, а понять то, что пред ним происходит; с этой точки зрения все недочеты интеллекта и в особенности психических процессов, отличающие их

от процессов, происходящих в нас самих, явления не менее интересные, чем обнаружение в них элемента чудесного.

Впрочем, не все пчелы одинаково безучастны к совершившемуся факту брака царицы. Когда, задыхаясь, возвращается она к порогу улья, то вокруг нее образуется несколько групп работниц, которые и сопровождают свою повелительницу под свод родного крова, куда солнце, этот герой всех торжеств пчел, изливает лишь робкие лучи и обливает светом и тенью восковые стенки сотов с их медовыми драпировками. Да и сама новобрачная волнуется не более, чем ее подданные. В узком мозгу практичной и жестокой царицы совсем нет места для разнообразных душевных движений. Она озабочена лишь тем, чтобы отделаться поскорее от оставленного ее супругом сувенира, мешающего ей свободно двигаться по улью. Она усаживается на порожке и тщательно вырывает ненужные части. В этот же момент работницы подхватывают их и забрасывают далеко от улья. Дело в том, что супруг царицы отдал ей все, что имел, даже больше, чем ей нужно было. Она сохраняет в своей сперматеке только семенную жидкость, в которой плавают тысячи зародышей; эти-то зародыши будут появляться один за другим, до самой смерти царицы, в момент выхода яиц, и тут-то совершается во мраке ее тела то таинственное соединение мужского и женского элемента, от которого происходят работницы. Путем странного уклонения от общего правила здесь самка дает плоду начало мужское, а самец — женское. Спустя два дня после оплодотворения царица кладет свои первые яички, и с этой минуты она становится предметом самого заботливого ухода со стороны ее подданных. Тут-то, владея двойным полом, заключая в себе неистощимый запас мужского начала, царица начинает вести предназначенную ей жизнь: она не покидает более улья и не видит более света, за единственно возможным исключением — вылета роя. Ее плодородие прекращается лишь незадолго до ее смерти.

Вот чудесная свадьба, одна из самых фееричных, какие только можно вообразить: облитая лазурью и полная трагизма, увлеченная порывом страсти за пределы мысли о сохранении жизни, она является в одно и то же время молниеносной и вечной, единой и блестящей, сокрытой от взоров и бесконечной. Вот поразительная степень экстаза, где смерть показывается посреди яснейшей и прекраснейшей обстановки, какая только может существовать в нашем мире; среди беспредельного девственного пространства и упоительной прозрачности неба запечатлевается она миг счастья, очищает среди безоблачного сияния дня этот миг от того несколько вульгарного элемента, который всегда примешивается к любви, увековечивает поцелуй и, довольствуясь на этот раз небольшой данью, берет на себя с почти материнскою нежностью заботу соединения воедино, в одном и том же теле, на долгое будущее, двух маленьких хрупких жизней.

Действительная истина лишена этой поэзии, зато она имеет другую, более трудную для нашего понимания теперь, но которую, быть может, мы поймем и полюбим позже. Природа не утруждала себя со-

зданием для этих двух, как бы сказал Паскаль, «сокращенных атомов» великолепной свадьбы или идеальной минуты любви. Она имела в виду, как мы уже говорили, только усовершенствование вида. И для этой-то цели создан ею половой орган самца таким образом, что функционировать он может только в беспредельной выси пространства. Раздутие дыхательных путей, достижимое только при долгом полете, является предварительным условием возможности полового отправления для самца. Наполненные воздухом пузыри отталкивают тогда назад нижнюю часть брюшка и тем открывают возможность для самца полового акта. В этом и состоит весь физиологический секрет свадьбы пчел — секрет довольно-таки вульгарный для одних, почти досадный для других, ибо он лишает поэзии изумительную картину полета влюбленных и восхитительного путешествия их во время их великолепной свадьбы.

«А мы, — вопрошает поэт, — должны ли мы будем всегда находить поэзию лишь по ту сторону истины?»

Да, всегда, везде и всюду будем находить мы поэзию не по ту сторону истины, ибо это невозможно, так как мы не знаем, где именно она обретается, а по ту сторону тех ничтожных повседневных истин, которые мелькают перед нами. Если благодаря какой бы то ни было причине — будь то случай, воспоминание, иллюзия, страсть, это все равно, — какой-либо предмет покажется нам лучше, чем он кажется другим, то да будет для нас всего дороже именно эта причина. Может быть, мы ошибаемся; так что же? Ошибка не мешает тому, чтобы тот момент, в который данный предмет казался нам наипрекраснейшим, и был моментом, когда мы были наиболее способны оценить его истинное достоинство. Красота, которою мы его наделяем, научает нас распознавать его действительную красоту и величие, открыть которые нелегко, ибо они находясь в определенных отношениях к законам и общим, вечным силам природы. Порожденное, быть может, и иллюзией восхищение не пропадает даром и рано или поздно приведет к истине.

Благодаря словам, чувствам и сердечному жару, развитым древними фиктивными идеалами, собирает человечество ныне истины, которые, может быть, не родились бы совсем или не нашли бы благоприятной среды для своего роста, если бы эти священные иллюзии не приучили нас к себе, не разогрели нашего сердца, не приготовили нашего разума для восприятия истин. Счастлив тот, кто не нуждается в иллюзиях, чтобы видеть и без них все величие зрелища! Других же только иллюзия и научает видеть, любоваться и радоваться. И как бы высоко они ни взглянули, они никогда не взглянут слишком высоко. По мере приближения к истине она поднимается все выше и выше; чем больше ею восхищаешься, тем ближе к ней приближаешься. И как бы высоко они ни воспарили духом, их упоение никогда не встретит пустоты, не очутится выше вечной и непознаваемой истины, остающейся везде и всюду подобно бездейственной красоте.

«У нас нет еще истины, — сказал мне как-то один

великий современный физиолог, гуляя со мною по полю, — у нас нет еще истины, но у нас есть подобия истины. Каждый делает свой выбор, или, лучше сказать, подчиняется этому выбору. Выбор, которому он подчиняется или которого бессознательно придерживается, и определяет собою форму и направление всего, проникающего в его сознание. Встреченный нами друг, приближающаяся к нам с улыбкою на устах женщина, раскрывающая наше сердце любовь и замыкающая его печаль и смерть, сентябрьское небо, роскошный, пышный сад, в котором мы находим, как в «Psyché» Корнеля, покоящиеся на золотых подпорках зеленые колыбельки, пасущееся стадо и спящего пастуха, деревенские дома и расстилающееся за лесами море, — все это изменяется, увеличивается или уменьшается, украшается или искажается раньше, чем быть воспринятым нами по ничтожному сигналу, подаваемому нашим выбором. В этом мы должны уметь разбираться. Находясь на склоне жизни, проведенной в поисках частичных истин и физических причин явлений, я начинаю теперь ценить не отклонение от этих причин, нет, не нечто им предшествующее и, в особенности, их несколько превосходящее».

Мы достигли вершины плато в местности Саух в Нормандии, которое не только так же роскошно, как английский парк, но еще прекраснее его по своей естественности и беспредельности. Это одно из тех редких местечек на земном шаре, где сельский простор проявляется во всей своей здоровой и чистой свежести. Еще немного к северу — и стране



грозит бесплодие, немного к югу — ее жжет и истощает жаркое солнце. В конце спускающейся до самого берега моря равнины крестьяне ставили скирду хлеба. «Посмотрите, — сказал мне старик, — как хороши они отсюда. Они воздвигают ту простую, но столь важную в этом мире вещь, которая больше всего остального имеет право быть названной счастливым и неизменным памятником возрождающейся человеческой жизни. Это — скирда хлеба. Возгласы крестьян кажутся издали в вечернем воздухе песнями без слов, вторящими благородной песне листьев, колыхнувшихся над нашими головами. Небо над ними столь чудно, что можно подумывать, будто какие-то добрые духи с огненными пальмовыми ветвями в руках сгребли весь свет в скирде, дабы светить подольше над работой тружеников. И кажется, будто след от этих пальмовых ветвей остался до сих пор в небе. Взгляните на скромную церковь среди куполообразных лип на мягком газоне кладбища, возвышающуюся над ними и как бы охраняющую их. Они гармонично воздвигают свой памятник жизни над памятниками своих покойников, которые делали то же и не являются для своих родственников несуществующими. Возьмите весь ансамбль картины: в ней нет тех особенных характерных черт, которые мы находим в Англии, Провансе и Голландии. Эта картина огромна, но она слишком банальна для символизирования естественной и счастливой жизни. Посмотрите, каким ритмическим становится существование человека в его движениях, направленных к одной лишь пользе. Взгляните на крестьянина, ведущего лошадь, на весь корпус того, который подает вилами снопы, на женщин, склонившихся над нивой, на играющих детей... Для увеличения красот природы они не сдвинули ни одного камня с места, ни одной горсти земли, не сделали лишнего шага, не посадили лишнего дерева, не посеяли лишнего цветочка. Все, что мы здесь видим, является косвенным результатом лишь одной цели: стремления человека завоевать у природы мигмом пролетающую жизнь. И однако же те из нас, которые задавались исключительно целью представить себе и создать картину мира, глубоких дум и красоту природы, не нашли ничего более совершенного, чем этот вид. И они изображают его всегда, когда хотят дать нам представление о красоте и счастье. Вот вам первое подобие того, что некоторые называют истиной.

Подойдем поближе! Слышите ли вы звуки песни, которая так мелодично вторит шепоту листьев этих огромных деревьев? Сама песня состоит из самых грубых слов и выражений. Всякий взрыв смеха вызван здесь какою-нибудь непристойностью мужчины или женщины или злою насмешкою по адресу слабых: горбуна, изнемогающего под своей непосильной ношей калеки, которого они же сшибили с ног, или идиота, вечной мишени для издевательств. Я наблюдаю этих людей уже в течение многих лет. Мы — в Нормандии, где почва так плодородна, что не требует больших трудов. У этой скирды собрались более зажиточные, чем другие, крестьяне, с образами которых мы ассоциируем подобную же картину. В результате большинства мужчин и женщин тут алкоголики. Другой яд, называть который я не нахожу здесь уместным, разъедает еще более их

организмы. Этому яду и алкоголизму обязаны своим видом дети, которых вы видите. Вот карлик, вот золотушный, вот кривоногий, вот ребенок с заячьей губой, а вот наконец и гидроцефал. Здесь мужчины, женщины, старые и молодые имеют все свойственные крестьянству пороки. Они жестоки, лицемерны, лживы, жадны, злоязычны, завистливы, склонны к недозволенному барышничеству, к кривотолкам и к грубой лести пред сильнейшим. Нужда их соединяет и принуждает к взаимопомощи, но сокровенное желание у всех одно и то же: вредить друг другу в той степени, в какой только это возможно, не навлекая на себя опасности. Несчастье ближнего составляет единственную искреннюю радость деревни. Случись несчастье с одним из них, это надолго будет излюбленной темой для разговора у других. Всякий следит за каждым шагом другого и завидует ему, презирает и ненавидит его. Если они бедны, то они ненавидят своих хозяев за их жестокость и скупость глубокою и скрытою ненавистью; но если у них, в свою очередь, есть свои слуги, они пользуются примером своих хозяев и превосходят их в жестокости и алчности.

Я мог бы дать вам подробное представление нищеты, обмана, несправедливости, тирании, которые скрываются за этой поэтической картиной мирного труда. Не воображайте, что вид этого чудного неба, этого моря, расстилающегося позади церкви и сливающегося с другим небом, еще более далеким, покрывающим земной шар, как огромное зеркало сознания и мудрости, — да, не подумайте, чтобы все это возвышало и развивало их кругозор. Они на все это даже и не смотрят. Ничто не трогает их, ничто не руководит ими, кроме трех или четырех мелких чувств: это страх перед голодом, силой, рутиной и законом; в смертный же час ими овладевает страх перед ужасами ада. Чтобы видеть, каковы они, надо их рассматривать поодиночке. Посмотрите на этого великана, обладающего таким добродушным лицом и так ловко подбрасывающего снопы. Прошлым летом его товарищи в пьяной ссоре сломали ему правую руку. Повреждение было опасное и сложное, но я его вылечил. Долго пришлось мне с ним возиться. Я помогал ему деньгами до тех пор, пока он не был в состоянии снова приняться за работу. Он приходил ко мне каждый день. А потом он стал рассказывать, что застал меня в объятиях сестры моей жены и что мать моя пьет запоем. Он не зол и не желает мне зла, напротив, посмотрите, какую искреннюю улыбку освещает его лицо при виде меня. И заметьте, к злословию побуждала его не классовая ненависть: крестьянин не может ненавидеть богатого — он слишком почитает богатство. Но я думаю, что это произошло оттого, что мой наивный крестьянин не мог постигнуть, отчего я вожусь с ним без всякой для себя выгоды. Он подозревал, что тут была какая-то скрытая цель, и не хотел быть моей жертвою. И он не один делает так; и до него это делалось, как бедняком, так и богачом, да еще похуже. Ему и в голову не приходила мысль, что он лжет, распространяя эти ложные слухи; он просто повиновался какому-то смутно сознаваемому закону, повелевавшему его нравственностью. Он бессознательно и как бы против воли подчинился всемогущему приказанию, общему чувству недоброжела-

тельства. Но к чему накладывать последние штрихи на картину, хорошо знакомую всем, прожившим в деревне несколько лет. Вот второе подобие того, что некоторые называют истиной. Это — истина неохотимой прозы жизни. Без сомнения, она основана на самых точных фактах, на фактах, единственно доступных наблюдению и проверке человека».

ИСТРЕБЛЕНИЕ САМЦОВ

Если небо остается ясным и погода теплой, если цветы изобилуют еще цветочной пылью и нектаром, то пчелы-работницы после оплодотворения царицы, как бы по снисхождению или по забывчивости, а может быть, просто в силу чрезмерной предусмотрительности, терпят в течение еще некоторого времени тягостное и разорительное пребывание самцов. Последние же ведут себя в улье так, как вели себя некогда искатели руки Пенелопы в доме Улисса. Эти почетные любовники, расточительные и бесцеремонные, ведут самый праздный образ жизни, бражничая и пируя. Сытые, толстые трутни загораживают аллеи и проходы, мешая работам пчел. Они толкаются, и их толкают. Это какие-то ошеломленные существа, напыщенные незлобным презрением ко всему, но зато, в свою очередь, презираемые другими сознательно и за дело. Они не ведают накопляющегося против них ожесточения и той участи, которая их ожидает. Они выбирают себе на ночь самые теплые уголки в своем улье и, проснувшись, лениво отправляются опустошать открытые для них медовые ячейки, выбирая притом самые душистые и пачкая своими экскрементами соты. Терпеливые сборщицы глядят в будущее, а теперь молча прибирают за самцами. Трутней можно видеть на пороге улья в жаркий июльский или августовский день, между двенадцатью и тремя часами, когда вся природа утопает в сладкой неге. Голова их украшена блестящим шлемом, состоящим из двух огромных черных жемчужин; на шлеме развеваются два длинных султана; рыжеватая бархатная куртка, орден «Золотого руна» и прозрачный плащ дополняют костюм. Они производят страшный шум и смятение, сбивают часовых с их постов, опрокидывают вентиляторы, сваливают с ног работниц, возвращающихся домой и изнемогающих под тяжестью своих скромных нош. Их поступь, важная, экстравагантная, нетерпимая, — поступь спешащих исполнить какое-нибудь недоступное пониманию простых смертных дело божеств.

Один за другим эти непобедимые в своем самодовольстве фигуры выползают из улья, спокойно рассаживаются поблизости на цветах и погружаются в сон, который продолжается до тех пор, пока их не разбудит вечерняя свежесть. Тогда они, все тою же царскою поступью, с тою же печатью высшего назначения, возвращаются в улей; войдя туда, они спешат к чуланам, погружают в медовые чаны свои головы по шею, раздуваются до того, что становятся похожими на амфоры, и, восстановив свои силы, тяжелой походкой отправляются снова на сладкий покой, в котором и пребывают беззаботно до тех пор, пока снова не наступит время кушать.

Однако терпение пчел гораздо скорее истоща-

ется, чем терпение людское. В одно прекрасное утро давно ожидаемый приказ разносится по всему улью, и мирные работницы превращаются в грозных судей и палачей. Кто отдает приказ — неизвестно, но исходит он внезапно из холодного и рассудочного негодования работниц; согласно же гению единодушия в республике, приказ приводится в исполнение немедленно по его произнесении. Часть населения прекращает сбор меда, чтобы посвятить этот день делу правосудия. Толстые бездельники, висающие гроздьями на медовых стенках улья, беспечно спят; но целая армия разгневанных дев грубо пробуждает их от сна. Доверчивые, ничего не подозревающие самцы просыпаются, не веря своим глазам: их удивление едва пробивается сквозь их лень, как луч луны сквозь воды болота. Им кажется, что они сделали жертвами какой-нибудь ошибки, они озираются кругом в недоумении, и доминирующая потребность всего их существования, проникая в их тупые мозги, толкает их к медовым чанам за утешением. Но теперь уже кончились для них сладкие майские дни, прошло время душистого липового цвета, нет уже постоянных ароматов шалфея, богородской травы, клевера и майорана. Вместо прежнего свободного доступа к гостеприимным кладовым, равнодушно открывавшим перед ними двери к сладким и обильным запасам, теперь они встречаются перед собою колющий лес из отравленных жал. Изменилась счастливая для них атмосфера обители. Вместо приятного аромата меда теперь распространился какой-то едкий запах яда, капельки которого сверкают на концах жал и свидетельствуют о повсюду разлитой по отношению к трутням ненависти и мщению. И раньше, чем самцы успевают сообразить, что произошел неслыханный переворот в их роскошной жизни, нарушение всех счастливых для них законов обители, на каждого из перепуганных паразитов набрасываются по несколько слуг правосудия; они стараются подрезать трутням крылья, перепелить ножку, соединяющую их брюшко с грудью, отрезать трепещущие щупальцы, вырвать лапки и найти щель между кольцами его лаг, чтобы вонзить туда свой меч. Огромные, невооруженные, лишенные жала существа и не помышляют о сопротивлении; они стараются ускользнуть от врагов или подставить спину сыплющимся на них ударам; опрокинутые же на спину, они неуклюже отбрасывают в разные стороны своих неумолимых, неотвязно приставших к ним врагов, пока не истощаются их последние силы. Через очень короткое время они приходят в такое жалкое состояние, что, будь на месте пчел люди, то немедленно заговорила бы о пощаде всегда тесно уживающаяся в нашем сердце рядом со справедливостью жалость, — но в сердце черствых, признающих только глубокий, сухой закон природы работниц нет места ни для жалости, ни для пощады. Крылья несчастных уже изорваны, их лапки вырваны, щупальцы уничтожены, и их великодушные черные глаза, зеркало пышных цветов, отражавшие синеву лазури и невинную гордость лета, теперь заволакиваются страданием и отражают одну лишь горечь и отчаяние смерти. Одни погибают тут же от своих ран, и их тела немедленно относятся двумя-тремя палачами на отдаленные кладбища; другим, раненым не столь тяжело, удаётся забиться мас-

сою в какой-нибудь угол, но тогда беспощадная стража блокирует их там, пока они не погибнут с голоду. Многие успевают добраться до выхода и исчезнуть в пространстве, увлекая за собою своих противников; но к вечеру, томимые голодом, они возвращаются назад и толпятся, умоляя о крове, у входа в улей; однако и на этот раз они встречаются с неумолимой стражей. На следующий день работницы убирают прежде всего с порога улья трупы бесполезных великанов, и память о праздном племени исчезает из обители до следующей весны.

Случается нередко, что избиение происходит в один и тот же день во многих ульях пчельника. Сигнал к избиению подают наиболее богатые и наилучшие организованные ульи. Несколько дней спустя следуют их примеру и менее благоденствующие республики. Только самые бедные и слабые поселения, у которых царица слишком стара и почти бесплодна, сохраняют самцов в надежде на оплодотворение ими могущей еще родиться новой царицы до наступления зимы. Это кончается неизбежно катастрофой. Все племя — царица, трутни и работницы — составляет тогда одну тесно сцепившуюся голодную группу, которая и погибает во тьме улья еще до выпадения первого снега.

После истребления самцов в более населенных и более благополучных ульях снова начинается работа, хотя уже со все ослабевающим усердием, ибо нектара в цветках становится все меньше и меньше. Время великих торжеств и кровавых драм уже прошло. Славный улей жарких июльских дней, это общество, состоящее из мириад живых душ, этот благородный монстр, вечно бодрствующий и вскоротленный одними лишь цветами и росой, постепенно засыпает, и его теплое, испускающее нежный аромат дыхание замедляется и застывает. Однако и теперь еще продолжается для пополнения запасов сбор осеннего меда, который и складывается в кладовые; последние резервуары запечатываются затем безукоризненно белою восковою печатью. Постройка прекращается; число рождений уменьшается, число же смертей увеличивается; ночи удлиняются; дни сокращаются. Дожди и суровые ветры, утренние туманы и козни слишком быстро наступающего мрака уничтожают сотни и сотни работниц. Все маленькое население улья, которому солнце так же необходимо, как и кузнечикам Аттики, начинает чувствовать грозное нашествие холодной зимы.

Человек уже раньше успел взять свою часть сбора. Каждый хороший улей дал ему от восьмидесяти до ста ливров меда; есть исключительные ульи, которые дают иногда до двухсот ливров; они представляют собою как бы огромное пространство света, в котором растворились целые поля цветов, посещенных пчелами по тысяче раз в день. Теперь человеку остается бросить последний взгляд на цепенеющие колонии. У более богатых он отбирает ненужные им сокровища с тем, чтобы раздать их несправедливо обойденным счастьем труженикам. Он закрывает для сохранения теплоты их жилища, полуприотворяет дверцы, уносит лишние рамы и предоставляет пчел их длинной зимней спячке. Они собираются в центре улья в кучу, съеживаются и цепляются за соты, откуда в студеную зимнюю пору будет

сочиться к ним претворенная субстанция лета. Окруженная своей гвардией, царица располагается посредине. Первый ряд работниц цепляется за запечатанные ячейки, второй помещается над ним, прикрываясь, в свою очередь, третьим, и так далее до последнего ряда, который и образует уже покров. Когда к пчелам верхнего ряда начинается подкрадываться холод, они врезаются в массу, а другие поочередно их замещают. Повисшая в пространстве гроздь похожа на рыжеватый теплый шар, окруженный медовыми стенками. Этот шар, по мере того, как соседние ячейки пустеют, то поднимается выше, то спускается, то приближается, то удаляется от них незримым образом; в противоположность тому, как обыкновенно думают, зимняя жизнь пчел не останавливается, а лишь замедляется*. Посредством согласного помахиивания крыльев этих маленьких, переживших летний зной сестер, то ускоренного, то замедленного, сообразно с изменяющейся внешней погодой, здесь поддерживается ровная температура весеннего дня. Эта таинственная весна изливается теперь из дивного меда, который сам есть не что иное, как луч претворенного раньше солнечного тепла, возвращающийся к своему первоначальному виду. Он циркулирует здесь подобно благодетельной крови. Уцепившиеся за полные ячейки пчелы передают его своим соседкам, а те, в свою очередь, передают его дальше. Таким образом передвигается он все дальше и дальше, пока не достигнет пределов массы. Единая мысль и единая судьба связывают здесь в нераздельное целое тысячи сердец. Исходящий из меда луч заменяет солнце и цветы до того момента, пока его старший брат, посланный уже действительным солнцем наступающей весны, не проникнет в улей своим первым теплым взглядом и пока распутившиеся снова фиалки и анемоны не начнут будить работниц; им скажут тут, что лазурь снова заняла в мире подобающее ей место и что непрерывный круг, соединяющий жизнь со смертью, обернулся вокруг самого себя еще раз и снова ожил.

ПРОГРЕСС РОДА

Таковы факты, которые мы можем наблюдать собственными глазами. Необходимо согласиться, что некоторые из них своею точностью и очевидностью в состоянии поколебать мнение тех, кто полагает, что, за исключением разума человечества в его настоящем и будущем, всякий другой интеллект неподвижен и лишен развития.

Но если допустить на одну минуту верность гипотезы трансформизма, то поле нашего зрения расширяется, и величественный, хотя и сомнительный свет падает и на наши собственные судьбы. Для внимательного наблюдателя трудно не заметить присутствия в природе воли, стремящейся возвысить некоторую часть материи до более утонченного и, может быть, лучшего состояния, напитать мало-помалу эту материю таинственной субстанцией, называемой сначала жизнью, потом инстинктом, а еще позже разумом. Для какой-то неведомой нам цели

* В течение зимы, продолжающейся у нас около шести месяцев (с октября до начала апреля), хороший улей потребляет обыкновенно от двадцати до тридцати ливров меда.

воля эта стремится упрочить жизнь, организовать ее, облегчить существование всему живому. Утверждать это с полной уверенностью нельзя, однако существует масса фактов, заставляющих думать, что если бы была какая-нибудь возможность подвергнуть исчислению количество трансформированной таким образом материи с самого начала жизни на Земле, то мы увидели бы, что количество это не престанно возрастает.

Допустив, что у *Apiens* или по меньшей мере у *Apiæ* существует эволюция, — ибо это более вероятно, чем неподвижность, — мы должны задать вопрос: каково же постоянное и общее направление этой эволюции? Она имеет, по-видимому, ту же тенденцию, что и эволюция нашего рода. Она ясно стремится уменьшить тяжесть труда, необеспеченность, нищету, и увеличить благосостояние, шансы в борьбе за существование и влияние рода. Для этой цели она, не колеблясь, жертвует индивидом, компенсируя силою и счастьем целого независимость — впрочем, иллюзорную и печальную — индивида. Можно подумать, что природа рассуждает подобно Периклу у Фукидида: «Лучше бедствующие индивиды в процветающих городах, чем процветающие индивиды в гибнущем государстве». Природа покровительствует рабу, влачащему трудовой образ жизни среди богатого города, и предоставляет тем бесформенным безымянным врагам, которые существуют в каждый данный момент времени, наполняют все живое во вселенной, каждого прохожего, не имеющего обязанностей и не принадлежащего к постоянной организации. Здесь не место обсуждать эту идею природы или вопрос о том, должен ли человек следовать ей: но не подлежащий сомнению, что всюду, где бесконечная масса дает нам возможность подметить проявление идеи, оно идет по пути, окончание которого теряется во мраке. Относительно нас самих достаточно будет указать на заботу, с которой природа старается сохранить и упрочить в эволюционирующей расе все то, что было отвоевано у его враждебной инерции материи. Она отмечает всякое счастливое усилие двинуться вперед и облегчает всякими благоприятными специальными законами борьбу против неизбежного после того движения попятного. Этот прогресс, существование которого едва ли можно отрицать у разумнейших существ, не имеет, быть может, другой цели, кроме своего собственного движения вперед, причем человек не ведает сам, куда он идет. Во всяком случае, в нашем мире, где, помимо немногих фактов указанного рода, ничто не обнаруживает присутствия точной воли, получает знаменательное значение уже одно то обстоятельство, что с тех пор, как открылись наши глаза, мы видим постоянный прогресс у некоторых существ. И если бы пчелы возбуждали в нас один только этот луч света в непроглядной тьме всего окружающего, то и этого было бы достаточно, чтобы заставить нас не жалеть времени, потраченного на изучение их крошечных жизней и их скромных привычек, столь далеких и в то же время столь близких нашим огромным страстям и нашему гордому мнению о своем назначении.

Возможно, что это и не так и что наша светяща-

яся спираль, равно как и спираль пчел, светит только для забавы тьмы. Возможно тоже, что какое-нибудь огромное, исшедшее извне, из другого мира или из совершенно нового феномена обстоятельство придаст вдруг определенный характер усилиям природы или окончательно их уничтожит. Но будем идти по нашему пути прямо, как будто по дороге не может случиться ничего необычного. Если бы завтра произошло нечто совершенно новое — сообщение, например, с планетой более древней и более светосознательной, — если бы это новое перевернуло окончательно все наши понятия, уничтожило наши страсти, наши законы и самые коренные истины нашего бытия, то разумнейшим употреблением оставшегося у нас всего одного дня было бы — посвящение его изучению именно этих страстей, этих законов, этих истин и стремлению объединить их в нашем духе и затем довериться своей судьбе, которая требует, чтобы мы сумели подчинить себе и возвысить хоть на несколько градусов окутывающие нас темные силы жизни. Возможно, что после обновления из старого не останется ничего; но невозможно, чтобы те, которые исполняли до конца возложенную на них миссию — миссию человеческую *par excellence*, — не были в первых рядах при встрече новой жизни; если бы даже они поняли тогда, что единственный долг человека состоит в отсутствии любопытности и в смирении перед непознаваемым, то и тогда они лучше других были бы в состоянии постигнуть значение такого требования антилюбопытности и смирения и извлечь из него должны заключения.

Пчелы не ведают того, кто съест собранный ими мед. Равным образом и мы не ведаем, кто воспользуется плодами рассеиваемой нами по всей вселенной духовной силы. Как пчелы перепархивают с цветка на цветок и собирают мед в большем количестве, чем то надо для их потомства, так пойдем и мы от реальности к реальности в поиски всего того, что может снабдить пищей непостижимое пламя психической жизни. Только тогда мы встретим всякое событие с уверенностью, что исполнили свой органический долг. Напитаем же это пламя нашими чувствами, стремлениями, всем тем, что видит, обоняет, понимает, осязает, его собственною сущностью, то есть идеями, которые оно извлекает из опыта, наблюдения и своего отношения ко всему, с чем оно приходит в соприкосновение. Тогда настанет момент, когда все обратится вполне естественно во благо для духа, сумевшего подчиниться по доброй воле обязанностям истинно человеческим. Тогда подозрение, что его усилия, быть может, беспредельны, сделает человека еще светлее, еще чище, еще бескорыстнее, еще независимее и еще благороднее в его горячих поисках истины.

«ЮНОСТЬ» в 1996 году

«Юность» — журнал поиска и надежды. Вам кажется, что вы ищете славы, удачи, любви, благополучия, а на самом деле всю жизнь вы ищете самого себя. Учитесь раскрашивать окружающий мир, удивляться ему, и, если удивление ваше возрастет пропорционально пониманию, если вы научитесь разговаривать с Природой и другими людьми — вы сможете научиться разговаривать и с самим собой. Разговор этот покажет образ вашего мышления, силу вашего чувства, вашу необходимость миру и человечеству. Открывая самого себя, вы становитесь интересны и необходимы всем, кто вас окружает; капля космоса, заключенная в вас — светит и греет.

Все публикации «Юности» — о том, как люди находят себя: проявляют свое «я», отстаивая свое назначение и значение своего отчества, осуществляют свои таланты и потому сохраняют вечную молодость. Добро всегда молодо, зло всегда мрачно.

Наша проза в 1996 году: роман Геннадия Головина, известного писателя нашего времени, умеющего сочувственно странствовать со своим героем, «Приключения шестист-вольного американца» (история терроризма в России);

новая повесть прозаика исключительной динамической силы, чьи произведения вошли в антологию современной прозы — Леонида Бородин; продолжение эпического повествования Александра Антоновича «Многосемейная хроника»;

продолжение знаменитой «Шевриуки, или Любви к приведению» Владимира Орлова;

рассказы Василия Аксенова; поэма певца новой цивилизации, возникшей на обломках Запада и Востока, Тимура Зулфикарова — «Лал и Лала»;

исторический роман об императрице Елизавете Петровне, написанный Андреем Бекетовым, писателем, в чьих произведениях превалирует философская интрига: «Тоска о девичьих грезах»;

«Тайна шоколадного зефира» и «Тайна африканского колдуна» — две авантюрно-приключенческие повести, в которых заключена одновременно и сатира на этот жанр, — известного постсоветского мистика Валерия Роньшина;

грустный эпик Марк Пайкин с романом пронзительной лирической силы: «Станция Ерцево Северной железной дороги» (предисловие Людмилы Петрушевской);

Елена Сазанович, мастер острого сюжета, с повестью «Исчезающий свет»;

сказы уникальной уральской писательницы Таисии Пьянковой «Миливонщица» и «Берегиня»;

раблезианские рассказы Павла Румянцева;

новая повесть самого жесткого романтика нашего времени Рустама Гаджиева;

роман одного из самых талантливых молодых писателей нашего времени Александра Скоробогатова «Песни Нерона»;

рассказы «американского» русского писателя Петра Муравьева «Звезды над Смоленском», «Сказка о маленьком ангеле», «В тени ловчена»;

повесть старшей писательницы Ольги Гусаковской «Скамья».

Иностранная проза, публицистика, поэзия

Томас Карлейль. Сартор Резартус. «Жизнеописание маркиза д'Еона» — повествование о знаменитом французском интригане XVII века.

Микаэл Ксавер. «Перстень Поликрата».

Чеслав Милош. Эссе.

Х. Ортега-и-Гасет. «Размышления о Дон-Кихоте».

Новое жизнеописание Оскара Уайльда.

Рассказы Уильяма Сарояна.

Дом поэтов

Лев Озеров. «Портреты без рам».

Владимир Соколов. «Строки давней любви».

Александр Антонович. «Художник и модель».

Юная Алена Ухова. «Комната с предисловием».

Александр Макаров-век. «Призрачное»;

Борис Гашев. «Страдный путь». Наследие: К. Бальмонт, О. Дмитриев, А. Тихомиров, Р. Крепкова

Документальная беллетристика Странствия Владимира Токарева на корвете «Ювентус» в поисках прототипов героев вечных книг; путешествия и открытия парадоксальных научных теорий Виктора Доса; Александр Стибнев, «Черная смерть» — о предательстве в международной разведке.

Олжас Сулейменов. «Мысли о Евразийстве».

Борис Панкин. Главы романа - хроники о Константине Симонове.

Григорий Дупленский. «Записки философствующего человека».

Юрий Козлов. «Думские страсти».

Владимир Васильев. «Проблемы мира и войны на перепутьях истории».

Прочие любопытные жанры
Русская провинция
Литературная гостиная
Академия литературных чудак

Журнальчик со сказками
Сенсации XXI века
Современный Нострадамус
Тайны Земли, истории, космоса

Книжный рынок
Философские прожекты
Дни победы
Лучшие художники всех времен и народов

Зеленый портфель

Смешные и ехидные рассказы
Вовши Хмелева, Виталия Уражцева и Валерия Слюсарева.

Вечно продолжается творческий конкурс для всех считающих себя гениями — «Узда для Пегаса».



Владимир ЦАПИН

Первый самотекущий съезд 20-й комнаты



ПРОГРАММА

1. Открытие I съезда 20-ой комнаты.
2. Торжественный прием в ряды двадцатой комнаты делегации республики Квазилупа.
3. Доклад делегатов Самотечной республики о самотекущем моменте.
4. Прочее.

ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА:

1. Правительство республики КВАЗИЛУПА.

2. Представители журнала.

3. Почетные гости: Сергей Тененбаум (группа «Ногу светло»), Андрей Гордеев (группа «Манго-манго»), Гаррик Виноградов (группа «Квакуум»), Диев Михаил (группа «Подיום»), поэтесса Юлия Кунина (США).

4. Представители прессы: Тучков Владимир («МК»), Игорь Малов («Голос»), Владимир Климов («ЧК»), Юлия Лейкина (Радио России), Виктория Скорнякова («Резонанс»), Белобров Владимир («Ракурс»), группа новостей культуры 4-й программы ТВ и др.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Надо признать, что бывает приятно на некоторое время уйти от будничных реалий сегодняшнего дня и окунуться в мир фантазии, параметры которого зависят только от пределов воображения, войти в божественную виртуальную реальность, в



20-й
КОМ

прохладный астрал грез и яркий блеск юмористического космоса. Писатели корпеют над желанным миром, помещая его в многотомные книги, художники — изображая на просторах полотен, ученые моделируют его в компьютерных играх... А молодые творческие люди поколения «дворников и сторожей» решили реализовать в мифической республике атамана Квазилупа. Эта интеллектуальная игра в вертухайную реальность позволяет им через гротеск абсурда вымышленного выявить абсурд настоящего, чтобы человек лучше осознал вопиющее свое несоответствие месту и времени, и не высывался из предназначенного для него пространства. Тогда сознание определит бытие, а бытие определится поступком, добро притянет к себе зло, и зло превратится в добро, алхимия слова восторжествует и виктория логоса станет неизбежной.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

Господа леди и ледышки, серы и джентльменки!

Первый съезд Двадцатой комнаты в кабинете главного редактора, о котором потом так долго говорила вся Самотека¹, произошел 17 августа в 17.00; 17 делегатов от различных тусовочных областей литературы и искусства присутствовали при отчетном докладе правительства Самотечной² республики, которую тепло вспоминают и как республику Квазилупа³.

С тех пор как президент разрешил брать столько власти, сколько смогут проглотить, республика с провозглашением независимости наглоталась выдающихся успехов решительно во всем. Самотечный министр странных дел Юрий Хипов заверил делегатов, что население хорошо подкормлено, подогрето и навеселе, давно обуты местными дизайнерами и набило руку на торговых машинах. Неуклонным самотеком растет курс самотечинской валюты. Промышленность самотеком вышла на мировые рынки. А культура прет, вытекая как неотъемлемая потребность далеко за пределы, от Японских островов, где посол Самотеки писатель Яки-Майнен проходит специальную сексподготовку на базе НЛО с представителями иных цивилизаций, до самых до окраин, где пригрелся недобитый редактор «Урлайта», он же министр сношений, он же Илья Смирнов (СМИРНОФФ-ВОДКИН на этикетках). Обломовские фантазии Самотеки имеют графическое воплощение, а их бутафорское обустройство исполняет художник Юрий Хипов, ныне (в отличие от его приятеля Звездочетова) скромный министр республики Квазилупа.

Самотеку чтут, блюдут, пасут и бдят, потому и все в Самотеке течет своим самотеком и куда надо впадает. Парт-

ия и правительство впадает в амбиции, а народ — любитель самотечной милиции. В былые времена, когда еще водка самотеком сама текла в рот и был повод бороться до последней ее капли с оккупантами, все правительство находилось в глубоком подполье на нелегальном положении. Революционеры самотеком спланировали свои и без того тесные ряды и свершали удивительные набеги на менталитет противника, скрывавшего свою личину под маской морального кодекса строителя коммунизма. Тайные сборища молодых революционеров происходили под видом безобидных рок-концертов в клубе «Рокуэлл Кент», а журнал «Ур-



лайт», издаваемый Ильей Смирновым и художником Юрием Хиповым, котировался на уровне нелегальной газеты «Искра». (И за одно это можно назвать Илью Лениным нашего времени, но с обратным знаком, то есть наоборот: !нинеЛ). Один самотечный концерт Гребенщикова был равнозначен теракту группы «Северный союз», а Гребенщиков, как легендарная Вера Засулич, стреляя из дула акустической гитары трассирующими огненными образами рок-н-ролла в сердца фанатов, совершал акт преображения серой бытовухи в волшебную сказку о «дяде Стебе»... Но все это было давно, и, если кому интересно, пусть почитает книгу Ильи Смирнова «Время колокольчиков» и вспомнит былое и думы о рок-н-ролле. Совсем другое дело японский посол Квазилупы Яки-Майнен (Мишка Япончик), имевший первые в истории половые контакты с представителями иных цивилизаций и подробно описавший всевозможные способы сближения с иной природой естества и принципиально другим интеллектом

в книге «Мои контакты с НЛО».

Но, господа, — ближе к делу! Первый съезд, он всегда исторически архиважен, как первая любовь, как первый блин комом... Но, слава богу, съезд прошел по лицу редакции как теплый дождь и оставил после себя грибы всевозможных легенд и догадок. Но «все пройдет!» — поют в подворотнях Самотеки, и мы пойдем дальше, дальше, как заявил дядя Ваня — лидер АО «КО-ЗОЛУПП», и в Антарктиде будут вишни поспевать, когда она присоединится к суверенной республике Квазилупа. Мы еще растопим холодные, унылые льды Антарктиды, чтобы омыть талой водой свои заколеченные без дела прелести и, как сказал классик: «Пингвин уже не будет прятать от нас свое пышное тело на дне самого глубокого ущелья».

P.S.

А к сведению почитателей «Юности», членом Двадцатой комнаты может быть любой человек, достигший двадцатилетнего возраста и вошедший в редакцию с неугасимой идеей преобразования Поднебесной. Обитатели Двадцатой комнаты соблюдают строгую иерархию и субординацию, заполняют вовремя табель о рангах в порядке аранжировки:

Первыми идут
революционеры-двадцатники,
вторыми
властимушье двадцатищи,
третьими
рядовые двадцатики,
четвертыми
взяточники двадцаточники,
пятими
нарядники двудесятники,
остальные состоят
из народа двудесятого года.

Торжественная клятва:

К делу Двадцатой комнаты будь готов!

— Всегда готов!

¹ Самотека — один из старых районов Москвы.

² Самотечная республика, она же республика Квазилупа, выдумана художниками в 1991 году.

³ См. Самотечная, основана в IX веке выходцем из китайского монастыря Шао-Линь Ли Бояном, жившим в эпохи Шан и Чжоу, ушедшим на запад через Вмещающее ущелье (Хань Гу).



Андрей ИВАНОВ

Ивану или Пессимизм

Глава 1. Посвящение в вольные каменщики

*Он человек формации новейшей
И, следовательно, нахал глупейший.
Гете. «Фауст» **

Иван — это я. У меня русые волосы, голубые глаза и прямой нос. Карьера моя начиналась как нельзя более удачно. Сразу же после окончания института я поступил на службу советником Первого Министра. Помогли мне в этом мама и Э. Матюкаев — один из ведущих философов православного мира, друг семьи. Прекрасно помню тот день, когда вместе с мамой и Матюкаевым я впервые вошел в Бурый Дом. На проходной нас задержали.

— Почему не пропускаете? — атаковал я их встречным вопросом.

— На вас нет пропусков, — ответил упитанный лейтенант.

— А почему вон те с цветными перьями и в набедренных повязках прошли?

— У них есть пропуск.

Матюкаев сказал, чтобы я не горячился. Пропуска вскорее появились, и я вошел. Я долго бродил кругами по коридорам, но наконец добрался до указанного Матюкаевым кабинета.

«Начальник Управления по работе с персоналом и собственностью за рубежом», — прочитал я на аккуратной табличке грязно-желтого цвета.

— Начальник Управления по работе с персоналом и собственностью за рубежом, — представился хозяин кабинета. Это был симпатичный, молодой, упитанный мужчина. — Собственность за рубежом нам пристегнули недавно, — извиняющимся голосом добавил он. Меня заинтересовала природа этого названия.

* Перевод Б. Пастернака.

— Так где персонал и где собственность, не понял я? И почему это вместе? В названии какая-то двусмысленность.

— Персонал — здесь, собственность — там, — расшифровал столоначальник. — Собственность делится на ту, которая здесь, и ту, которая там. — Я заметил, что он говорит ясными, мощными, чеканными фразами.

— Ловко!

— Что ловко?

— Я хотел сказать — грамотно, — парировал я.

— Что грамотно?

Вдруг раздались непонятный шум, грохот, улюлюканье, пальба.

— Пошли на штурм, — произнес мой собеседник со спокойной интонацией, как будто речь шла о том, что часы пробили столько-то.

— Кто? — испугался я.

— Шуаны. Уже, кажется, заняли два этажа.

— И вы так спокойно об этом говорите? — возмутился я.

— Это не самое страшное из того, что есть в этой жизни.

Шуанов отобьют. Главный ужас настанет, когда к власти придет Талды-Курганов.

— А кто может составить ему конкуренцию на выборах? — деловито осведомился я.

— Брюховецкий. Но у него слабая языковая подготовка.

Далее Начальник Управления по работе с персоналом и собственностью за рубежом проявил ко мне поистине отеческую заботу. Я даже забыл про шуанов. Он дал мне заполнить анкету, попросил написать заявление и уплатить профсоюзные взносы за год вперед.

— Каковы твои заслуги, чем можешь блеснуть?

Я ответил, что был на практике в Кампучии, изучал их систему перевода частной собственности в общую и общей собственности в частную.

— Это хорошо, — удовлетворенно заметил он. — Тот, кто знает кампучийскую дележку, в наше время не пропадет. Да и вообще молодых специалистов у нас очень любят. С них здесь просто пылинки сдувают!

Я обрадовался. Приятно встретить того, кто относится к нам по-человечески. Он отвел меня к Завхозу. Вообще, по табличкам я быстро определил, что здесь все слова пишутся с больших букв. Например, Малая Кладовая Секретариата Руководителя Подотдела Ресурсных Подпрограмм. Завхоз оказался человеком еще не старым, импозантным, дородным. Он вручил мне связку ключей от моих пяти сейфов и ключ от кабинета.

— Распишитесь, пожалуйста, в получении.

Я расписался. Симпатичный человек — таким остался он в моей памяти. И каково же было мне спустя месяц узнать, что этот цветущий, жизнерадостный командир умер страшной, мученической смертью. Он отдыхал на зарубежном курорте, сильно надкусил себе губу, поел немытых фруктов и скончался от заражения крови. Теряем людей!

Мама и Матюкаев терпеливо ждали меня внизу. Матюкаеву было под сорок лет, он был старовер, не брился и сильно зарос. Борода доходила ему до пупка.

— Все сделал! — радостно доложил я.

— Тебя там не зацепило? — озабоченно спросил Матюкаев. Только тут я вспомнил о шуанах.

— Как же это так? — вскипел я. — Почему такое допускают?

— Не горячись, не горячись, молод еще для таких суждений.

— А почему их называют шуанами? Шуаны, если я правильно помню, это бретонские крестьяне, поднявшие мятеж против французской республики. А эти какое к ним имеют отношение?

— Одежда у них такая же — шкуры козы, ноги голые. Пока ты ходил, уже заключено перемирие. Два этажа отдало повстанцам.

— Два этажа?! Как это?! — Мои патриотические чувства были сильнее всего образом задеты, тем более, что теперь я стал членом уважаемой корпорации, сотрудником Резиденции Первого Министра. — Почему с ними нельзя покончить сразу?!

— Не все так просто, — философски заметил Матюкаев. — В них много хорошего. Козьи шкуры указывают на недолгое культурное своеобразие. Последний шуан культурнее самого первого американца. Американцы цивилизованы, но некультурны, шуаны культурны, но нецивилизованы. А вообще, если хочешь знать, все идет по плану, мы катимся в пропасть.

— Почему в пропасть?

— Потому что все к худшему. Грядет Апокалипсис.

Я погрузился в раздумье о шуанах и об Апокалипсисе. Но здесь в разговор вмешалась доселе молчавшая мама.

— Апокалипсис — не Апокалипсис, а пора бы уже покреститься, ведь ты у нас некрещеный. Государство — образование священное, богоугодное. Я записалась к отцу Мефодию и простыночку с собой прихватила.

— Как, прямо сейчас? Дай передохнуть после трудов праведных!

— А что время тянуть?

После долгих споров и препирательств крещение было назначено на послезавтра. Я поклялся Авраамом, что времена и сроки будут выдержаны.

Глава 2. Великий магистр

Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Скизывать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?

Вольтер.

«Кандид, или Оптимизм».

Мы вошли в обширную залу. Вдалеке, у камина спиной к нам стоял какой-то господин плотного телосложения.

— Что это за образина с красными ушами? — спросил я Начальника Управления по работе с персоналом и собственностью за рубежом, к которому начал постепенно привыкать.

— Тсс! Это Первый Министр!

— А справа?

— Первый Заместитель.

— Первый Заместитель Первого Министра?

— Точно так.

— А слева?

— Еще один Первый Заместитель.

— Как, два первых?

— Вообще-то их одиннадцать.

— А этот?

— Заместитель по переводу частной собственности в общую.

— А могу я швырнуть связку ключей от сейфов и не попасть в Заместителя Первого Министра?

— Не можешь. Как раз навстречу тебе идет Заместитель по вопросам перевода общей собственности в частную.

— Здравствуйте, — сказал я.

Меня представили уважаемому собранию.

— Парень толковый, — заявил Первый Министр. — Мой

новый советник. Знает кампучийскую дележку. Как раз то, что нам сейчас нужно. Давно думал о том, чтобы усилить это направление. А то Ефрем Джумалетдинович совсем запутался.

Зам по переводу общей собственности в частную нахмурился и забарабанил пальцами по спинке кресла.

— Будем работать вместе! — закончил Первый Министр.

Я был на седьмом небе. Через два дня после совещания у Первого мы оказались с ним в лифте один на один.

— Ну как? — спросил он.

— Осваиваюсь, — пошло ответил я, чувствуя, что надо как-то поддержать беседу. — Как языковая подготовка у Брюховецкого? — осведомился я с таким видом, будто руковожу запуском космического корабля. И обомлел, ибо он устоялся на меня стеклянными глазами, и было полное впечатление, что мой собеседник не понял вопроса.

— Лучше, — наконец сухо ответил Первый.

— Дай Бог, дай Бог, — участливо заворковал я. Слава Всевышнему, лифт достиг нужного этажа. Я действительно осваивался. Сотрудники относились ко мне любезно и предупредительно. Все вопросы, которые у меня возникали, я адресовал Начальнику Управления по работе с персоналом и собственностью за рубежом.

— А чем занимаются все сто пятьдесят тысяч сотрудников Резиденции Первого Министра? — обыкновенно выпытывал я.

— Чем, чем? Бумаги с мест идут сюда, а они их спускают обратно! — был выверенный ответ. Он был настоящим товарищем. И я упал в обморок, когда спустя полтора месяца узнал о том, что этот обаятельный человек умер страшной, мученической смертью. Во время отдыха на зарубежном курорте он пошел погулять вдоль пляжа, и его засосали зыбучие пески. Никто ему не помог. До чего ненадежна наша жизнь! Я всегда задавал себе вопрос: как, каким образом этот неприметный человек удерживает в голове имена и досье всех сотрудников Резиденции Первого Министра? Там одних секретарш, наверное, тысяч пятнадцать, из них — 10367 с длинными ногами. И вот этого человека больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом!

Глава 3. Крещение

Церковные проповеди направлены против всяческих пороков... но мне еще не доводилось слышать, чтобы с кафедры громили угрюмый нрав.

Гете.

«Страдания юного Вертера»

Мы с мамой вошли в тесное, душное помещение. Не-красивая, горбатая девица с белесыми волосами и длинным носом, одетая в старушечью юбку и куртку с рукавами из кожзаменителя, указала нам, куда и сколько надо заплатить за удовольствие. Мы заплатили. Стали ждать.

— А что, мужчины и женщины вместе? — спросил я маму.

— Вместе. И дети тоже здесь крестятся.

У дальней стенки стояли несколько мамаш с малыми ребятами. Из лиц мужского пола кроме меня в комнате находился отрок лет двенадцати самого невинного вида. Горбуня заявила, что надо ждать, пока еще подойдут клиенты. Клиенты подтягивались плохо. Распорядительница бала дала команду раздеваться за ширмой. Мы с отроком направились на мужскую половину. Я разделся, закутался в простыню и вышел к народу. Но представление все не на-

чиналось. Я принял позу римского патриция, простоял таким образом минут пять, но, смекнув, что ничего на этом не выгадаю, опять спрятался за ширму. Дело стояло на месте, и я задремал. Мне снилось сражение при Эйлау. Я участвовал в знаменитой кавалерийской атаке, решившей исход битвы. Когда мы с Мюратом прорвали три линии, причем он все время застревал где-то сзади, невинный отрок растолкал меня за плечо и заявил, что все готово к моему выходу. И тут я увидел нравственный стержень предстоящего действия. Он был в длинной рясе, с увесистым крестом, длинной косичкой. На вид ему можно было дать лет двадцать восемь, держался он надменно. Я сразу понял, что это бывший инструктор райкома по идеологии, цепной пес дисциплины. Видимо, взносы он ранее собирал настырно, а здесь, в Божьей обители, тщательно просчитывал рентабельность каждой партии новообращенных.

— Мужчины на эту скамейку, женщины на эту, — повелел он. — Вы кто?

— Я посмотреть...

— Нечего смотреть, пожалуйста, выйдите! Вы?

— Да я...

— Прошу покинуть помещение! Вы?

— Я родственница...

— Крещеная?

— Нет.

— Некрещеным нельзя!

Моя мама вышла за дверь, не дожидаясь расправы. Бог переключек продолжал упорядочивать хаос. Скоро в помещении осталась половина от тех, кто набился в него поначалу. И тут, о чудо, я увидел ее! Она сидела на самом краю скамейки и доселе была сокрыта от моих взглядов. Ей было лет семнадцать-восемнадцать, она была завернута в маленькую простыню, которая не позволяла полностью скрыть все части ее прекрасного пышного тела. «Сульпиция, Сульпиция», — пронзила меня мгновенная мысль. Почему я решил, что ее должны звать Сульпиция? Что за вздор? Она поймала мой взгляд и... не отвела свой. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Почему я решил, что ее должны звать Сульпиция? Я еще не совсем очнулся от дремоты, и детали сражения под Эйлау вдруг вновь ожили во мне. Я представил себе, как я бросил бы к ее ногам знамена побежденного врага, подобно тому, как Генрих Четвертый бросил их к ногам своей возлюбленной графини де Грамон после сражения при Кутра. Эти несколько секунд я буду вспоминать восемь лет, о прекрасной Сульпиции!

Оборот начал свою процедуру со вступительной речи во славу Господа нашего Иисуса Христа. Он осведомился у всех сидящих, кроме меня, читали ли они Библию, получая сбивчивые и противоречивые, а временами просто лживые ответы. Он настаивал на том, что надо читать Евангелия каждый день. Правда, он находил способы смягчения этого идеологического прессинга. Он считал, что мы должны почаще что-либо вносить в его кассу, но для этого все время читать Библию от корки до корки необязательно. Достаточно читать по одной главе и являться на его тематические мероприятия раз в неделю. Со своей стороны обещал заботу о наших душах, моральную поддержку и всяческую опеку. Подробно проанализировав каждую из десяти божественных заповедей, он особое внимание уделил прелюбодеянию, или, как он это называл, блуду. Затем он перенесся мыслью в современность.

— Так называемое новое мышление, во все времена претендующее на новую истину, от этой истины только уходит, — заявил новоявленный фарисей.

Я остановил этот поток ненужного красноречия.

— И чем же вам новое мышление-то не угодило? — за-

дал я ему вопрос в лоб. — Относительно того, что есть истина, как известно, и Иисус подрастерялся.

— Вон! — рассвирепел этот надменный буквоед.

— Деньги вернете?

— Вон!!!

Я посмотрел на Сульпицию. По ее глазам я понял, что она меня не осуждала. Я быстро оделся, бросил на нее взгляд, полный отчаяния, и вышел.

— Уже все? — удивилась мама.

— Да ты знаешь, как они сейчас! Упростили процедуру! — соврал я. И, посмотрев на купола, я перекрестился.

Глава 4. Изгнание из рая

Конечно, ей должно быть обидно, что блистательная карьера сына, метившего со временем в тайные с оветники и посланники, так резко оборвалась, и сверчок вернулся на свой шесток.

Гете.

«Страдания юного Вертера».

Рассорившись с Царем Небесным, я замахнулся на царя земного. В течение четырех месяцев я трудолюбиво принимал страждущих. По ходу завязывал новые знакомства. Запомнился Чесноков. В молодости он служил юнгой на китобойной флотилии, где нахватался гнусных скабрзностей, которые до сих пор проявлялись в виде омерзительнейших извращений, кои я не буду здесь описывать. Еще он запомнился тем, что устроил меня на десять тысяч долларов в месяц в сингапурскую фирму «Пасифик Оушн, ЛТД» (Тихий Океан, с ограниченной ответственностью). Это оказалось весьма кстати после того, как меня выперли из Резиденции Первого Министра. Случилось это так. Уже четыре месяца я воочию наблюдал, как шуаны наглют и наглют. Они захватили четыре этажа, и книжный киоск пришлось перевести на пятый. Подписанные соглашения о перемирии не соблюдались. Злодеи окопались под мостом вблизи Бурого Дома и стали тревожить проезжающий гужевой транспорт и издеваться над седоками. Ходили зловредные слухи о том, что главарь шуанов пьет на брудершafft с Министром Внутренних Дел. Когда я получил весомое подтверждение последнего обстоятельства, я взорвался. Набрав по специальной связи Министра Внутренних Дел, я сказал ему:

— Большой привет от главаря шуанов и мои поздравления по случаю присуждения вам Нобелевской премии мира!

Министр написал на меня донос, его поощрили, сделав еще одним Заместителем Первого Министра (теперь их 38, как попугаев), а меня выгнали. Министра поощрили, я надеюсь, не за донос. Как раз в это время он подписал соглашение с шуанами: им — семь этажей, нам — остальное. Пользование первыми этажами — совместное, по скользящему графику. За это он, кстати говоря, и получил Нобелевскую премию мира.

А я получил обходной лист. Надо было срочно искать новое место работы. Я шел нарасхват. Еще бы! Наш век ценит тех, кто знает кампучийскую дележку. Когда из нескольких вариантов уже пора было сделать окончательный выбор, выяснилось, что ни один из них не является сколько-нибудь приемлемым. Но тут здорово выручил Чесноков.

— Я устрою тебя в сингапурскую фирму. Оклад десять тысяч долларов в месяц плюс премии, плюс сколько заработаешь, — безапелляционно заявил он, даже не спраши-

вая о моих привязанностях.

— Когда паковать чемоданы? — забеспокоился я.

— Надо подождать месяца три. А может быть, пять. Вот список необходимых документов.

— Да, а кем?

— Там свободная должность директора по правовым вопросам.

— Но я ничего не смыслю в праве, — огорчился я.

— А это от тебя и не требуется. Главное, запомни два базовых юридических принципа: закон обратной силы не имеет; закон расширенному толкованию не подлежит. Повтори!

Я повторил.

Матюкаев отнесся к этой затее с присущим ему скепсисом.

— Тебя вышвырнули, как плебея, из Бурого Дома, а до Сингапура ты, боюсь, не доедешь. Над всем довлечет злой рок.

— Ваше подзуживание мне, признаться, начинает надоедать, — расхрабрился я. — Какое отношение Апокалипсис имеет лично ко мне? Я верю, что все уладится, и мама будет рада.

— Посмотрим, — скрипел этот Министр теневого кабинета Брюховецкого.

Между тем Чесноков оформил все документы. Сингапур ждал меня, маня своей ослепительной белизной. «Закон обратной силы не имеет, закон расширенному толкованию не подлежит», — повторял я, как «Отче наш».

Полоса моей жизни резко меняла окраску.

— Не унывай, брат! — напутствовал напоследок Чес-

ной планете, а не в то, что на ней говорится или пишется. Я более не читал газет, поскольку видел, как это делается. С меня довольно!

Одна мысль глодала меня. О, моя прекрасная Сульпиция, где ты, мой ангел?

Глава 5. В бананово-лимонно

*Довольствуйся простым, как тварь морей,
Глотай других, слабейших, и жирей.
Успешно отъедайся, благоденствуй
И постепенно вид свой совершенствуй.*

Гете. «Фауст»

В самолете я не мог ни есть, ни спать и все повторял: «Закон обратной силы не имеет, закон расширенному толкованию не подлежит». Еще во время регистрации в аэропорту я обратил внимание на группу молодых мужчин, физиономия одного из которых показалась мне чертовски знакомой. У меня плохая память на лица, и я очень долго мучился безуспешными попытками установить точку пересечения наших судеб в прошлом. Дело осложнялось тем, что он был совершенно лысый. Мне так и не удалось справиться с этой задачей до конца полета, тем более, что я постоянно обращался в мыслях к моей прекрасной Сульпиции. О, если бы она летела со мной! Как счастливо зажили бы мы с ней в уютном коттедже на морском берегу! Она родила бы мне дочку, и мы гуляли бы все втроем, провожая долгим взглядом корабли, покидающие живописные бухты, и морская лазурь радовала бы нас своими солнечными бликами. Она, моя Сульпиция, дарила бы мне свои незабываемые ночи, не похожие одна на другую, и провожала бы меня на работу в «Пасифик Оушн, ЛТД» (Тихий Океан, с ограниченной ответственностью) долгим, сладострастным поцелуем, после которого я с новыми силами должен ринуться в самое пекло юридических споров, разрешая все дела к неоспоримой выгоде наших. Почему, почему этого нет? Почему я даже не сделал попытки найти ее, мою крошку? Да и как я это мог сделать? Обращаться к моему гонителю? Но что бы он мне сообщил? Вторично выгнал бы меня, как Антихриста и язычника?

Весь полет прошел у меня в подобных невеселых раздумьях. Моя воля была совершенно парализована. Как несправедлива с нами судьба! Но когда самолет пошел на снижение и его неожиданно резко бросило вниз (видимо, это была воздушная яма), мне пришла в голову сумасбродная мысль сразу по прилете направиться на пляж и искупаться. Это было бы вполне в моем стиле! А уж потом искать эту треклятую «Пасифик Оушн, ЛТД».

Я обратил внимание на то, что группу молодых людей встретил эскорт из четырех машин. Я взял такси и скомандовал: «На пляж!» Водитель ничуть не удивился. Вот он, бананово-лимонный Сингапур! Мне здесь нравилось гораздо больше, чем в Кампучии. Праздная публика нежилась на роскошных лежаках, аренда которых стоила десять долларов. Пока я раздумывал, стоит ли брать эту подстилку для моих костей, я заметил, что рядом со мной лежит мужчина в темных очках с большим животом. Я обомлел.

— Это вы? — вырвался у меня крик, в котором можно было уловить весьма противоречивые чувства. Это был Начальник Управления по работе с персоналом и собственностью за рубежом.

— Это вы? — повторил я. — Так вас же... 3-3-3... пески...

Он был не очень рад встрече.



Рисунки Георгия Муржикина

ноков. — Четыре месяца в Резиденции Первого Министра — это школа на всю жизнь. Это не каждый потянет. Тем более, ты наизубок знаешь кампучийскую дележку.

Он был прав, мой благодетель. Четыре месяца в Буром Доме — это достаточно для того, чтобы всю оставшуюся жизнь верить только в то, что делается на нашей прекрас-

— Ну я, я, что ты кричишь. Ну, здравствуй! Каким ветром? — Я пояснил. — Так я и знал, что тебя выпрут! Больно уж ты, брат, наивен!

Беседа продолжалась недолго. Говорить с ним о делах сугубо личных я считал неудобным. Спросил только, как добраться до улицы, на которой находится офис «Пасифик Оушн, ЛТД». Он обстоятельно все разъяснил. Окунувшись в воду, я зашепшил попрощаться.

— Ну, бывай, бывай, только смотри опять не влипни в историю!

Подъехав на такси к дому, в котором размещался офис «Пасифик Оушн, ЛТД», я увидел деловитых джентльменов, которые укладывали вещи и бумаги в мешки и сваливали все это в кузов грузового «Урала», крытого грязным брезентом.

— Что здесь происходит? — вежливо осведомился я.

— А ты кто такой? — услышал я враждебный ответ темноволосого грузчика на русском языке. Я насторожился.

— Я — новый сотрудник фирмы. Меня Чесноков рекомендовал, — неуверенно добавил я.

— Чесноков задержан, — мрачно заметил второй.

— ...? Но фирма-то сингапурская, — невпопад заметил я.

— Сингапурская-то сингапурская, но филиал нашей. Фирма конфискована.

Субъект, до этого момента стоявший ко мне спиной, наконец обернулся, и я узнал его! Более того, я установил полнейшее тождество! Это был мой лысый спутник в самолете и мой идеологический соперник одновременно! Быть может, мой воскресший приятель прав, и я во многом наивен, но у меня высокий социальный инстинкт! Я понял, что моя юридическая карьера под угрозой.

— За что фирма конфискована? — по инерции продолжил я серию нелепых вопросов.

— По указу! Как и все другие фирмы!

И я понял, что олигархия снова повернулась к нам задом. Я решил последовать ее примеру и дать деру. Меня проворно догнали.

— У тебя счета за границей есть? — угрожающе спросил лысый демагог.

— Не успел!

— Или врешь, или дурак!

Я ответил, что я — дурак. И тут между нами разыгралась сцена, в точности повторившая аналогичную стычку между Карно и Фуше.

— Куда же мне теперь идти, предатель? — театрально вопрошал я.

— Куда хочешь, дурак. Скажи спасибо, что мы на чужой территории!

Поле битвы осталось за ним. Но что делать мне? После полученных таким необычным способом новостей с родины мне не очень хотелось покупать обратный билет. И в каком облике я предстану перед прекрасной Сульпицией, если судьба одарит меня счастьем снова увидеть ее? Мои перспективы на родине выглядели весьма неопределенными. Я решил твердо следовать избранному пути и нажать себе состояние. Я с легкостью получил американскую визу, представившись бизнесменом, желающим помочь экономике Соединенных Штатов, и решил плыть теплоходом до Сан-Франциско, Калифорния.

Глава 6. Гуманитарная помощь

*А этот, правда, пожил всласть!
И при начавшемся развале*

*Несостоятельную власть
В стране сменило безначалье.*

*Никто в том не был виноват.
Всем значить что-нибудь хотелось.
Выгадывал второй разряд,
А первым это лишь терпелось.*

Гете. «Фауст»

Едва я ступил на борт теплохода, как наткнулся на знакомые физиономии во главе с лысым в окружении грудастых брюнеток.

— А, привет, — процедил я, обращаясь к лысому.

— Привет, привет! — нахально отвечал этот отъявленный мракобес. И тут я набрался смелости.

— Ты не знаешь, где бы сейчас могла быть...

— ...Та девица, которая сидела на скамейке с краю и пялилась на тебя? — подхватил пошлый негодяй.

— Как ты догадался?

— Что тут догадываться? О чем ты мог бы еще спросить?

— И где же она? — по возможности спокойным тоном продолжил я.

— Нет ее, изнасилована в лесополосе. Умерла страшной, мученической смертью.

Я упал в обморок. Судовой врач дал мне нашатырного спирта. Я долго слова не мог вымолвить. Моя прекрасная Сульпиция! К чему мне теперь жить? Как без нее обойдусь?

Я спросил оборотня о подробностях, но ничего более не добился от него. Что теперь будет придавать мне силы? Но тут бритоголовый, видя мое крайнее расстройство, решил меня отвлечь и позабавить. И в таких низменных душах, оказывается, может еще теплиться искорка милосердия. Он стал рассказывать о Всемирном Конгрессе экуменистов — движения за объединение всех церквей, в котором он участвовал вместе со своими подручными. Первая часть заседания прошла в Сингапуре, но ряд конфессий решили продолжить слет в Сан-Франциско. Оказалось, что вместе с нами плыли пять шаманов, восемь женщин-протестанток, служительниц культа, которые всю дорогу смолили какие-то дешевые сигареты, двадцать семь нищенствующих францисканских монахов, девять православных батюшек и три гуру. Я понятия не имею, кто такие гуру, но это были как раз те, которые плыли с нами в количестве трех человек. Остаток пути я слушал его рассказы.

В Сан-Франциско я решил сразу найти какую-нибудь работу. Дело оказалось неподъемным. На кампучийскую дележку здесь смотрели косо. В двух местах мне дали туманные обещания на перспективу, и это было все, чего я добился. Я пытался найти какую-то особо дешевую гостиницу, но это тоже было из разряда потустороннего. Один раз я зашел в приличный ресторан и сделал шикарный заказ. У меня его галантно приняли, но когда через пятьдесят минут подошло время исполнения, мне доложили, что есть только одно дежурное блюдо. Я решил пожаловаться администратору и, когда увидел его, уже не особенно удивился. Это был Завхоз Бурого Дома.

— Столоначальники умеют как-то ловко друг за друга держаться, — уныло заметил я, делая ему комплимент.

— Что верно, то верно! — подхватил толстяк. Он предложил мне работу мойщика посуды, но я еще не утратил остатков аристократизма и высокой духовности.

— Тогда возьми билет до Нью-Йорка. Нью-Йорк — город хлебный! — он залыбился.

— А что, пожалуй, вы и правы! — встрепенулся я. Пора

было менять окружение. — Приятно встретить земляка! Что-то я стал забывать их лица!

В тот же день я приземлился в аэропорту имени убитого американского президента. Багаж мой был невелик, но тем не менее ко мне начали приставать негры-носильщики. Среди них был только один белый, и какой! Вся кожа его была покрыта страшными струпами, а шея — дополнительными язвами. От него пахло гниением, распадом, деградацией. Я всмотрелся в черты его лица и от неожиданности вскрикнул.

— Возможно ли?! Онуфрий Иванович! — То был наш Первый Министр. Он узнал меня и разрыдался. Как он похудел, осунулся!

— Как это возможно в лучшем из миров?! Столочальники процветают в Сингапуре и Сан-Франциско, а вы в беде!

— Сынок!

— Батя!

— Ты был моим лучшим советником! И до чего мы дошли?

— И честный человек слабеет,

Так все крутом развращено.

Когда судья карать не смеет,

С преступником он заодно; —

запинаясь от волнения, процитировал я великого Гете. — Но как, Онуфрий Иванович, объясните, как?!

Он постепенно утих, взял себя в руки. Лишь редкие всхлипывания прерывали его взволнованный рассказ.

Рассказ Первого Министра

Я заболел от большого перенапряжения в работе. Видишь эти язвы и гнойники? Меня начали лечить в нашей спецполиклинике — ну, ты знаешь ее, что я тебе буду рассказывать! Но ничего не помогало, становилось только хуже. Меня стали прятать от всякого глаза, чтобы не показывать по телевидению. Гнали кадры вначале недельной, потом двухнедельной, потом месячной давности. Народ стал подозревать неладное, а болезнь все разрасталась. Здоровые умы — что я их не послушался! — советовали лечиться в обычной больнице, а то в нашей специальной врачи все блатные, они и лечить-то разучились. Хорошие разбежались, платят им мало. Но, как видишь, не послушался. В конце концов выперли меня. Нельзя, говорят, так дальше, ты своим внешним видом нас позоришь. Пришел я последний раз в Бурый Дом вещички собрать. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я ведь ничего себе не нажил, работал честно, выкладывался без остатка. Единственную акцию частной собственности отдал внуку, хотя она могла бы быть последней надеждой. Все ушло. И вот, эти шуаны. Честно говоря, я всегда опасался, как бы они нам не надоедали хлопот. Давно уже говорил Министру Внутренних Дел, что надо очистить от них нижние этажи. И вот — допрыгались! Они заняли все здание, в очередной раз нарушив соглашение. Все наши разбежались. Они увидели меня одного во всем здании, сжалились, и отправили сюда. Сказали, что здесь мне самое место.

— Онуфрий Иванович!

— Не надо, сынок! — Он снова разрыдался. И первые министры иногда плачут! — Как же тебя так подставили? Ты был моим лучшим советником! И я ничем не смог тебе помочь!

— Полноте, полноте, Онуфрий Иванович! Мы еще споем нашу любимую.

И под сводами аэропорта имени Джей Эф Кеннеди два русских голоса затянули:

— А-а-рен-бу-ургский пухо-овый плато-о-о-о-ок!

С тяжелым сердцем покидал я Нью-Йорк. Ничего не удалось мне и там. Служащий аэропорта, проверявший мой паспорт, неожиданно задал вопрос по-русски:

— Я каждый день смотрю ваше ти-ви. Как с языковой подготовкой у Брюховецкого?

— С Божьей помощью прорвемся! — вдохновил я друга нашей страны.

Решил для очистки совести проверить обещанные два места в Сан-Франциско. Снова провал! И тут, спустя три месяца, я окончательно убедился в том, что помочь американской экономике мне не удастся. Я бесплатно доплыл до Владивостока на рыбацкой шхуне, которую вел племянничек знакомого мне Министра рыбной ловли. На душе и на сердце было абсолютно пусто. Та, которая могла бы радоваться вместе со мной и разделить печаль, тле-ла в сырой земле.

О, моя Сульпиция, почему все так страшно?

Глава 7. Лишь тот, кем бой за жизнь изведен...

*Я шлю проклятие надежде,
Переполюющей сердца,
Но более всего и прежде
Клянуп терпение глупца.*

Гете. «Фауст»

Я, как всегда, смотрел в корень вопроса и решил при-мкнуть к партии военных. В военкомате удивились:

— Все из армии, а вы в армию?

— Хочу быть там, где человечество испытывает наибольшее напряжение, — со значением произнес я. — Прошу направить меня на Южный фронт.

На меня посмотрели как на ненормального, но пожелание мое учли.

И вот я в действующей армии. Не буду подробно описывать эти семь лет. Я постепенно продвигался по пресловутой «лестнице», демонстрируя недюжинную выучку, ловкость, смекалку и лучшие человеческие качества в обращении с личным составом. После провала операции по захвату Термезского ущелья и пленения командующего фронтом я принял это командование на себя. К этому времени авторитет мой был весьма высок. Многие считали, что я счастливо соединяю в себе изящество Тюренна с широтой Ганнибала. Теперь я должен был доказать это на деле. Положение становилось угрожающим. Наша армия поддалась инерции отступления после неудачи под Термезом. Я должен был побороть эту порочную привязанность.

Глава 8. Я победоносен

*Война — это коммуникации.
Наполеон*

Я сразу понял, что ключ ко всему — Джулемское ущелье. Ширина его — сто туазов. Когда это место проходил Александр Македонский, то океан у него был сзади, ущелье слева, а горный хребет он пересек тремя колоннами. У меня же, наоборот, океан был справа, лицом я стоял к горному хребту, а ущелье вообще здесь было ни при чем.

Султан не понял моего маневра, разделил армию на четыре колонны и оказался запертым с двух сторон в ущелье. Дело было сделано. Продовольствие мы получали как с севера, так и с юга, а султан остался без риса. Я стал посылать через каждые пятнадцать минут парламентариев с предло-

жением о капитуляции, и они все возвращались какие-то задумчивые. Видимо, это настроение передавалось им от султана. Западная коалиция уже ничем не могла ему помочь, самолеты не проникали в это ущелье. Десятого марта, оставшись без всего, султан капитулировал.

Я даже не считал нужным присутствовать при церемонии капитуляции и удалился в свой блиндаж, как будто ничего особенного не произошло.

Как-то вечером я склонился над картой и услышал, что в землянку кто-то вошел. Я обернулся не сразу, почувствовав, что сейчас может произойти чудо. Кто-то закрыл мне ладошками глаза.

— Сульпиция, Сульпиция, ты?!

— Как ты узнал, дорогой, что меня зовут Сульпиция?

— Тебя не могли назвать как-то иначе, это перст судьбы!

Я обернулся. Она стала еще прекраснее.

— Я вспоминала тебя все эти годы! И вот услышала о твоей победе!

— Да, любимая, я победоносен! Надеюсь, что скоро будет заключен мир и мы будем вместе!

— Да мы и так вместе!

— Мне сообщили о тебе такое...

— Не надо об этом, милый, все позади! Я хочу родить тебе ребеночка! Ты ведь хочешь дочку, не так ли?

— Как ты догадалась?

— Я чувствую тебя каждой клеточкой, миленький мой! Если будет заключен мир, мы уедем с тобой в деревню, подальше от всей этой пошлости!

— Подожди в деревню, моя миссия еще только начинается!

— Что ты задумал, милый? Мне страшно, тревожно на душе от твоих слов!

— Неужели ты думаешь, что я позволю олигархии и дальше издеваться над народом? Неужели ты думаешь, что я упущу этот чудесный шанс, который дарует мне судьба?

— Не нужно никаких шансов, мой прекрасный воин, мой Неистовый Роланд! Ведь мы ждали этого восемь долгих лет! Я вижу, у тебя уже есть седые волосы.

Мы не могли наговориться всю ночь. Она убеждала меня, молила, вставала на колени, но я был непреклонен.

Глава 9. Философия торжествует

Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.

Ларошфуко. «Максимы»

После Джулемского сражения ко мне примкнул Матюкаев, покинув теневой кабинет Брюховецкого.

— Хоть так крути, хоть эдак — все равно крышка, — прокомментировал он свое решение. — Но от тебя веет какой-то свежестью. Талды-Курганов сходит с ума! Но сместить тебя сразу не посмеет: твой рейтинг — двести процентов! И вообще, нация, закликающаяся на таких, как Брюховецкий, достойна его французского прононса!

Шестнадцатого марта я получил известие о том, что Западная коалиция приняла мои условия мира. Когда чернила наших подписей еще блестели, я покинул блиндаж, который позже был превращен в музей, попросил собрать мои вещи и библиотеку. Счастливейшие минуты! Наконец-то эта недостойная цивилизации бойня прекращена!

Утром следующего дня я был уже в столице Республики. Жители встречали меня живо и приветливо. Налицо было

всеобщее ожидание конца постыдной олигархии. Когда государства фактически нет, то никакие соображения благородства, чести, достоинства и долга не имеют значения, ибо каждый помышляет лишь о собственной корысти. Немедленно порвать с этим состоянием — в этом я видел главную свою задачу. Порядок общественного устройства, который за время моего пребывания на Востоке уже пустил там корни, вызывал всеобщие симпатии своей органичностью.

Находясь вдали от столицы, я несколько утратил чувство повседневной сопричастности событиям, происходящим в сердце Республики. 18 марта я побывал на съезде партии, председателем которой в то время был мой бывший начальник кавалерии. Память воспроизвела картины его смелых атак и его живописный образ. На съезде решали вопрос, как насолить известному господину М., но так, что-



бы тот не понял, от кого все это исходит. Десяти минут присутствия в этом зале, где меня встретили жидкими хлопками, с лихвой хватило для того, чтобы составить общее впечатление о царящих политических нравах. Здравый смысл давно был погребен под могильными плитами бюрократии и произвола. Я заметил испуг на лицах многих, особенно когда произносил слова о патерналистском Востоке, созидательном государстве и конце господства гнуснейшей из олигархий — денежной.

Первого июня я изложил свою экономическую программу. Сопротивление было неистовым. Я выступал еще три раза, но это ни к чему не привело. Перед зданием Государственного Совета шел непрекращающийся митинг в мою поддержку. Других манифестаций не было. Сторонники олигархии осознали ее обреченность. Мне посоветовали усилить охрану, но я и сейчас считаю, что количество здесь ничего не решает. Был момент, когда мои сторонники заколебались, но я воодушевил их: «Помните Джулем? Вперед!» Четвертого июня я с присущим мне красноречием, которое обращало трусов в героев, заявил в Государ-

Когда го-
ня благо-
начения,
исти. Не-
дел глав-
ства, ко-
е пустил
органич-

чувств-
ходящим
партии,
ший на-
его сме-
шали во-
так, что-



и минут
и хлоп-
общее
и смысл
ократии
собенно
е, сози-
ишей из

ую про-
пал еще
зданием
митинг
Сторон-
совето-
ичество
оронни-
Жулем?
норечи-
судар-

ственном Совете: «Мы призваны вернуть смысл в эту жизнь. Нужно сделать государство творцом и созидателем. Где это видано, чтобы государство само себя разрушало? Где это видано, чтобы государство становилось рассадником разврата? Если решение завтра не будет принято, то мне придется обратить свой взор на известные исторические примеры».

На следующий день слова «известные исторические примеры» выделялись крупными буквами на первых страницах газет. Гадали, что это могли быть за примеры.

Пятого июня решение было принято. Демагоги, которые своим бездействием фактически вынудили всех граждан Республики вставлять решетки в окна и монтировать железные двери, притихли.

Я провел ряд подготовительных мероприятий. Численность центральной администрации Республики была урезана на девять десятых, количество ведомств сокращено с 3568 до 15. Я дал Республике достойную денежную единицу. Я совместил два главных поста и взял администрацию под свой контроль. Я сказал чиновникам: «Наступило время жертв. Республика теперь превосходно вам платит. Взятчики будут уничтожены». Поток бумаг в центральные ведомства снизу был прекращен раз и навсегда. Были организованы общественные работы. Существования бродяг и безработных Республика более не терпела, как не терпела и банкротств. Государство делало закупки, с выгодой перепродавая товары. До минимума были сокращены парадные мероприятия и бесполезные встречи с иностранцами.

Первого августа было принято решение о национализации предприятий и банков, восстановлена монополия внешней торговли. Каждый гражданин Республики получил по именной акции народной собственности. Отныне и на все времена каждый новорожденный будет получать по такой акции. Нет ничего глупее решения олигархии выдать акции частной собственности, причем только тем, кто был в живых на определенную дату. А последующие поколения? Разве они не хозяева национального достояния? По акциям народной собственности государство ежемесячно стало выплачивать равный для всех доход, который увеличивался по мере подъема экономики. Было решено, что он ни при каких обстоятельствах не будет меньше жизненного минимума. Получая этот доход, человек может работать или не работать, но и во втором случае он имеет право на жизнь и право уйти от мира отчужденного труда и заняться тем, что ему по душе.

Такое равенство любезно большинству. Ведь истинный лозунг цивилизации — долой произвол, и не должно быть произвола в главном вопросе — распределении материи.

Вторым шагом мы акционировали предприятия, но в обмен на именные акции народной собственности. Желавших отказаться от опеки государства оказалось всего четыре процента. Собственники пакетов акций частной собственности остались без компенсации. Народное государство не отвечает за деяния олигархии. Эта мнимая несправедливость была воспринята с пониманием. Формула «голосуют люди, а не деньги» не могла встретить серьезных возражений.

Принятые Государственным Советом экономические законы устанавливали единые для всех предприятий налоги на ресурсы: землю, труд и капитал. Социальные льготы стимулировали рождаемость, а отсутствие налогов на доходы — инициативу. Чувство справедливости совершенно окрыляло людей. Сознание того, что сами основы жизни находятся под контролем, вернуло спокойствие и уравновешенность.

В духовной сфере я всегда имел в виду систему, осно-

ванную на универсальном сознании. Люди думают, говорят и пишут, о чем хотят, и веруют во что угодно. Хороша та вера, которая делает их добрыми и милосердными. Не должно быть государственной идеологии, но должна быть идеология государства, идеология созидания. Духовное рабство, мешанство, пошлосте отношение к женщине — характерные черты канувшей в Лету олигархии. Поднять нравственную температуру общества — вот что я считал своим первейшим долгом.

Обиженные давно уже снимали средства с личных счетов в банках, но внутренняя оппозиция не имела сколько-нибудь серьезного влияния. Казалось, что ничто уже не омрачает горизонт будущих деяний Республики. Но в середине ноября поступили известия о нарушении условий мирного договора со стороны Западной коалиции и о ее усилиях по мобилизации. К южным границам стягивалась двухсоттысячная армия султана.

Мир конечен, материален и скучен. Не для борьбы ли со скучкой человечество изобрело войны? И не для этого ли выдуманы все интересы, принципы, страсти и общепринятые понятия о прекрасном? Что за дело лидерам Западной коалиции до интересов кучки субъектов, пожирающих чужое время, тела и души и считающих себя квинтэссенцией цивилизации и наиспелейшими плодами прогресса? Человечество уже научилось трезво размышлять о главном, а кто может мыслить, тот владеет будущим. Философия активного созидания имеет огромный перевес перед малокровными умственными потугами доктринеров.

«Я буду драться с омерзением», — заявил главнокомандующий, направляясь к южным границам Республики.

Глава 10. Все к худшему

*Пусть сама комедия и хороша, но
последний акт кровав: две-три горсти
земли на голову — и конец. Навсегда!*

Паскаль. «Мысли»

— Когда у тебя все есть — это только прелюдия к тому, что ты все потеряешь, — предрекал Матюкаев, этот слепень моей славы, сидя в удобном кресле специального самолета и потягивая коньяк. Здесь же, в воздухе, я получил сообщение о созревшем в столице заговоре. Два министра, все время между собой враждовавшие, неожиданно помирились. Это было не к добру. Я решил изменить маршрут, нанести давно откладывавшийся однодневный визит в Японию, разобраться с делами в столице, а потом уже выступить против султана. Мы сделали промежуточную посадку в Сеуле, где дозаправились и взяли на борт нашего Министра Сельского Хозяйства и Председателя Совета Колхозов с мешком зерна (образцы с выставки). Ребята дали интервью:

— Засаеваем площадь, получаем прибыль.

Летим в Японию. Вдруг раздался страшный треск, самолет стал падать и рухнул в воду. Все утонули. Кроме меня, выплыли только Матюкаев и Председатель Совета Колхозов с мешком зерна (образцы с выставки). Я до сих пор поражаюсь, как последнему это удалось. Этот мешок и был нашим спасением. Мы втроем добрались до острова, размеры которого были что-то около сорока туазов в длину и тридцать в ширину. Я получил страшные ожоги лица. Матюкаев заявил, что на меня невозможно смотреть. Зеркала у нас не было, а морская вода отражала как-то искаженно. Я не мог поверить, что это и есть тот, кого я привык наблюдать во время бритья. Через некоторое время моя

борода превзошла по длине матюкаевскую.

— Мне с тобой за одним столом теперь и сидеть-то неохота, — имел наглость заявить этот флюгер.

— Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь! — парировал я. — Кстати, созревает ли наша пшеница?

Сеять приходилось мне, потому что у Председателя это не очень-то получалось. Все двадцать пять лет на острове Матюкаев меня так подначивал и подзуживал, что нервы мои окончательно расстроились.

— Все закономерно, — юродствовал этот горе-философ, — а падение твое чрезвычайно символично. К этому все шло. Еще в бою под Джулемом (для справки — Матюкаев не был в бою под Джулемом) я уже стал определять по едва заметным признакам, что судьба тебе скоро изменит. Все катится в тартарары. Мы погибли. Ты вышел из игры, а у Брюховецкого теперь тем более нет никаких шансов.

— Что нам Брюховецкий, — грустно замечал я. — Перед нами теперь вечность.

В свободное время мы много рассуждали об искусствах, театре, литературе.

— Раньше все искали литературного героя, — пускался в рассуждения Матюкаев. — «Герой труда» — хе-хе — это все равно, что сказать «герой поденщины». От героя должно исходить сияние, как от тебя, например, — не унижалась эта сволочь. О театре он высказывался в том духе, что раньше действие происходило все больше во дворцах, а сегодня — на лестничных площадках. Зрители обленились и распустились, ходят в храм искусств Бог знает в чем и проч. и проч.

— Но ведь жизнь изменилась, — возражал я. — И вообще, я еще надеюсь сходить в театр.

— Театра тебе больше не видать, как и своей рожи. К тому же, тебе с ней все равно теперь нельзя на людях показываться.

Двадцать пять лет за разговором пролетели незаметно. Председатель в наших беседах не участвовал. Когда нас освободили, меня это не очень обрадовало. Как я покажусь в таком виде моей прекрасной Сульпиции?

Председатель Совета Колхозов сразу с почетом занял свою прежнюю должность, поскольку за двадцать пять лет ничего не изменилось.

У власти находились махлаки. Честно говоря, я не знал, кто это такие. Я навсегда отстал от общественной жизни. Взглянув на себя в зеркало, я понял, что доказать свое тождество с прежним Иваном мне будет гораздо сложнее, чем бальзаковскому полковнику Шаберу.

Все результаты моей деятельности были уничтожены. Я нашел Сульпицию. Она стала плоскогрудой и морщинистой. Годы горестей и тревог превратили ее в развалину. Наш загородный дом сгорел в результате короткого замыкания.

Эпилог

Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком под зад..., если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, — не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.

Вольтер.

«Кандид, или Оптимизм»

Мы с Сульпицией и Матюкаевым стоим на пепелище нашего загородного дома.

— Товарищ Матюкаев, — обратился я к нему. — Вы — ведущий философ православного мира. Ответьте мне, пожалуйста, прав ли был Карл Маркс?

— Безусловно, — мгновенно ответил этот новоиспеченный член партии махлаков. — Все люди делятся на поденщиков и дилетантов. Поденщики — это те, которые вкалывают, как черти. На дядю или для собственного обогащения — неважно. Все равно они света белого не видят. А итальянское слово «дилетант» означает «любитель искусств», то есть аристократ духа, который занимается чем-то не ради куска хлеба, а ради собственного удовольствия. Так вот, когда все поденщики этого мира превратятся в дилетантов, настанет всеобщее счастье. Так учил Маркс.

— Да? А как насчет экспроприаций и реквизиций?

— Напрасно издеваетесь! Реквизиция — великий движитель прогресса. Слова, которыми начиналась Итальянская кампания Бонапарта и которые изменили облик мира, звучали так: «Солдаты! У нас нет ничего, а у врага есть все!» Так что здесь Маркс и Бонапарт сходятся! Просто революции можно делать так, как мы, а можно по-французски, с большей долей изящества! Но ты и твой Наполеон, которому ты всегда подражал, — наивные люди! Вы считаете, что ставку можно делать на талантливых и честных. Нелепое заблуждение! Вот ответ мне, чем тебе, собственно говоря, не нравятся махлаки? Это же прекрасные ребята, с ними можно ладить! Это не вы со своими монументальными идеями. Вот так, я все сказал, счастливо оставаться, адью!

Мы с Сульпицией немного постояли, потом я прервал молчание:

— С поля только что ушло стадо. Можно собрать коровяк. И надо разгребать головешки. Видимо, не скоро я буду дилетантом!



епелище

— Вы —
мне, по-

овоиспе-
ются на
которые
ого обо-
не видят.
итель ис-
ется чем-
льствия.
ратятся в
Маркс.

иций?
кий дви-
Итальян-
ик мира,
рага есть
! Просто
по-фран-
твой На-
ые люди!
ливых и
чем тебе,
прекрас-
о своими
счастли-

я прервал

ать коро-
оро я буду



от ЗАРИ и до
ЗАРИ,
ГОЛОВА МОЯ, ЗАРИ!

Поздняя осень. Грачи, как спра-
ведливо и своевременно заметили
наши наблюдательные ученые-
фенологи, улетели. Также и другие
перелетные птицы: ласточки, стрижи,
цапли и, пользуясь особым рас-
положением поэтов-песенников,
журавли. Опустели поля и доли. Зато
в большие и малые населенные
пункты из летних литературных
отпусков вернулись мои
многочисленные коллеги. Так что
если шебета и свиста на природе по-
убавилось, зато в городах их попри-
бавилось. Все спешат отчитаться в
своих поисках и находках,
свершениях и обретениях. Есть с чем
ознакомить друзей-читателей!

Из обилия разных тем я на этот
раз решил выбрать строки и строфы,
которые посвящены самому нашему
вдохновенному занятию, нашему за-
мечательному ремеслу. И поверьте
мне на слово, о чем-о чем, а об этом
нашим авторам есть что сказать.

Ну вот, например, с каким душев-
ным трепетом относится к поэ-
зии А. З. из г. Екатеринбурга. По не-
которым строкам этого стихотворе-
ния я прошелся рукой мастера — для
большей ясности. Итак:

Для меня стихотворенье —
просто радость Божия!

Стихотворные творенья мне
милы — пригожие.

Это — жадно я читал.

И обогатился!

А на этом я устал.

Устихотворился.

Их творцов я обожаю.

Отличаю — гениев!

И, конечно, уважаю,

всех стихотворениев.

Ими можно и зимой

возле печки греться.

Ах, как хочется порой

остихотвориться!

Беря хороший пример с класси-
ков, наши авторы нередко
обращаются к Музе. Всякому
известно, что она, посещая
избранных ею любимцев, возбужда-
ет у них всякие творческие задумки.

В. С. из Владикавказа, скажем,
обращается к ней по-родственному
запросно:

Здравствуй, Муза дорогая!
Рад я встретиться с тобой.

Почему ты чаще ночью

Будоражишь мой покой?

Я люблю тебя, как прежде.

Как приятно сознавать,

Что жене моей, Надежде,

Нас не надо ревновать!

Нам тоже приятно узнать об осо-
бенностях творческого процесса дан-
ного автора. Хорошо также, что он
сообщает нам имя своей супруги — в
этом усматриваю трогательный знак
доверия читателю. «От зари и до зари,
голова моя, вари!» — самообращался
он в другом своем стихотворении (см.
№ 6 с. г.). Хотелось бы, однако, чтобы
этот призыв был услышан не только
им самим, но и многими другими
людьми. Я бы обратил его, например,
к тем, кто планирует и осуществляет в
нашей стране реформы, разоружение
боевиков и другие важные дела. То
есть, как говорили в старину — «к
власть имущим». Вот именно: «от зари
и до зари». Хотя бы.

Как мужские рифмы отличаются от
женских, так и мужские стихи все-таки
совершенно иначе трактуют эту тему,
нежели женские. Из небезызвестного

места сибирской ссылки одного из
основоположников — а именно Шу-
шенского, где и ныне высится музей-
ная изба XIX века, прислала трепет-
ные странички Валентина М-К. Вот
что она заявляет:

Не писать я стихов не могу —
Не сдержат накопившихся слов:

На цветастом, как кофта, лугу

Я дою нежной рифмой коров.

Как это по-женски — доить коров!
Рифмой! Валентине М-К. принадле-
жит и еще одно замечательное откры-
тие:

Мысль гнездится, словно птица,
Под карнизами волос.

Возвращаясь к Музе, должен сооб-
щить, что не все из авторов выражают
по отношению к ней положительные
эмоции, как вышеприведенный В.С.
Некоторые в обращении к ней вкла-
дывают всю горечь несбывшихся над-
ежд. Вот, скажем, С. Щ., живущий в
самой южной точке б. СССР — г.
Кушке, страдает от безответного чув-
ства к невнимательной богине:

Люблю я Музу столько лет,
А вот стихов не видел свет.

Ну вот, дорогой С.Щ., свет и уви-
дел их — пусть даже в небольшом ко-
личестве. Вы довольны?

Но иногда традиционно прекрасная
Муза воображению стихотворца может

Министерство связи РФ
«Роспечать»

АБОНЕМЕНТ на журнал **71120**
(индекс издания)

«ЮНОСТЬ»
(наименование издания)

на 199 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ДОСТАВочная КАРТОЧКА

на журнал **71120**
(индекс издания)

«ЮНОСТЬ»
(наименование издания)

Стои- мость	подписки пере- адресовки	руб.	Количество комплектов:
----------------	--------------------------------	------	---------------------------

на 199 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

представиться совсем неожиданным образом. Даже в виде некоей нечистой силы, а вероятнее всего (судя по некоторым приметам, данным далее в тексте), болотной кикиморы. И вызывает у несчастного поэта (в данном случае — А. из г. Казани) чувства, совсем не похожие на только что проявленные С. Ш. любовь и обожание. Судите сами:

*Я задел тебя словами,
Ненароком оскорбил?
Что слова, когда за нами,
Пробираясь за домами,
Черт те знает кто бродил.
Наследил у нас в прихожей,
Залеза на балкон,
Нас с тобою потренировал
И к тебе забрался в сон.
Прогони его словами —
Я тебя словам учил! —
Пусть оставит нас в покое
Черт те знает что такое!*

Вот такая, с позволения сказать, Муза...

Кто из поэтов не мечтает о славе?! Пусть она «яркая заплатка на ветхом рубище певца». И как же сожалеют о ней те, кто — в отличие от меня и некоторого количества моих маститых коллег — остался, так сказать, в тени... Кто не сумел, подобно мне и мне подобным, пришить к своей одежде, вот именно, столь яркий имидж?

В. Н. из пос. Шексна Вологодской обл. горько признается:

*Себе так трудно сделать имя.
Хоть был я с детства наречен.
Я будто статуя безымянный
Безличен я со всех сторон!*

От таких печальных выводов в душу творца может закрасться столь неприемлемое, на мой взгляд, для процесса созидания бессмертных шедевров чувство, как сомнение. Разрушительное,

скажу я вам, чувство! И К. П. из г. С.-Петербург придумал для его выражения весьма, по-моему, элегантный «ход»:

*Скажи мне, мое отраженье,
Скользящее в талой воде:
Какие сомненья мелькают
В кудрявой твоей голове?*

Я думаю, что этот ход весьма перспективен для начинающих авторов. В самом деле, обращаясь к своему отражению, можно много чего спросить и немало чего высказать. Говоря научно, такого рода лирику следовало бы назвать «отражательной».

Но от лирики я хочу в заключение перейти к эпосу. Автор «Юности» Валерий Дударев, которого я охотно представляю и в этом живописном уголке Дома поэтов, передал мне маленькую стихотворную притчу, где, как и свойственно этому жанру, сказал довольно много. Называется она «О несчастной женской любви»:

*То ли с переноса,
То ли от тоски,
Написал мне Коля
Глупые стихи.
Я ему сказала:
— Коля, ты дурак.
Он ушел к вокзалу...
Не найду никак.*

Какой вывод напрашивается из этого стихотворного эпизода? Поэту, коли он не стал еще маститым, не следует огорчаться из-за дружеской критики. Особенно если ее высказывают девичьи нежные уста. А то ведь и пропасть можно, подобно этому пресловутому обидчивому Коле...

Чего я никому ни в коем случае не желаю.

Ваш Прикол Нахабин

В ЖУРНАЛЕ

ПРОЗА

- Елена ДОЛГОПЯТ
1880—1995. Черная дыра 2
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ
Горькая беседа двух мудрецов-
златоустов в диких медвяных
травх. Поэма. Начало 24
Морис МЕТЕРЛИНК
Жизнь пчел. Окончание 68

ДОМ ПОЭТОВ

- Юрий РЯШЕНЦЕВ 14
Задворки Дома поэтов 95

ПУБЛИЦИСТИКА

- Виктор ДОС
Школа теоретической физики . . 19
Икуо КАМЕЯМА
Водный лабиринт, город
смешанной крови. Хлебников и
Астрахань 41
Юрий НАЗАРОВ
«Думай. Ищи.
Твоя жизнь впереди...» 46
Александр РАПОПОРТ
Упаковка 58
Юрий КОЗЛОВ
Невидимые похороны
«невидимой руки рынка» 60
Георг ШУСТЕР
Тайный союз убийц 65
20-я комната 84

КОНКУРС «УЗДА ДЛЯ ПЕГАСА»

- Алексей БУРЫКИН
Стихи 62

К НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ

- Виктор ЛИПАТОВ
Художник чистого сердца 44

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

- Андрей ИВАНОВ
Иван, или Пессимизм 86

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность»

Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ
Верстка В. Кожемякина и Ю. Петелина

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К сведению уважаемых авторов:
редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.
Авторы ответственные за точность цифр, дат и достоверность фактов.
Точка зрения автора публикуемого материала может не совпадать с редакционной.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах
обращаться в издательство «Пресса» по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.
Формат 84X108 1/16.

Тираж 23300 экз. Заказ № 719

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-31-22.

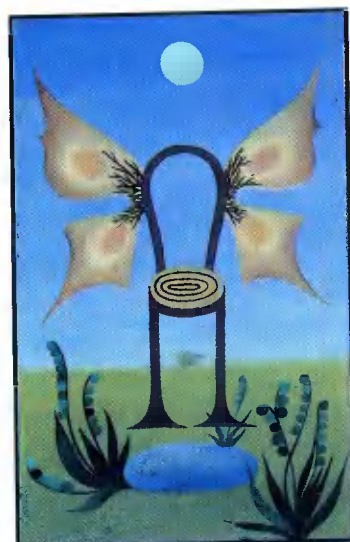
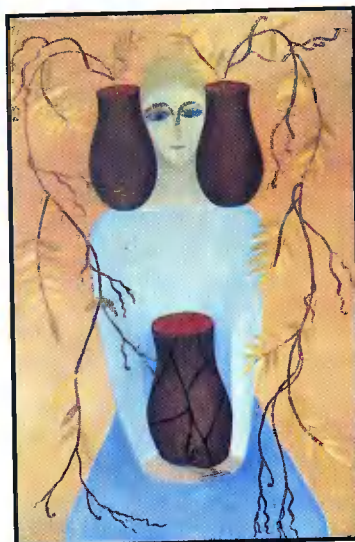
Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

© «ЮНОСТЬ», 1995 г.

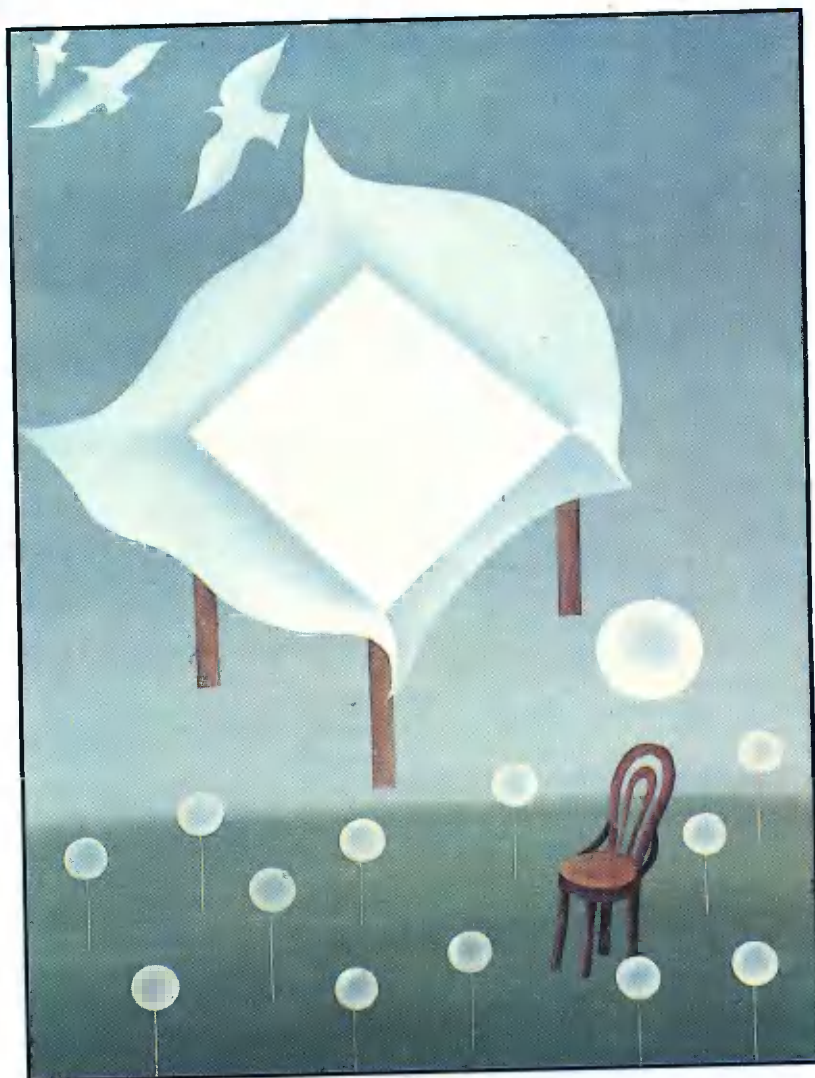
Ольга БРЕЛЬ
г. Москва

На стенах «ЮНОСТИ»



Чудесная Ольга Брель!
Полны изыска, фантазии,
художественного изыска ее
картины, рисунки, цветная
графика, акварели.
Картины-символы, в которых
соединяется неожиданно
замеченное и пророчествующее,
нежность лирики и филигранная
строгость мастера,
парадоксальность мысли и
проникновенный символизм...

*«Спаси меня, Сирин!
Сохрани, Гамаюн!
Сбереги, Алконост!
Протяни мне
упругое и нежное
крыло твое,
протяни яблоко,
упавшее с ветвей твоих,
протяни линию —
твердую и дрожащую,
линию, уводящую в иное...»*



Анри РУССО

«Муза, вдохновляющая поэта». Холст, масло.

